

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1985



ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
1985



Свеченная война

Ветавой, страна огроминая,

Ветавой на смертномъ бою.

С французской, силой гѣмской,

С французской ордой.

Дуэль дуэль безпородная

Всиплает, какъ волна.

Идеи войны народная,

Свеченная война!

Тысячи, француженки черны

Зароши дымъ в кол,

Отрѣвою революциею

Сколотымъ крѣпкимъ зубъ!

Не смеютъ изомыслить гербы

Надъ родимымъ гербомъ

Если же изомыслили

Не смеетъ взоръ отыскать

Дадимъ отпоръ думидеямъ

Всехъ благаемыхъ идей,

Насильникамъ, грабителямъ

Мурзилкамъ моды.

Вас. Лебедевъ Кумаръ-

**ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
1985**

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Федотов В. И.— главный редактор, Цыбин В. Д.— главный редактор;

Балашов Э. В., Винокуров Е. М., Вознесенский А. А., Корнеев А. А., Лесневский С. С. (составитель), Максимов М. Д., Мальми В. Н. (составитель), Реброва Т. А., Серебряков Г. В., Тряпкин Н. И., Числов М. М., Шикина Л. В., Щипахина Л. В.

Художник

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ

Дорогой читатель!

Сборник «День поэзии 1985» посвящен сорокалетию нашей Великой Победы. Память о героическом подвиге советского народа, в жесточайших сражениях разгромившего фашистские орды, живет в произведениях поэтов-фронтовиков, в стихах тех, кто родился уже после войны и принял от старших товарищей эстафету гражданственности и патриотизма.

Сегодняшний день нашей Родины, труд и мечты современников, величие их свершений, их стремление беречь и укреплять мир на Земле, добытый ценой стольких жертв и испытаний,— все это находит свое воплощение в стихах поэтов разных поколений.

«День поэзии 1985» публикует статьи и фотографии, посвященные знаменательным датам — 80-летию первой русской революции, 800-летию «Слова о полку Игореве», юбилеям Сергея Есенина, Велимира Хлебникова, Михаила Шолохова, Эдуарда Багрицкого, Александра Твардовского, Константина Симонова.

Редколлегия



В Е Н О К С Л А В Ы

Демьян Бедный

Я ВЕРЮ В СВОЙ НАРОД

Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой,
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
Несокрушимую тысячелетней верой.

Он много испытал. Был путь его тернист.
Но не за тем зовет он родину святою,
Чтоб попирал ее фашист
Своею грязною пятою.

За всю историю суровую свою
Какую стойкую он выявил живучесть,
Какую в грозный час он показал могучесть,
Громя лихих врагов в решающем бою!
Остервенелую фашистскую змею
Ждет та же злая вражья участь!

Да, нелегка борьба. Но мы ведь не одни —
Во вражеском тылу тревожные огни.
Борьба кипит. Она в разгаре.
Мы разгромим врагов. Не за горами дни,
Когда подвергнутся они
Заслуженной и неизбежной каре.

Она напишется отточенным штыком
Перед разгромленной фашистскою оравой:
«Покончить навсегда с проклятым гнойником,
Мир отравляющим смертельною отравой!»

7 ноября 1941 г.

Джамбул Джабаев

ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ!

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну,—
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш остря...
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!

Не затем я на свете жил,
Чтоб разбойничий чутя смрад!
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб забрался ползучий гад
В город сказочный, в город-сад;
Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил!
А затем я на свете жил,
Чтобы сброд фашистских громил,
Не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил
У священных ваших оград.
Вот зачем на север бегут
Казахстанских рельс колеи,
Вот зачем Неву берегут
Ваших набережных края,

Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!

Ваших дедов помнит Джембул,
Ваших прадедов помнит он:
Их ссылали в его аул,
И кандалный он слышал звон.
Пережив четырех царей,
Испытал я свирепость их;
Я хотел, чтоб пала скорей
Петербургская крепость их;
Я под рокот моей струны
Воспевал, уже поседев,
Грозный ход балтийской волны,
Где бурлил всенародный гнев.
Это в ваших стройных домах
Проблеск ленинских слов-лучей
Заиграл впервые впотьмах!
Это ваш, и больше ничей,
Первый натиск его речей
И руки его первый взмах!
Ваших лучших станков дары
Киров к нам привез неспроста:
Мы родня вам с давней поры,
Ближе брата, ближе сестры
Ленинграду Алма-Ата.
Не случайно Балтийский флот,
Славный мужеством двух веков,
Делегации моряков
В Казахстан ежегодно шлет,
И не даром своих сынов
С юных лет на выучку мы
Шлем к Неве, к основе основ,
Где, мужая, зреют умы.
Что же слышит Джембул теперь?
К вам в стальную ломится дверь,
Словно вечность проголодав,—
Обезумевший от потерь
Многоглавый жадный удав...
Сдохнет он у ваших застав!
Без зубов и без чешуи
Будет в корчах шипеть змея!
Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!

.....
Ленинград сильней и грозней,
Чем в любой из прежних годов:
Он отпор отразить готов!
Не расколют его камней,
Не растопчут его садов.
К Ленинграду со всех концов
Направляются поезда,
Провожают своих бойцов
Наши села и города.
Взор страны грозиво-свинцов,
И готова уже узда
На зарвавшихся подлецов.

Из глубин казахской земли
Реки нефти к вам потекли,
Черный уголь, красная медь
И свинец, что в срок и впопад
Песню смерти готов пропеть
Бандам, рвущимся в Ленинград.
Хлеб в тяжелом, как дробь, зерне
Со свинцом идет наравне.
Наших лучших коней приплод,
Груды яблок, сладких, как мед,—
Это все должно вам помочь
Душегубов откинуть прочь.
Не бывать им в нашем жилье!
Не жиреть на нашем сырье!

.....
Предстоят большие бои,
Но не будет врагам житья!
Спать не в силах сегодня я...
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!

Сентябрь 1941 г.

*Перевод с казахского
М. Тарловского*

Алексей Сурков

В ЗЕМЛЯНКЕ

Софье Кревс

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко.
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

1941

Береги в тишине перья твои.
На полях моих слова - как цветы.
И твой мир в земных пределах
Про шумный гомон и плеск.

О тебе мне пишут письма
В белоснежном поле под Ленинградом.
Я хочу, чтобы слышала ты
Как токует мой родной ручей.

Ты сейчас далеко, далеко.
Меня и мои друзья и семья.
До тебя мне идти не легко
А до смерти не ближе мая.

Ты, перелетчик, в поле не зоди.
Займись делом своим родным.
Мне в холодной земной тени
Об твоих невзгодах и любви.

ф. Суслов.

24/21 1941 г.

г.р. Камчатка, под Уссури.

Константин Симонов

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовой слезою и песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

Анна Ахматова

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

23 февраля 1942 г.



Николай Тихонов

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

То не чудо сверкает над нами,
То не полюса блеск огневой —
То бессмертное Ленина знамя
Пламенеет над старой Невой.

Ночь, как год девятнадцатый, плещет,
Дней звенит ледяная кора,
Точно вылезли древние вещи —
И враги, и блокада, и мрак.

И над битвой, смертельной и мгливой,
Как тогда, среди крови и бед,
Это знамя сверкает нам чистым
Окрыляющим светом побед!

И ползущий в снегу с автоматом
Истребитель — боец молодой —
Озарен этим светом крылатым
Над кровавою боя грядой.

Кочегар в духоте кочегарки
И рабочий в морозных цехах
Осенен этим знаменем ярким,
Как моряк на своих кораблях.

И над каменной мглой Ленинграда
Сквозь завесы суровых забот
Это знамя сквозь бой и блокаду
Великан знаменосец несет.

Это знамя — победа и сила —
Ленинград от врага защитит,
Победит и над вражьей могилой —
Будет день! — на весь свет прошумит!

1942

Сергей Наровчатов

В ТЕ ГОДЫ

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,

И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.

В своей печали древним песням равный,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя!

Брянский фронт, 1942

Александр Твардовский

* * *

Когда пройдешь путем колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как сладок сон,
Как радостен ночлег.

Когда путем войны пройдешь,
Еще поймешь порою,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким путем
Не день, не два, солдат,
Еще поймешь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят.

Когда — науку всех наук —
В бою постигнешь бой,
Еще поймешь,
Как дорог друг,
Как дорог каждый свой.

И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.
Они в тебе,
Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть.

Таким, с которым, коль дружить
И дружбы не терять,
Как говорится, —
Можно жить
И можно умирать.

1943

Александр Прокофьев

РОССИЯ

(Вступление к поэме)

Сколько звезд голубых, сколько синих,
Сколько ливней прошло, сколько гроз.
Соловьиное горло — Россия,
Белоногие пущи берез.

Да широкая русская песня,
Вдруг с каких-то дорожек и троп
Сразу брызнувшая в поднебесье
По-родному, по-русски — взახлеб;

Да какой-нибудь старый шалашик,
Да задумчивой ивы печаль,
Да родимые матери наши,
С-под ладони глядевшие вдаль;

Да простор вековечный, огромный,
Да гармоник размах шире плеч,
Да вагранки, да краны, да домны,
Да певучая русская речь!

Каждый день был по-своему громок,
Нам войти в эти дни довелось,
Сколько ливенок, дудочек, хромок
Над твоими лугами лилось!

Ты вовек не замолкнешь, родная,
Не померкнут веснянки твои,
Коль сейчас по переднему краю
Неумолчно свистят соловьи!

Все равно на тропинках знакомых
И сейчас, у любого крыльца,
Бело-белая пена черемух
Льется, льется — и нет ей конца!

1943—1944



Александр Яшин

НЕ УМРУ!

Когда я раненый лежал в пыли,
Страдая от удушливого жара,
Не отличая неба от земли,
Артиллерийских залпов от кошмара,

И ни страдать, ни говорить не мог,—
Тогда прямой, с пушистой желтизною,
Откуда ни возьмись степной цветок
Виденьем детства встал передо мною.

Что я припомнил в этот миг?
Леса,
Деревни,
В палисадниках рябину,
Под солнцем поле спелого овса
И матери натруженную спину...

Что я услышал?
Добрый стук колес,
Крик петуха на просмоленной крыше,
Шум светлых сосен
И жужжанье ос,
Раздольный звон бубенчиков услышал...

Ах, родина,
Лесная сторона!
Как все стократ для сердца стало мило
Брусника в чащах,
Рек голубизна,—
Война все чувства наши обострила.

Просторны тесом крытые дворы,
В холмистом поле широки загоны.
Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!

Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок.

А сколько зверя,
Сколько птиц в бору...
И потому, что все перед глазами,
Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам:
Не умру!

1943

Михаил Светлов

ИТАЛЬЯНЕЦ

Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина
Иностраным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне,
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...

Я не дам свою родину вывести
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

1943

Михаил Исаковский

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...

Враги сожгли родную хату,
Стубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол,—
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздыхнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1945

Ольга Берггольц

ВСТРЕЧА С ПОБЕДОЙ

— Здравствуй... Сердцем, совестью,
дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
— Здравствуй, здравствуй. Пробил час
свиданья,
светозарный час в людской судьбе.

Я четыре года самой гордой —
русской верой — верила, любя,
что дождусь — живою или мертвой,
все равно, — но я дождусь тебя.
Вот и дождалась тебя — живою...
— Здравствуй... Что еще тебе сказать?
Губы мне свело священным зноем,
слезы опаляют мне глаза.

Ты прекраснее, чем нам мечталось,
свет безмерный, слава, сила сил.
Ты — как день, когда Земля рождалась,
вся в заре, в сверкании светил.

Ты цветеньем яблоневым белым
осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
полная надежды и мечты.

Ты — такая... Ты пришла такая...
Ты дохнула в мир таким теплом...
Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты — Победа. Ты превыше слов.

Счастье грозное твое изведав,
зная тернии твоих путей,
я клянусь тебе, клянусь, Победа,
за себя и всех своих друзей, —
я клянусь, что в жизни нашей новой
мы не позабудем ничего:
ни народной драгоценной крови,
пролитой за это торжество,
ни твоих бессмертных ратных буден,
ни суровых праздников твоих,
ни твоих приказов не забудем,
но во всем достойны будем их.

Я клянусь так жить и так трудиться,
чтобы Родине цвести, цвести...
Чтоб вовек теперь ее границы
никаким врагам не перейти.

Пусть же твой огонь неугасимый
в каждом сердце светит и живет
ради счастья Родины любимой,
ради гордости твоей, Народ.

10 мая 1945 г.





Евгений Долматовский

ВЕСТЬ

Поэма

Есть больные безответные вопросы,
Со времен войны стоят они
За пределами стихов и прозы,
Но не устарели в наши дни.
А ведь надо и пора
Поставить точку
Под бедой,
Напоминающей собой
Пулеметную оборванную строчку,
Тишину, когда проигран бой.

Поле битвы плуг истории пропашет,
Не найдешь и ржавого осколка...
Ну, а если речь

о без вести пропавших?

Знаете, их было сколько?
Фосфорной струею их из дотов выжгли
В Бресте, Коломые, Перемышле,
Танками под Ригой растоптали...
Без свидетелей они на дно пошли
В тот треклятый день,
Когда, оставившие Таллин,
Прорывались и тонули корабли.
Врукопашную они бросались честно
На границе
И на подступах к Москве.
Разве может человек исчезнуть,
Затеряться, как патрон в траве?
Даже птицы в мире на учете:
Сколько при отлете
И прилете.

Разве на планете нашей тесно,
Чтобы вновь и вновь
Производить отстрел?
В Красной книге человечеству не место,
Потому и скорбь все горше и острей.
Нет сына,
Нет мужа,
Нет брата,
Нет деда и отца...
На всех одна
Есть могила Неизвестного солдата,
Пламя вечное,
Кремлевская стена.
Но и перед этим обелиском
Смерть с бессмертием

ведут неравный спор:

Утешенье как найти родным и близким
Тех,
Кто числится пропавшим до сих пор?

Женщина молилась, умирая:
Он войдет,
Поймет, как я ждала,—
Мать ему ведь я, а не земля сырая,
Как он там без моего тепла?
Ставшие старухами невесты
В чемодане берегут фату:
Не погиб он,
Лишь пропал без вести...
Смерть, не трогай эту чистоту.
Тонкогубы и простоволосы,
Жены их давно в семье второй,
А ведь продолжают слать запросы —
Вдруг еще найдется мой герой.
Жжет незаживающая рана,
А в сибирских избах
Столько лет

Обнести не смеют черной рамой
Переснятый с карточки портрет.

...Мой рабочий стол — как поле битвы:
Пачки писем — надолбы и рвы.
Ничего, вы говорите, не забыто?
Это верно, это точно. Вы правы.
Но тогда прошу спасти меня от муки,
По лицу вопросы бьют как плеть.
Вопрошали сыновья,
Теперь все чаще — внуки:
Ты из сорок первого?
Ответь,
Объясни, куда девались наши деды.
Пенсию платил военкомат,
Но не в пенсии теперь уж дело,
В том, что непонятно — где солдат.

День Победы — праздник всенародный
Даже и для сирот и для вдов.
Приговор судьбы бесповоротный
Ясен, как бы ни был он суров:
Ваш герой погиб в сраженье за Отчизну.
Почесть воздана,
И время править тризну.
Но исчезнувших без вести семьи
Исповедуют иной устав:
Нету ни на скорбь,
Ни на веселье
До сих пор у них всеобщих прав.
Вечным ожиданием томимы,
Связаны тревогою всегда,
В даль времен глядят они...
А мимо,
Как призывники, спешат года.

К полусиротам
И полувдовам
Я в кварталы новые пойду,
Чтобы сбивчивым неловким словом
Подтвердить и объяснить беду.
Вдруг сорвусь
И объявлю им прямо:
Невозможна встреча впереди.
Ты забудь, жена,
Простите, мама,
Сын, не жди отца,
И деда, внук, не жди.
Не вернуться им!
Мечтой себя не тешьте...
Говорю, а сам согбен тоской.
Не осталось никакой надежды,
Заявляю честно —
Никакой.

Тридцать лет тому назад
И двадцать
Я б такого утверждать не смел,
Мог предполагать и сомневаться,
Так ли беспощаден их удел,

Мог еще наивно верить в чудо
Приграничной схватки штыковой —
Вдруг товарищ вырвался оттуда
С забинтованною головой?
Может быть, в Триесте иль Перудже
В списках итальянских партизан,
Подтверждая братство по оружию,
Русский обнаружится Иван.

Так я рассуждал,
Опять и снова
Пред собою письма разложив,
Утешался формулой суровой:
Нету в списках мертвых — значит, жив.

...Суматошный мой день начинается рано.
Дел — навалом, звонки, и народу полно.
Но когда салютует волшебным экраном
Через улицу, в доме напротив, окно,
Входит в комнату память.
Встают побратимы
В длиннополых шинелях,
Еще без погон.
Сквозь кинжальный огонь врукопашную шли мы
И еще знать не знали про Вечный огонь.

Память словно экран.
Проступает все четче
Обрамленное шлемом, как нимбом, лицо.
Украинский испанец, отчаянный летчик,
Прилетевший для связи к зажатым в кольцо.
Под огнем оторвался от пашни не сразу
В рваных клочьях обшивки хромой самолет.
Скрылся в тучах,
Да вот не вернулся на базу,
А механик сидит возле неба и ждет.
Недотрога, студенточка, кажется, Светка
В штаб отряда сдала комсомольский билет,
Как ушла в сорок первом, в июле, в разведку,
Век уже на исходе,
Девчонки все нет.
А недавно скончался конструктор ведущий,
Партизан, ей тогда заменивший отца,
И, представьте, нашли у него под подушкой
Тот билет довоенного образца.

Люди спросят:
А был ведь обозник ледащий,
В лагерях свою совесть сменявший на хлеб.
Только он не пропавший,
Он просто пропащий,
И вопрос о его воскрешенье нелеп.
Возвратился бы — может, его бы простили,
Но страшился предстать перед очи отца,
Ходит слух,
Что он заживо сгнил в Аргентине...
В страшной сказке
Не сыщешь печальней конца.
Ладно, хватит о нем...

Счастлив я своей долей,
Тем, что видел бесстрашных и гордых людей,
С ними я перешел жизни минное поле,
Верил в завтрашний день,
Встретил завтрашний день.
Но сегодня, ребята, прощаюсь я с вами.
Хоть не в силах свои регулировать сны,
Наяву утверждаю — пришло расставанье,
Вы уже никогда не вернетесь с войны.
Не исчезли без вести,
А честно погибли.
Эту формулу надо принять как закон.
В колыбели планеты,
Как в братской могиле,
Спите вы, не дождавшись своих похорон.
Из военных времен в наши дни и события
К вам тяну, как связист, телефонную нить.
Мы тогда назывались войсками прикрытья,
Нынче надо планету собою прикрыть.
Перевернута грозной эпохи страница,
Салютующий пушек развеялся дым...
Всем, кто верил и ждал, мы должны
поклониться
Долгим русским, советским поклоном земным.

Спрятать поздние слезы, быть может, удастся.
Безутешного горя хватив через край,
Обратимся, друзья, к своему Государству:
Ты пропавшими
Больше сынов не считай!
Пусть их вдовы и сестры,
Их дети и внуки
Станут с семьями тех, кто погиб, наравне,
Им вручи извещение о вечной разлуке,
Объяви, что погибли они на войне.
Для бессмертья ни рангов нет, ни категорий —
Кто исчез без следа,
Кто — по справкам — убит.
Все на фронте сгоревшие — гордость и горе,
Обо всех и о каждом Отчизна скорбит.

Так тревожно кончается это столетье,
Перенесшее две мировые войны.
Против нас замышляют сегодня и третью,
Их ракеты крылатые наведены.
Расщеплен злостью волей отчаянных бестий
Дикий атом.
В реакторах адских бурля,
Угрожает он сделать пропавшей без вести
Во Вселенной теперь всю планету Земля.
Перед новой опасностью все мы едины.
Нашей доброй планете пропасть не дадим.
Для истории равенство необходимо:
Мертвым вечная слава
И слава живым.
Не пропали без вести и вы, наши предки,
Вы являетесь нам, не состарясь ничуть,—
Комсомолочка, что не пришла из разведки,
И пилот, что не смог до своих дотянуть.

Имена ваши
Мы нанесем на гранитные плиты,
На бетон и на мрамор
И впавим в металл.
Повторим нашу клятву:
Никто не забыт, и ничто не забыто —
И добавим:
Без вести никто не пропал!

Вячеслав Молодяков

ГОЛОС ОТЦА

Туда,
Где на сыром песке
Лежал он, обожжен осколком,
Где ива,
наклонясь к реке,
Свою стирает гимнастерку,

Где ключ,
Как пульс неровный, бьет,
Дымит проселок в отдаленье:
Где был один когда-то счет
У вечности
И у мгновенья;

Туда,
Где, страшный след храня,
Сосна почти не держит крону,—
И день и ночь зовет меня
Все тот же голос воспаленный.

Отец!
Ты не сгорел в огне.
Ты с каждым годом
ближе, ближе,
Как будто были на войне
Мы вместе,
Но один я выжил.

* * *

Послевоенная картошка
дымилась на столе пустом.
Старуха пела под гармошку
о горьком, о пережитом.

А умолкала — было слышно,
как бродит брага за стеной.
Межа вздыхали о погибших,
об искалеченных войной.

Стояли у порога люди,
считай, стоял поселок весь.

Не думали о том, что будет,
а думали о том, что есть.

Молчали люди отрешенно,
живя мелодией простой,
перечислявшей поименно
всех, кто за страшной той чертой.

И мы, голодных будней дети,
впервые поняли тогда,
что нет чужих смертей на свете,
а есть одна на всех беда.

Что все забыть на свете можно,
но не ее — беду из бед.
...Поет старуха под гармошку,
хотя давно старухи нет.

ВИДЕНИЕ

Остановлюсь.
И вздрогнет сердце,
Когда почувдится
В глазах
Двухгодовалого младенца
Печаль, похожая на страх.
Как будто он такое слышит,
Что не могу представить я.
...Земля огнем смертельным дышит.
Ни человека. Ни зверья.
И некому утрат измерить.
Слепые окна. Едкий дым...

Глазам детей нельзя не верить,
Еще больнее — верить им.
Они глядят

и словно судят.
На дне бездонных этих глаз —
И тайна тех,
кто после будет,
И горечь тех, кто был до нас.

Константин Ваншенкин

ОДНОПОЛЧАНЕ

— Да что же это в самом деле? —
Вздыхнул товарищ тяжело.—
И оглянуться не успели,
А сорок лет уже прошло...

— Как не успели? В эти дали,
В свистящий выжженный простор

Мы на земле не перестали
Оглядываться до сих пор.

Вновь что-то видеть нужно людям
За вьюгой снега и свинца...
Идем вперед и все же будем
Оглядываться до конца.

СОРОК ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Сорок лет тому назад.
Утро. Чешский город Зноймо.
Чьи-то слезы. Ранний сад.
И — пуста моя обойма.

Не звучал пока приказ,
А салют колеблет кроны.
Но на случай, про запас,
Все же есть еще патроны.

Мы не поняли тогда
И потом не знали сами,
Что тот день не на года —
На всю жизнь случился с нами.

Просто слышали шрапнель,
Ночью вздрагивали сдуру,
Даже сняв свою шинель,
Даже сбросив эту шкуру.

* * *

Когда мы вернулись с войны
В объятия ждущего тыла,
Мы будущим были полны,
И это естественно было.

Ты, память, слегка помоги,—
Учились в ту пору со мною
Друзья — без руки, без ноги,
Все мечены общей войною.

Победный отсвечивал год
Сквозь густо шумевшие флаги.
Никто и не требовал льгот,
Кто вышел из той передраги.

Однако война их прожгла,
И жизнь, что полна интереса,
Так смолodu вот и прошла
Вблизи костыля и протеза.

И стали уже старики,
Состарясь по ходу рассказа,
Друзья — без ноги, без руки,
Володя Семенов — без глаза.

* * *

Нас до сих пор именуют з а п а с о м.
Гвардия эта не так и стара.
Вон как она с ветеранским заказом
Бодро под праздник проходит с утра.

Были усилия их непрестанны.
Их привилегии стали видны.
...Эти полковники и капитаны
И рядовые великой войны.

ПРИРОДА

Природа — санитар. Кого не схоронили,
Она потом сама присыпала песком.
Лежат у переправ, в речном холодном иле,
Или под вставшим здесь березовым леском.

Количество стволов, средь боя раскаленных,
По формуле ее равно числу стволов,
Несущих над собой прохладу крон зеленых,
Которые сильнее и слез твоих, и слов.

ПАРА

У окна, в коридорчике тесном,
Где закат отражался в полях,
Познакомились в первом протезном,
Как знакомятся в госпиталях.

Прибывало кино на телеге.
Обдавало дыханьем весны.
Оба молоды, оба калеки
Отшумевшей великой войны.

В тишине или в гуле обвальном,
Дальше — вместе, при свете и мгле,—
Помогая друг другу в буквальном
Смысле жить и стоять на земле.

Дети, внуки, забота и ласка,
Дом стандартный, и рядышком с ним
Инвалидная эта коляска,
«Москвичок» с управлением ручным.

ПРИЕМ

Рассказ предрайисполкома

Навстречу встав,
Смотрю: у мужика
Пустой рукав
В кармане пиджака.

Да мало ль где
Случился тот аврал,

В какой беде
Он руку потерял.

Но нет, гляжу
И вижу горстку рот.
По блиндажу
Бьет кучно миномет.

Встает солдат,
Продут и просолен.
Потом санбат
И долгий эшелон.

Потом виток
Иного бытия...
— Садись, браток,
Чего там у тебя?

СОЛДАТЫ В МЕТРО

Увидел нескольких солдат
в метро, где гул привычный длится.
Но незнакомый лег закат
На их задумчивые лица.

А лейтенант их молодой —
Куда он с ними? Вряд ли в отпуск.
В его глазах дрожит порой
Какой-то странный дальний отблеск.

Не ощущают на себе
К ним обращаемые взоры.
Что там — в недавней их судьбе?
Тревога? Ночь? Ущелье? Горы?..

СТИХИ

О НИКОЛАЕ ИВАНЫЧЕ

Николай Иваныч
Перестал звонить.
Видно, перетерлась
Жизненная нить.

А звонил с почтеньем,
Как в Колонный зал.
Говорил, смущаясь:
— Красенького взял...

Толковал о разном,—
Чаще о войне
И о футболисте
Толе Ильине.

О своих раненьях
Говорил он мне
И об уходящей
От него жене.

И неторопливо,
А не впопыхах,
Рассуждал он также
О моих стихах.

Я его ни разу
В жизни не видал.
Только этот голос
Надо мной витал.

Возникал внезапно
В снегопад и в дождь.
Знали этот голос
И жена и дочь.

Хмурая погода.
Низко облака.
Год или полгода
Нет его звонка.

Небольшой морозец.
Голубой зенит.
Николай Ивановыч
Что-то не звонит.

* * *

Малая родина,
Дальнее поле. Дымок.
Малая родина —
В горле внезапный комок.

Малая родина,
В сердце струящая свет.
В кровь нам и в плоть она
Входит с младенческих лет.

Малая родина.
Скверы в осенней листве.
(Малая родина
Может быть даже в Москве.)

Малая родина
К нам приникает душой.
Перебороть она
Может себя для большой.

В ПЕРЕРЫВЕ

Приятный равнодушный малый,
Взгляд ни на ком не задержав,
Прошел походкой чуть усталой,—
Старик, хотя и моложав.

Как умудрился годы эти
Прожить — едва не до овра —
И никому на целом свете
Ни зла не сделать, ни добра?..

ОДНОМУ ЗНАКОМОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Этих книг тебе не прочитать
Ни за что на свете.
Для тебя стоит на них печать,
Ибо книги эти —

Книги для ума и для души,
Разные такие —
Для тебя чрезмерно хороши.
Ты прочтешь другие.

Здесь на полках — всевозможных книг
Столько тысяч!
Ты проходишь, безмятежно в них
Взглядом тычась.

* * *

— Помогите! — крик из сквера,
Женский голос молодой.
В нем отчаянье и вера
Повстречавшейся с бедой.

Здесь нужна, конечно, смелость,
Чтобы кинуться вперед.
И она у вас имелась,
Проявляясь в свой черед.

Отдаленно: — Помогите!..—
Слышат окна и сады,—
На невысказанной орбите
Ночи, боли и судьбы.

Пусть же в чуткой жизни вашей
Не кончается завод —
Помогать и тем, кто даже
Вас на помощь не зовет.

* * *

Сохранившееся качество —
Радоваться за других,
Стариковское чудачество
Жить при свете дел благих.

И ведь впрямь сквозь эти заросли
Бесконечной душею зависти,
Разрываемые вкось,
Проходить не довелось.

Замечательное качество —
Радоваться за других.
Вы не верите, но, кажется,
Вы задумались на миг.

* * *

У хозяйки столовался,
С ее дочкой целовался.
Столовался-целовался,
А потом ударил бой —
Целый мир закрыл собой.

То, что прежде важным было,
Память бедная забыла,
Лишь спустя десятки лет
Проступил неясный след:
У хозяйки столовался,
С ее дочкой целовался...
То ли было, то ли нет.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Скажите, а над чем
Работаете вы? —
И сразу же за тем,
С наклоном головы:

— Скажите, а когда
Вы начали писать?
— А в ранние года
Вы кем хотели стать?..

Вставая всякий раз,
Записку ли суя,
Он спрашивает — вас,
Но слышит — лишь себя.

Таким он и возрос:
Ему во цвете лет
Важней задать вопрос,
Чем получить ответ.

Александр Николаев

* * *

Жизнь моя детьми моими
хоть и вознаграждена,
все трудней мне спорить с ними:
— Ты позоришь наше имя,
спрятав в ящик ордена.

От сестры не отличает
разумение мальчика,
если он и знать не знает
то, что сын не отвечает,
как известно, за отца.

Мне ль оправдываться надо,
что награды не в ходу,
что награды для парада?

Я, как все, ношу награды
в День Победы,
раз в году.

Мы б избавиться хотели
лишь от тех своих наград,
что осколками летели
и засели в нашем теле —
за Москву,
за Сталинград.

Боль в ответе просквозила.
Я сказал, что как-то раз,
в грудь уставясь тупорыло,
крикнул мне один верзила:
— Нацепил иконостас!

Мой сынок,
в глазах тревога,
как слепой глядит во тьму:
— Я б ему... — промолвил строго.
— Подрасти сперва немного,
а то сразу: я — ему...

В нем жена моя когда-то,
помня детство в дни войны,
воспитала культ солдата,
в чем, конечно, виновата
и, конечно, без вины.

Сын растет.
И если скоро
он накажет наглеца,
попрошу я прокурора
о смягченье приговора:
сын ответил за отца.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Был солдат до пояса
в гипсе, как в броне.
В санитарном поезде
встретился он мне.

Все хирурга строгого
укорял в бреду:
— Как без ног до логова
зверя
я дойду!

Но, придя в сознание,
раненый притих,
рад был, что, как ранее,
при своих двоих.

Помню лампы синие.
Раненые спят.
Синее уныние
в лицах у солдат.

А за перегонами
брезжит белый свет.
Смерть пройдет вагонами —
и кого-то нет.

Раненый, как статуя
в гипсовой броне,
крикнул ей:
— Проклятая!
Не страшна ты мне.

А в реанимации
через сорок лет
после операции
бредил мой сосед.

Смерть прошла палатую
от стены к стене.
Крикнул он:
— Проклятая!
Не страшна ты мне.

— Все солдату некогда,
то дела, то бой...
Сколько дней я некогда
кралась за тобой?

— Сколько дней? —
задиристо
он ответил ей.—
Тысяча четыреста
восемнадцать дней.

Ночь ползла улиткою.
Утром к нам чуть свет
врач пришел со свитою.
А солдата нет.

* * *

Был у деда скрыт под майкой
на груди багровый след.
Внук спросил, хоть был всезнайкой:
— Это тоже орден?
— Нет.

Внук пытался упрямо:
— Ну, а это что, дедуль?
— Это раны, это шрамы
От осколков и от пуль.

Как по вехам, как по карте,
по отметкам на груди
начал дед:
— Вот это в марте...
— А вот это?
— Погоди.

Рассказал он, где что было,
вспомнив место и число,

все, что было,
да не сплыло
и быльем не поросло.

Объясняйте внукам, деды.
Наши внуки знать должны
фотографию Победы,
топографию войны.

Виктор Гончаров

РОДИНА

Монолог ветерана

Чего те лучше,
Сидел я да молчал бы,
Так нет,
«Скажи два слова,— говорят,—
От имени тех сверстников твоих,
Солдат, бойцов,
Лихих разведчиков.
Нас не было еще,
Когда уже вы были».
Ну что ж, скажу...
На фронт из дома нашего
Сто душ ушло,
А возвратилось пять.
Вот сколько сгнуло!
Из лучших лучшие.
Салют наш праздничный,
Что в небе рассыпается цветами,
В глубинах душ
Живет как отраженьё
И расплывается в тех омутах
Слезами тихими.
В моей семье
Отец и брат погибли,
И я весь вывернут в огне и под огнем
Да трижды перешит.
Во мне осколков —
Что в земле под Брестом,
Не выгребли ни время, ни врачи.
Так вот.
Отец писал своей «старухе»,
Матери моей
(Смешно сказать, ей было сорок шесть):
«Пишу из окруженья.
Уж больше месяца
Мы держимся в огне».
Мол, ранен в голову,
Мол, нечем грызть макуху,
А без зубов здесь
Выдюжить нельзя.
«Но нас живьем не взять.
Да здравствует
Советский Севастополь!»
Сам вызвался на смерть.

Не мог же он не знать,
На что идет.
Труп изувеченный
Немецкое зверье
Оставило лежать
Недалеко от мола,
Где он спалил баржу.
Чтоб всяк,
Кто мимо будет проходить,
«Зольдат» иль «офицер»,
В него стрелял.
Дарма, что без зубов,
А крепко грызнул.
Мать получила вырезку
Из фронтовой газеты:
«Мы русские».
Геройской смертью, мол,
Погиб герой.
Тогда в беде той беспроглядной
«Мы русские»
Перед лицом врага
Звучало вызовом,
Уверенностью:
«Будет враг разбит».
А для таких, как Трумэн или Черчилль,
От островов норвежских до Турции самой
Был «русский фронт»...
Из дома нашего
На фронт ушло сто душ.
Вернулось...
Нет, не вернулось
Девяносто пять.
Почтим их память.
Прошу вас, встаньте все...
Я в край родной
На костылях пригреб.
Ни дома, ни кола.
Что пережил, что знаю, что видал,
Не рассказать, не написать, не вспомнить.
Сестру голодной и холодной отыскал,
А мать полуслепой.
Семья моя любила Родину
Суровою любовью.
А нить суровая, она прочней иной.
Я вам не Жирохвостов,
Что всю войну «ля-ля»
О том, как должно Родину любить,
А сам в сусеках дыры грыз,
Шнырял по закромам,
Крысят своих откармливал.
Я вам не Жирохвостов,
Я, зубы сжав
И недуги сокрыв,
Не отлежался толком,
На фронт рванул!
«Ну и дурак!» —
Сказал мне Жирохвостов.
Есть у него уменье
С теплом не расставаться,

Об острые углы бока не ободрать.
Он и сейчас все поучает всех.
После войны еще важнее стал.
Я вам не Жирохвостов.
Я всю войну в саперах
Топор с собой таскал.
Я плотник.
Без гвоздика единого
Я топором с пилой да долотом
Могу дворец поставить.
Да если б все дома,
Что я за жизнь сложил,
Свезти на холм один,
То получился б город.
Трудолюбивый,
Светлый,
Праздничный.
А Жирохвостов что?
Намедни я не вытерпел.
«Да будь ты,— говорю ему,—
Будь хоть кому наставником,
Но не учи меня,
Как Родину любить.
Суровое тканье
Не по твоим плечам...»
Земля огромная,
А мир, он небольшой,
Лоскутный, разноцветный,
Что одеяло в латках.
Всяк на себя тащит.
Раскинулся после работы,
Лежит наш Ивико, Иван, Юван
От полюса и до Карпатских гор.
Негоже, чтоб его случайности студили.
Ему вставать с зарей,
Ему вторую ветку БАМа проводить,
Доить коров,
Спускать со стапелей на воду корабли,
Варить металл, плотины возводить,
В печах вращающихся
Жечь сухой цемент.
Да мало ль дел!
Мы вон куда ушли!
Теперь нам нужно,
Даже должно закрепить
Все то, что позади,
Надежными дорогами,
Мостоми прочными,
Домами дорогами,
Усадьбами, садами.
Чтоб жизнь была
В довольстве и любви,
Чтобы случайности не угрожали нам.
Пришла пора почувствовать,
Что мы, мы, мы с вами
И есть то самое,
Что Родиной зовется!
А самому себе
«Люблю» не говорят.

Владимир Урусов

* * *

Горит звезда на дне Байкала,
большая мутная звезда.
Сверкнула тьма — звезда упала,
погасла в бездне пустота.

Душе в том свете не согреться,
уж слишком бездна холодна.
Не ослепляй печалью сердце,
звезд миллионы — жизнь одна!

Прислушайся — ревут машины,
и, заглушая эхо гор,
качает снежные вершины
простой мужицкий разговор.

Здесь лозунг, временем не стертый,
вещает ветру над страной
о том, что впишется работой
из книги судеб в путь стальной.

Поселок, озеро, и сбоку,
вперед и вдаль, ползком, змеей,
как бесконечный холм, к востоку,
льнет к небу насыпь, дым земной.

Смотри, твоя звезда упала,
чего желать? Душа чиста —
горит в живой воде Байкала
неугасимая звезда!

* * *

Байкал и горы — волны, дали,
дорога в дымчатом снегу —
две полосы блестящей стали
на каменистом берегу.

И жметя сердце к черным скалам.
Гранит на ощупь — лед и мгла!
И вдруг в паденье величавом
звезда над бездной путь прожгла.

Взрыв! И несутся «МАЗы» мимо,
врата в Сибирь — отсель досель.
Горят огни, в объятьях дыма
зияет Мысовый тоннель.

И все так просто, все так просто
в тени Байкальского хребта,
сверкает тьма, и гаснут звезды
на рыжей насыпи грунта.

И ты стоишь у поворота —
что там еще произойдет,
ни знать, ни думать неохота,
судьба не требует забот.

Чего жалеть, на что молиться —
молчи, смотри в глаза людей
и золотым пером жар-птицы
не дорожи, играй, владей!

О Русь моя, святые воды —
и лязг железного пути,
и гул пространства и свободы
над озером и впереди...

Александр Астафьев

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

В тот день, переполнявший грудь
волнением перемен,
нас провожал в далекий путь
съезд ВЛКСМ.

Маршировали мы не в лад,
не в ногу, все же «Марш
коммунистических бригад» —
он был по праву наш.

Под кумачом, как гимн весне,
и под гитарный звон
прогрохотал по всей стране
наш первый эшелон...

В краю, где звезды ближе к нам
и солнечная даль,
теперь мы строим жизнь и БАМ —
стальную магистраль.

Но на просторах всей страны,
где труд, и долг, и честь,
такие парни, как и мы,
конечно, тоже есть.

Их день, как наш, предельно сжат,
и с нами наравне
они судьбу свою вершат
в полях на целине.

Они построили КамАЗ...
Их много, молодых,
и, безусловно, знают нас,
как знаем мы о них...

Владимир Куклин

* * *

«Ты откуда?» — «Из Узбекистана». —
«Ты?» — «Из Минска». — «Ты?» —
«Из Костромы».

Принимайте, древние Саяны,
наши руки, души и умы.

Мчим сюда на крыльях и на шинах,
и газеты славят наш порыв,
но застыли сонные вершины,
ранним снегом голову прикрыв.

Пусть сулят недобрые приметы
пенные буруны на реке...
Заполняем первые анкеты
на одном — советском — языке.

Знаем, будут срывы и авралы
и ошибок горькие следы —
только быть саянскому металлу,
зазвонят весельем детсады!

И, спеша в автобус утром рано,
слышу голосов веселый хор:
«Я — из Томска»... «Я — из Еревана»...
«Я — из Риги»... «Я — из Холмогор»...

Геннадий Касмынин

ХЛЕБ

Рожь столпилась у дороги,
Понимает: скоро в путь!
И спешит плотнее ноги
Бязью ветра обернуть.
Каждый колос гнется долу
И почти с земли встает...
Он не только к мукомолу
Сединою пристаёт.
И пока ржаную булкой
Станут зернышки судеб,
В поле, в ветре, в доле гулкой
Ненадежно-горек хлеб.
Мать слезами исходила,
По ночам не спал отец,—
Сколько рук хлеба хранило,
Сколько холило сердец!
Напрягалась вся держава,
Как единый экипаж,
Чтобы рос он — наша слава
И надежда — колос наш!
У дороги, битой градом,
Как свинчаткою — в висок,

Ладным парнем рядом с ладой
Бронзовеет колосок.
Словно сын, не без подмоги
Он в житейской гуще креп,—
Нет и в космосе дороги
Без тебя, сыновний хлеб!

Геннадий Морозов

ВРЕМЯ СТРАДЫ

Озорно щебеча, в небо ласточка радостно рвется,
Веет душной жарой от сухой косогорной гряды.
С каждым днем все тревожней под солнцем июльским
живется,
Приближается время уборочной летней страды.

Под серебряным облаком, ярким, как день, и сверкучим,
Я веду свой комбайн... Слышу: плещется в баке бензин.
Ты прости мне, земляк, что угрюм я сейчас и задумчив,
Знаешь сам — я ведь с полем встречаюсь один на один.

Эту тягу к земле разве выразить, друг мой, словами?
И какую же силою к жатве я нынче влеком,
Когда жалит жара, когда полнится небо стрижами,
Когда облако виснет большим серебристым комком?!

И на этот вопрос даже сам я себе не отвечаю.
Знаю только одно: коль зацвиркали в небе стрижи,
Как ни горбит работа мои угловатые плечи,
К полю рвется душа, слыша чуткие шорохи ржи.

Людмила Щипахина

СЛОВО МАТЕРИ ЕФРОСИНИИ

Я — Ефросиния,
Мать десяти сыновей.
В поле судьбы,
Где светло
От берез и ромашек,
Десять рассветов
Восходят
Над жизнью моей.
Сохнут на радуге
Десять
Веселых рубашек.

Ночи бессонные
Месяцем светят в окне.
Десять подушек
Волшебные сны приманили.

...Десять
Глухих похоронок
Слетелось ко мне.
Десять сынов
Полегли
В окаянной могиле.

Я погибала
Не десять,
А тысячу раз...
Сердце мое
Сыновей
И сегодня все ищет...
Десять рубашек
Не высохли
В памяти глаз.
Десять подушек
Не спят
В опустевшем жилище.
Плечи простудные
Серая шаль холодит.
Горько и скудно
В моем неприкаянном быте.
Десять,
И двадцать,
И тысячу лет пролетит —
Горе мое
Не растает в потоке событий.

Эхо жестокое
Вторит смертельной беде.
Слезы давно
Полпланеты
Залили ночами...
Внуки мои —
Пузыри
На весенней воде.
Дети мои —
Пустота и печаль за плечами.

Десять малиновых звезд
На ворота мои
Люди прибили,
Исполнив обычай хороший.
Только те звезды
И в самые тяжкие дни
Разве покличешь
Степаном,
Андреем,
Алешей?

Добрые люди!
Неужто опять и опять
Битвы и бойни?
И крик похоронок в квартире?
Я, Ефросинья,
Героев бездетная мать,
Вечною мукой
Сегодня зываю о мире!

Владимир Карнеко

* * *

...И начинают в памяти дымиться
костры привалов на большом пути.

А. Лесин, «Шинель»

Звезд родинки на темном лике неба.
Седеет прядка Млечного Пути.
Миры мерцают в тихом забытьи —
им нет нужды
в насущной прозе хлеба...
А на земле
все проще и понятней:
спят голуби в высокой голубятне,
им снится свист и крыльев быстрый мах...
А кто-то спит в своих пуховиках,
в своем земном, уютном, прочном рае,
о лотерейном выигрыше мечтая...
Стремятся в парк последние трамваи,
последние троллейбусы...

Метро

смежило веки выходов и входов...
А я не сплю...
А я опять в пути,
которым мне пожизненно идти
за годом год —
сквозь те четыре года!
...Воронки на нейтральной полосе —
глаза Земли в нетающей печали...
О т т у д а

возвратились мы не все,
да и не всех вернувшихся встречали.

О битвах память заслонить грозя,
уж мирных лет нагромоздилась гряда...
Но пули все летят, летят о т т у д а,
и ни в каких укрытиях нельзя
от них укрыться...

Где мои друзья
из тех окопов мерзлых Ленинграда,
из рвов Москвы, развалин Сталинграда?
Недосчитались скольких мы еще!..
Но перед днем Победного парада
они с моей бессонницею рядом
идут,
идут,
идут —

к плечу плечо,
и на устах — молчания печать.
Но в том молчании таится что-то...

Ты хочешь знать, бессмертная пехота,
как мы, живые, тут?..

Что ж, отвечать,
наверное, начну я по порядку:
сначала было нам не очень сладко,

сначала — только черный пепел хат,
сначала —
 в плуг впряженные коровы,
а то и просто бабы,
 ваши вдовы,
и мы
 под скрип протезов
 с ними в ряд,
самих себя же погоня матом!..

Да-да, все было так...
 Ну, а теперь —
теперь мы в космос отворили дверь
и запрягли —
 чтобы трудился —
 атом!..

Но вновь молчат обугленные рты.
И строго-строго тишина большая
меня о чем-то немо вопрошает:
мол, что же ты —
 все «мы» да «мы»...
 А ты?

Что сделал сам за эти сорок лет?

...А я молчу,
 на звездный шурясь свет.
За столько лет
 непросто дать ответ.

Юрий Мельников

Я ТАМ ОПЯТЬ

Я там опять,
 где в миг любой
Сраженным быть могу.
Где сутки с лишним
 длится бой
На правом берегу.

Трещит под нами
 черный лед
И стелется метель.
Стреляет минометный взвод
Мой
 по траншеям, в цель.

И вижу я:
Ползком, ползком
Отходит враг. Рассвет.
Пехота кинулась броском
За ним на запад, вслед,
Кусты минуя, валуны...
И я за ней, туда...
Мне не вернуться
 с той войны,
Наверно, никогда.

ПЕРЕД БРОСКОМ

К лесным холмам
 привел нас взводный
По снегу, в сумерках,
 ползком...

И это был рубеж исходный —
Какой-то миг перед броском.
И я лежал сосредоточен,
Еще плотней

 к земле приник.
И мне казался долгим очень
Перед атакой

 этот миг.
Передо мной виднелся редкий
Сосняк

 и дзот чужой вдали...
И ощущал я каждой клеткой
Здесь

 притяжение земли.
Враг тоже не дремал, наверно,
С высоты видел
 каждый куст.

Казалось,
Он сразит мгновенно
Меня,
 лишь с места поднимусь.
А миг атаки — ближе, ближе...
Пред нею

 даже ветер стих.
Казалось, больше не увижу-
И дом далекий, и родных...
Мы ринулись вперед по знаку,
Забыв про жизнь, про бытиё...
Не так страшна сама атака,
Как ожидание ее.

В ЛЕСНОЙ ДАЛИ

Неразлучен, наверно,
 буду вовек

С этим краем,
К которому тянет меня...
Я по просеке шел,
Падая хлопьями снег,
Голубела тропа,
В даль лесную маня.
В предвечернем лесу
Было тихо вокруг,
Но раздался
Раскатистый выстрел
 во мгле.

Вздрогнул я оттого,
Что подумалось вдруг:
Стало меньше
Живым существом
 на земле.

За их спиной — годы отступлений,
в ушах оглохших — грохот канонады,
в пустых зрачках — бессвязный бред
бессонниц,
в желудках тощих — граммы концентратов.
Они как надо завалили входы,
все пять подъездов — камнем и железом,
тяжелыми столами и шкафами,
хрипящими диванами. Рояли,
став на ребро, прижали глухо двери.
Вся улица прострелена навывлет,
точнее, чем в аптеке, их огнем,
и каждый ихний залп сопровождается
картавым криком, гамбургским проклятьем.
В том яростном бесцельном иступленьи
не сила, не геройство, не отвага,
а только смертный страх. Перед расплатой...
Здесь пригодится школа Сталинграда:
рывком преодолевши переулок,
в пролом ворваться следом за гранатой,
опередив на миг врага, в упор
прошить из автомата. Смять. Отбросить
его на лестницу и гнать наверх
по этажам... Орудовать прикладом.
Распахивать огнем глухие двери.
Швырять гранаты в дыры перекрытий —
и, наконец, загнать в закуты комнат
ощеренных, как псы, сверхчеловеков,
белесые, безумные глаза
таращащих, хрипящих о пощаде,
вопящих: «Гитлеру — капут!..»

Так Сталинград ворвался в Будапешт.

Нина Новосельнова

МАЙСКИЕ ЗОРИ

*Ольге Михайловне Кружковой,
матери солдата*

Зори мая — цвет калиновый.
Цвет простреленных знамен.
До деревни до калининской
Расстелился нынче он.

В черном кружеве калязинском
На крыльцо выходит мать.
Ой, зачем тебе на праздники
Этот траур надевать?

А она идет, спокойная,
Той дорогой, в той пыли,
Что ее родные воины
Шинелями мели.

Вечным символом молчания
Замер месяц на реке,
Как колечко обручальное
На левой на руке.

И смолкают песни-гомоны
Деревни молодой
Возле памятника скромного
Под красною звездой.

А она, открыв седины,
Молча встала на крыльцо —
И победный свет калиновый
Озарил ее лицо.

Станислав Золотцев

СЫНОВНЯЯ ПАМЯТЬ

I

Сын своего отца и матери своей,
сын рода своего и своего народа,
я — как в живой огонь и как в живую воду —
вхожу в тайник их счастья и скорбей.
...Мои часы отсчитывают время,
зовущееся мирною порой.
На стрелках — 40. Час настал поэме,
герой которой — истинный герой.
Как величать иначе, мой родной,
тебя возможно, если ты — спаситель
всех судеб, сущих в мире, до одной.
А сотням земляков своих — учитель.
А мне — исток всего, что стало мной,
творец Победы, мой творец — родитель
с крестьянскими руками и лицом...

Я сорок лет зову тебя отцом
по всей судьбе — не только лишь по крови.
Но эта кровь — с наследственным свинцом
жжет сердце мне с годами все суровой:
ведь мой противник вовсе не условен.
Уже до первых дожил я седин,
а кровь твоя — к тревоге наготове —
горит во мне. Но разве я один
наследие свинца в себе изведаль? —
фронтовика и труженика сын,
я — голос поколения Победы.
А для отца прекрасней доли нет,
когда за ним по огненному следу
ступает сын, которым он воспет...

II

Последний крестьянин и первый учитель в роду,
полсотни годов наставлявший ребячью орду,
отец был земному — не ратному предан труду,
по воле и доле наследной не ратник — оратай.
Но пашню его век кровавой рассек бороздой,
сшибается черная свастика с красной звездой:
и школа учителя — бой с чужеземной ордой,
и тяга к земле — заповедная сила солдата.

А жители нашей ржаной и озерной земли
не только пахать и рыbachить издревле могли:
топор, что рубил из сосны терема и кремля,
гвоздил в лихолетье по шлемам тевтонским

рогатым.

С мечом приходивший — у нас от меча погибал.
...Но тысячекратно булата мощней был металл,
который отца — и Отечество — жег и хлестал.
И небо казалось пробитой шинелью солдата...

И не было нивы чернее, чем всходы войны.
И не было школы труднее, чем годы войны.
Учитель — учил громовые глаголы войны.
А сеятель — зёрна весны целовал в сорок пятом.
...Когда слово «мужество» в мирную входит

молву,

я вижу одно — что увидеть не мог наяву,
но кровью своей не забуду, откуда живу:
я вижу отца в опаленной шинели солдата.

III

Давний снимок. Предвоенный год.
Молодые мама и отец.
Я смотрю — и в горле ком встает:
как ты страшен, времени резец!
Я нигде красивей не видал
этих лиц, не тронутых тоской.
...На двоих — фанерный чемодан,
связка книг, и вера в мир людской,
и любви отчаянная рань,
и гнездо — сосновая изба,
и вокруг лесная глухомань:
сельских просветителей судьба.
...Ни снежинки нету в волосах,
озорства очам не занимать.
Не завяла в северных лесах
юная учительница-мать.
Вот я вижу — к удалой груди
наклонила нежное лицо...

Знать ей не дано, что впереди —
дым разлук, блокадное кольцо.
Сгорбит глыба тыловых работ.
Дальний фронт безвестием дохнет:
не слышать о муже ничего.
С голодухи вспучится живот
маленького брата моего.

И — пока не взвился над тобой
горький дым, ведущий в горький путь, —
мама, отдохни перед судьбой,
больше не придется отдохнуть.

И отец, глядящий в объектив,
ничего не ведает о том,
что его фугасный вгонит взрыв
с головою в южный чернозем,
и — полон фашистский... И, как тот
шолоховский горестный герой,
он сквозь муки адовы пройдет
с чистой честью — и вернется в строй.

И — пока не грянул смертный бой
и свинец еще не впился в грудь —
отдохни, отец, перед судьбой,
больше не придется отдохнуть...

IV

Только раз ты поведал — а мне же все снится

и снится

этот гарью и потом и порохом дышащий сон:
ты встречаешь войну на степной хлебозорной

границе

и в полынную ночь вдавлен танками ваш батальон.
Нет, вы встретили врага так, что немыслимо
биться достойней.

Но броню лобовую пробьет ли пехота собой
с трехлинейкой в руках?.. И у каждого — лишь

по обойме,

где всего пять патронов. И не было больше обойм.

И тебе довелось — нет, не бегством спастись,

а пробиться,

словно в песне — штыком, но совсем без гранат.

...На крови, на полынном стыде,

на горящей пшенице

настоялась безмерная ярость российских солдат.

Как живая вода — на смертельной беде настоялась
эта лютая воля, сломившая черную рать.

И спасла нашу землю она, эта ярость.

И приказы стратегов скрепляла она, как печать.

...А в тебе отзывается болью свинцовой поныне,

незабытою горечью первых военных дорог

этот запах полыни — тобой обогранный полыни,

как щемящий укор и как самый тяжелый урок.

Но урок — не позор, если он не проходит

бесследно,

и тропа отступленья в июньской полынной степи

привела тебя все-таки к майской сирени

победной,

стала первым звеном в протянувшейся к миру

цепи.

...Пусть же этот урок в судьбах нынешних

не повторится.

Чтоб июньскую зелень нейтронный не сжег

сухостей,

пусть ракетная мощь осеняет родную границу,

и полынная память отцов станет памятью

их сыновей!



ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ

Ал. Михайлов

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Годы уходят, а память по-прежнему возвращает нас к началу сороковых, к нашей ранней молодости, к нашей судьбе — жестокой, беспощадной, но и прекрасной. Читатель поймет мои слова о жестокости и беспощадности судьбы молодого поколения сороковых годов. Прекрасна же она — для тех, что остались в живых, — самую возможностью жить, еще и еще, в новых условиях, испытать характер, испытать свое человеческое достоинство...

Поздняя осень 1941 года. Холодная, ненастная. Атмосфера величайшего нравственного и психологического напряжения. Страшная лавина вражеского нашествия, затопив Молдавию, Украину, Белоруссию и Прибалтику, устремилась в глубь России. Идут ожесточенные бои на подступах к Москве — столице нашей.

Миллионы советских людей встали под ружье, чтобы защитить свой дом, семью, родину, их настоящее и будущее. Учения, стрельбы, маршевые роты и... песня в строю:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!

Ощущение от этой песни трудно с чем-либо сравнить: по спине пробегает холодок решимости,

самоотречения, и ты чувствуешь себя частицей в благородном гневе поднявшегося на войну народа, чувствуешь в себе силу и отвагу сломить врага или с честью умереть на поле боя...

Пройдут годы, десятилетия, вырастут твои дети, они станут старше тебя, впервые услышавшего, а потом и певшего в солдатском строю эту песню, и стоит тебе, особенно в торжественный День Победы, услышать ее — и снова холодок по спине, воспоминания, неотразимая эмоциональная реакция.

Может быть, это только на нас такое впечатление производит песня Лебедева-Кумача и Александрова (а музыка конечно же имеет огромное эмоциональное значение), на участников минувшей войны?

Нет, не только. Нынешнее молодое поколение знает о событиях сороковых годов по рассказам старших, по большой уже литературе, кинематографу, которые в лучших своих образцах правдиво и честно отразили трагедию и героизм войны. Мне не раз доводилось слышать, с каким чувством, с каким искренним волнением молодые люди поют наши старые фронтовые песни. Историческая память народа передается новым поколениям и через поэзию, через песню.

Так в чем же сила, в чем неотразимое воздействие песни Лебедева-Кумача и Александрова на миллионы людей?

Обратите внимание на лексику цитированных выше строк: она почти целиком заимствована из газетной публицистики военного времени. Если судить по обычным эстетическим меркам, то все это никак не может способствовать созданию *художественного произведения*. Между тем необычайно эмоциональная реакция, которую вызывает «Священная война», говорит как раз о *художественном впечатлении*.

Казалось бы, что художественного в строках:

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Трибунная патетика, ораторская речь перед огромным скоплением народа, призыв!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Холодным умом можно расчленил эти строки, найти в них смысловые натяжки, но сердце сопротивляется такому расчленению, оно подсказывает, что в основе песни заключена не обычная — *другая эстетика*, что именно по законам этой другой эстетики надо судить о «Священной войне».

Дело не в определениях, но, вероятно, ее можно назвать эстетикой непосредственного воздействия на чувства в обстоятельствах, когда чувства наиболее обнажены. Чувство, по определению А. Потебни, есть всегда оценка наличного содержания нашей души. Так вот, наличное содержание душ тех, кому адресована «Священная война», было в тот трагический момент таковым, что слова призыва, обещания, клятвы жгли их раскаленными углями. Вспомним: «Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит» (А. Ахматова).

Я не хочу этим сказать, что более совершенная выразительность, более совершенная художественная структура были бы излишни. В тех же исторических обстоятельствах создавался «Василий Теркин», который оказался творением высокой поэтической культуры.

Я не хочу также этим сказать, что солдаты на фронте верили Алексею Суркову, автору «Песни смелых», будто смелость предохранит их от пули и штыка, но и строки Ахматовой, и песня Суркова воспринимались эмоционально подготовленными людьми. То же самое можно сказать и о многих других поэтических произведениях, хотя, вполне естественно, не все из них остались жить в сердцах людей.

Хорошо сказал Михаил Львов: «Значит, дело не только в строке, но — и в нас, — в том, какой на Читательском Времени — час».

И читатель и время изменились, они не те, но почему же все-таки и для новых поколений людей остаются живыми, волнующими «Священная война», строки Ахматовой, заклинание Симонова «Жди меня», стихи и песни Суркова, страстное слово Берггольц?

Остаются живыми и продолжают волновать чувства новых поколений те произведения, которые в пору их создания ложились на душу своим особым настроением, своею пламенной страстностью. Они выразили то *самое существенное, самое главное*, чем жил народ в критический момент истории, выразили сильно и в той поэтической форме, какая соответствовала эстетике времени.

Слушатели новых поколений, эмоционально воспринимая «Священную войну», проникаются эстетическим сознанием народа в годы войны, атмосферой тех лет. В этой песне живет не только историческая память народа, она отражает особенности его эстетического сознания на самом крутом отрезке новейшей истории.

Такие произведения, особенно песенного (но и не только песенного) жанра, не поддаются традиционному филологическому анализу, тайна их воздействия — в эстетике своего времени, в его нравственной и психологической атмосфере.

Сошлюсь на одного мудреца:

«Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера».

Владимир Гусев

БЕРЕГ И ВОЛНЫ

Лучшим стихотворением о войне я считаю лирический монолог А. Твардовского «В тот день, когда окончилась война...».

Произведение это как бы сознательно исполнено на той грани искренности и безыскусственности, за которой уже следует разрыв формы. И местами Твардовский нарушает эту меру; стихотворение длинновато, в нем, как мне кажется, есть лишние строфы. И «все же, все же, все же» оно, на мой взгляд, является лучшим стихотворением о войне не только из нашей поэзии, но вообще из всего, что мне известно о войне из лирики XX века.

Стихотворение о войне не может быть красивым, в нем не должен чувствоваться прием. Я не говорю, что всего этого никогда не должно быть в поэзии, а говорю лишь, что все это — для других тем и жанров.

Стихотворение о войне, оно и должно быть таким, как бы даже ритмически вялым и косноязычным, как начинает его Твардовский:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

Слова не идут, им трудно — тема особая; тема — не для разговора.

И все же говорить — надо.

В конце пути, в далекой стороне
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

И лишь теперь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними различали.

Залпы великой Победы отделяют живых от мертвых. Мысль высказана. Но она должна быть образно завершена. И следует этот знаменитый образ дантовско-шекспировской силы. А прямого чувства в нем еще больше, чем в образах этих поэтов.

Внушала нам стволы ревуших сталь,
Что нам уже не числится в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.

И, чуя там, сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны...

Все эти годы, все эти десятилетия преследует нас их образ.

Толпы безмолвных теней, стоящих там, на том берегу, от которого всё далее уходит тяжелый корабль Жизни...

Татьяна Бек

ЛЮБОВЬ — ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

«Жди меня, и я вернусь...» Июль 1941 года.

Стихи эти, написанные двадцатипятилетним Константином Симоновым, стали и остались пронзительным шедевром его поэзии. Да и вообще — всей советской лирики времен Великой Отечественной войны.

Заниматься расшифровкой магической силы симоновского стихотворения было бы делом неблагодарным и вряд ли перспективным: магия — не схема. Можно лишь попытаться очертить *силуэт* этого стихотворения.

На вопрос читателя относительно истории текста Симонов в 1969 году ответил: «У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была на Урале, в тылу. И я ей написал письмо в стихах. Потом это письмо было напечатано в газете и стало стихотворением...»

Добавлю: стало стихотворением, а затем — и песней, и листовкой, и частицей многих и многих солдатских писем-треугольников, посланных домой.

Глубоко личное письмо в стихах дошло до всенародного адресата. Таков счастливый парадокс творчества.

Сохранилось высказывание Симонова: «Из стихов наибольшую пользу, по-моему, принесли «Жди меня». Они, наверно, не могли быть не написаны. Если бы не написал я, написал бы кто-то другой». Это симоновский характер — предельно скромный в самооценках.

Но мы-то знаем, что «кто-то другой» его стихов никогда бы не написал. Чисто симоновской — неповторимой и неподражаемой — интонацией окрашены в этом стихотворении и вера в Победу, и сплав гражданской отваги с трепетной любовью к женщине.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера...

Мерцающая на протяжении всего стихотворения анафора (жди... жди... жди...) придает авторскому голосу иступленную убедительность — чувство не плутает и не мечется, а с несгибаемым постоянством ведет свою высокую ноту. Здесь композиция лирического стихотворения как зеркало внутреннего состояния поэта. Кстати, такой же повтор эмоционально организует и два других, из особенно сильных и действенных, фронтовых стихотворения Симонова — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и «Если дорог тебе твой дом...».

Повторяющиеся слова — самые существенные для поэта — выдвинуты вперед словно бы невидимым голосовым курсивом.

В стихотворении «Жди меня» монотонность сквозного обращения, присущая народным заклинаниям, взрывается неровной ритмикой: смежные строчки неравносложны, как дыхание потрясенного человека. Длиннее — короче, длиннее — короче:

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора...
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло...

В этих стихах Симонова таинственным и уникальным образом сжились две интонации — тут и присяга, и ворожба.

Как мне кажется, стихи «Жди меня» (и в этом смысле они в симоновской поэзии стоят несколько особняком) самым непосредственным образом продолжают традиции древней народной поэзии. Напомним статью Александра Блока «Поэзия заговоров и заклинаний»: «Тот, кто узнал любовь, помнит о смерти... Влюбленная душа — самая зрячая и чуткая, она как бы видит вдаль и вширь, и нет предела ее познанию мировых кудес. Это — душа кудесника, и влюбленный сам становится кудесником. Вот почему любовь, как высшая тайна, — родная стихия заклинаний; отсюда они появляются, вырастая, как цветы из бездны. Даже в тех бедных текстах заговоров, которые лежат перед нами и в которых больше не играет жизнь и не звучит влюбленный голос, мы можем услышать широкую, многострунную музыку — от нежных лирических мелодий до настоящей яростной страсти, обращающей сердце заклинателя в красный уголь».



А. Т. Твардовский. 1940 год.

*Слева — черновой автограф стихотворения
«В тот день, когда окончилась война...»*

Из подобных заклинаний — симоновское «Жди меня».

Именно эта многострунная — от нежности до ярости — музыка звучит в строках Симонова. И не случайно в небольшом этом стихотворении дважды возникает «чародейный» образ *огня*: «у огня» поминуют героя друзья, а любимая «среди огня» спасает его своим ожиданием. С поэтикой древних заклинаний и заговоров связаны и важнейшие образы природного круга: дожди, жара, снега... Кстати, о снегах. Интересен позднейший прозаический комментарий Симонова, который напоминает нам о жестокой правде исторического контекста: «...вообще, война, когда писались эти стихи, уже предчувствовалась долгой. «...Жди, когда снега метут...» — в этот жаркий июльский день было написано не для рифмы. Рифма, наверно бы, нашлась и другая...» Так, народнопоэтические образы естественно вобрали в себя самую что ни на есть живую и современную психологию, связанную с весьма реальным военным моментом.

В этом сильнейшем симоновском стихотворении — самые «слабые», бедные, не обращающие на себя внимания (не до этого!) рифмы: «меня — огня», «тобой — другой»... Здесь не окончания строк рифмуются — здесь две жизни перекликаются.

С годами необычайно популярное в пору Великой Отечественной войны стихотворение Симонова «Жди меня» ничуть не утратило своей лирической мощи — просто контуры его восприятия еще более расширились. Любовь, попирающая смерть и забвение. Любовь, одухотворяющая долг. Любовь, противостоящая злу войны.

А впрочем, прерву себя тем, с чего начала: подлинную поэтическую магию расшифровать до конца невозможно.

Роберт Винонен

ЗА МИГОМ ВЕК

«... Прожить бы мне эти полмига, а там я сто лет проживу!» Сверкнувшая в памяти фраза похожа на острие. Да так оно и есть, ибо в них, двух стихотворных строчках, предельно заострена спасительная воля к победе — душа всей советской поэзии военных лет. В те годы маяковское «я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» достигло почти идеального воплощения в жизнь: стихи нашли себе место в боевом строю, стали таким осязаемым внутренним резервом, которого противник, видимо, никак не мог предполагать. И в этой духовной армии поэзия Павла Шубина достойна сравнения с одной из самых доблестных воинских частей.

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,

Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить...

В стихотворении «Полмига», родившемся «юго-восточнее Мги 3 августа 1943 г.», описывается довольно будничное для войны дело — подрыв вражеского дзота. Поэтому нет в нем никакой поэтической «тайны», скорее оно смахивает на репортаж, а то и на обыкновенную инструкцию:

Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.

Главное здесь — кратчайшая точность слова, сразу приводящая читателя на место героя, которому и впрямь «не до славы»: бой для него прежде всего работа. Вот почему полна смысла рифма «славы — канавы»: она взрывчато начинена прозой. Таков весь Шубин в своих военных стихах. Он верен общему завету, выраженному тогда Твардовским: «смертный бой не ради славы — ради жизни на земле». Не поменять жизнь «славой»! Модель поведения продолжалась в творческом принципе, страхующем от высокопарности и чисто внешней бравады.

Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот...

Воистину продлить век «до канавы» иной раз важнее, чем «до седин» и до самой славы. Стихи сохранили всю яростную конкретность времени, спрессованного в полумиг. И если бы у лирического героя был досуг вспомнить блоковское «о доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле», то и такая музыка была бы правдой о пережитом шубинским солдатом. Но у бойца одна забота — дзот:

Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

Вот и все стихотворение. Оно глубоко отрешено от бранных мыслей о каком бы то ни было отличии, но неожиданным образом зовет к подвигу и учит подвигу. За обманчивою простотою в его четырех строках совершилось то преодоление литературности, которое и есть высшая поэтическая тайна — причина неумираемости стихов. И оно в героической глубине своей трагично: мы-то знаем, оглядываясь в 43-й год, на самый разгар освободительного огня, что за каждым его полумигом грядут не «сто лет» покоя, а новая, может быть, завтрашняя атака, следующие полмига, в которые жизнь опять будет поставлена на карту. И не только личные сто лет, но история всей Родины...

Слава к Шубину пришла, а «до седин» он не дожил: вдруг умер тридцати семи лет — через шесть годов

после Победы. Трагичность его звонкого выкрика «сто лет проживу!» подтверждена судьбой. Потому что, смею утверждать, поэт пал на Великой Отечественной войне, от четырех лет адового, будничного, смертельного труда его героев на Волховском и Карельском фронтах, под Ленинградом и в Заполярье, в Норвегии и Маньчжурии. И хотя полмига порой перевешивают чашу бытия не в ту сторону, право на сто лет остается за стихами.

Александр Коган

«А ПРОСТО — ТРУДНАЯ РАБОТА...»

Есть в Книге войны такое, что уже никогда не будет продолжено другими, но навеки останется в сердцах живых. Это — слово писателей, погибших на войне. В нашем сознании они пребудут навсегда молодыми — такими, какими они пали на поле боя — «лицом на высохшие травы» (Павел Коган); какими запечатлены в своих последних строках, «в суровой прозе наших дневников» (Николай Майоров). Вспомним Алексея Лебедева, Георгия Суворова... Вспомним тех, кто ушел недолго, недосказав, недопев...

Хочу поговорить об одном стихотворении. То, что в нем воплощено с наибольшей, может быть, глубиной и ясностью, пронизывает *многие* строки войны — потому что, перед тем как пронизать поэзию, это чувство пронзило многие души.

В предвоенных стихах Михаила Кульчицкого (и не его одного) война представляла в условно-книжном, подчеркнуто романтическом, «балладном» оформлении: «Приходит бой с началом жатвы, и гаснут молнии в глазах, но молнии пружиной сжаты в затворах, в тучах и в сердцах...» Или: «Славлю солдат революции, мечтающих над строфою, распиливающих деревья, падающих на пулемет...»

Некоторая риторичность этих строк искупается предельной искренностью, высоким, неподдельным накалом чувств...

И все же это еще — воображаемое, непережитое. Или — вспоминаемое об отцах...

А вот какие поправки — и не только в тему, но и в тон — внесла война.

Стихотворение (это последние из дошедших до нас строк Кульчицкого, они датированы 26 декабря 1942 года, а уже 19 января 1943 года он погиб под Сталинградом) начинается с *пародирования* прежних, условно-романтических приемов изображения войны, с *иронического прощания* с ними.

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники пронесются со свистом
вертящихся пропеллерами сабель...
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит — «налейте нам»,
и, зная топографию,
он топает по гравию.

Так думалось *раньше*. *Теперь* — не то:

Война ж — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда,
 черна от пота,
 вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чоботы
весом хлеба в месячный паек.

Такого — не пережив — не придумать. Ни уподобления глины месячной пайке хлеба (чтобы найти такое сравнение, надо было сперва самому потаскать эту глину на «чоботах», этот хлеб — в вещмешке на горбу), ни точно найденного обозначения действия. Как эффектно было бы, с точки зрения звукописи, написать не «скользит», а «ползет»: «Ползет по пахоте пехота!» Но Кульчицкий не воспользовался напрашивающимся, лежащим на поверхности эффектом звучания — ради *точности*. Поистине, говоря словами другого поэта-фронтовика, «я, может быть, какой-нибудь эпитет — и тот нашел в воронке под огнем».

Но перевод жизненной реальности в поэтическую из расчета «один к одному» — не для Кульчицкого! Его оружие — полемическое заострение, гротеск, гипербола. С точки зрения прямого жизнеподобия его образы «неадекватны» материалу: никому из нас, довоенных мальчиков, даже самым завзятым книжным идеалистам, не казалось, конечно, что пули в каску и впрямь безопасней капель дождя, а при слове «лейтенант» приходили в голову все же другие ассоциации, чем — «налейте нам». Но Кульчицкому нужна именно *такая* степень отрицания прошлых, ложноромантических представлений о войне, такая *безоглядность* прощания, можно сказать — разрыва с ними!

То же — и в обрисовке суровой, не книжной реальности войны: если уж грязь, так «весом в хлеба месячный паек»; если уж Бородино — так чтоб «ежедневные» (разумеется, нельзя воспринимать эту метафору буквально).

Стихотворение Кульчицкого написано вроде бы традиционным ямбом. Но как неровно, прерывисто его дыхание, как взрывается этот ямб изнутри — словно стих читается на бегу, рывком в атаку:

Марш!
И глина в чавкающем топоте
.....
наворачивается на чоботы...

Невольно вспоминается:

Марш!
Чтоб время сзади ядрами рвалось...

(В. Маяковский)

Стихотворение Кульчицкого (так резко *переламывающееся*: от гротескно спародированных *довоенных* представлений о войне — к спокойно-некрикливой интонации повествования о *подлинных* фронтовых буд-

Где меня и я вернусь,
Только очень тесно,
Где когда навздохт грусть
Желтые дожди,
Где, когда снега летят,
Где, когда пшара,
Где, когда дружок не тесит,
Купе на ввара.
Где когда из дальних мест
Всех не придет,
Где, когда уже нагосит
Всем; кто вместе тесит.

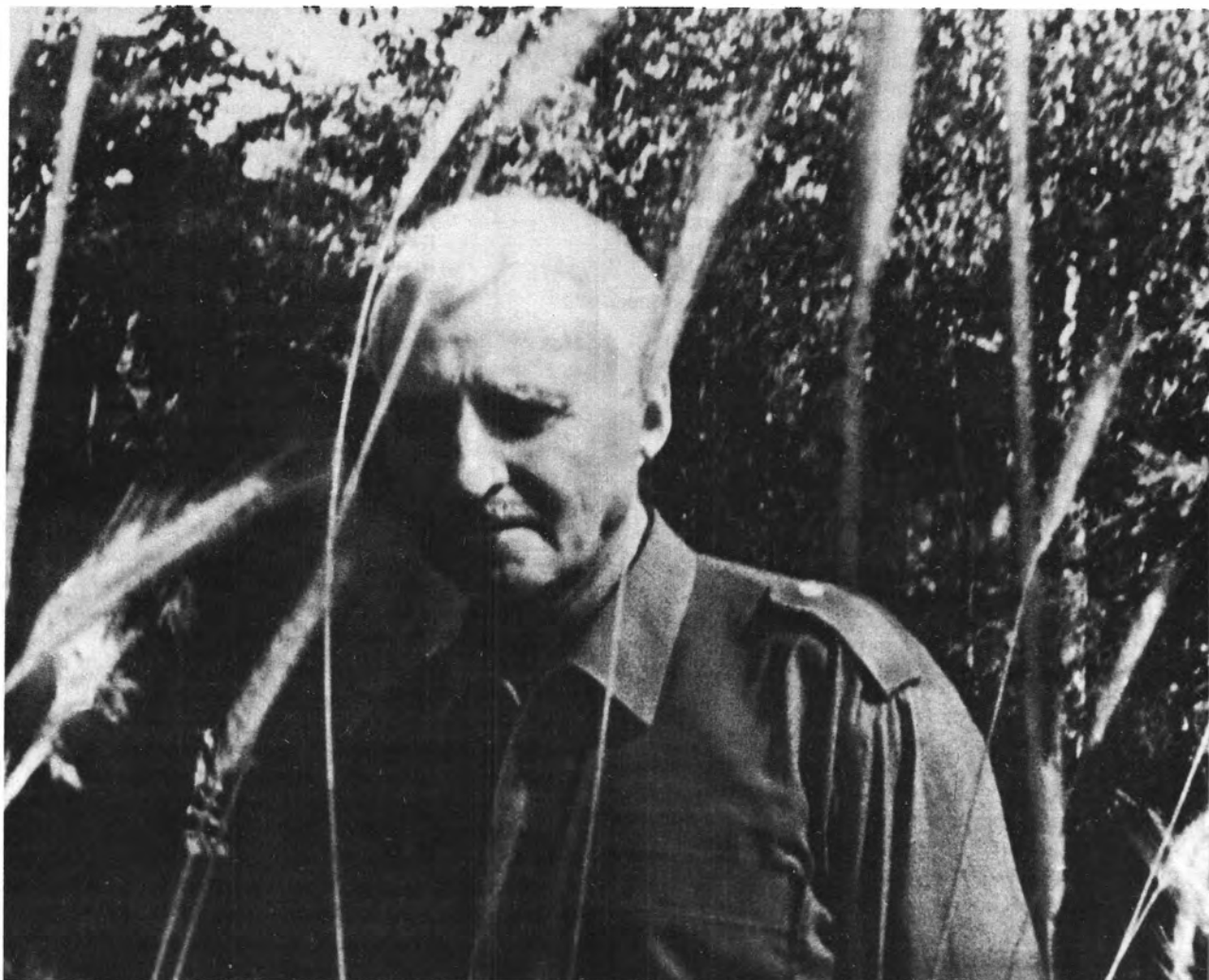
Где меня, и я вернусь,
Ке пселаи добра
Всем, кто знает как усеть —
Что забвять пора,
Пусть поверят сок и мать
В то что нет меня,
Пусть друзья усатанут псдать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На полни души,
Где, и с квини заодно
Выпить не спсми.

Где меня и я вернусь —
Всем смертям назно.
Кто не псдал меня, тот пусть
Скасет: повезло!
Не понять не псдавшим, им
Как среди огня
Опсдашем своим
Мы спсали меня.
Как я выпом — будет знать
Только мы с тобой —
Просто ты умела псдать
Как никто другой!

К. Саломоз

19¹³/₈ 41

Мурманск



К. М. Симонов. Под Могилевом. Конец 1970-х годов.

Слева — автограф стихотворения «Жди меня» (вариант).

нях) заканчивается строфой, которую хочется назвать *светоносной*. Строфой, выводящей стихотворение из контекста *только данного* «своего», *этого* времени — в широкий исторический контекст *времен*:

На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.

Конечно же в этих строках выражено мироощущение, сформированное фронтовыми дорогами; но разве не сыграл тут своей роли и довоенный идейный, культурный, духовный запас автора?.. Духовный арсенал народа...

Александр Блок писал: «Настоящее произведение искусства может возникнуть только тогда, когда: 1) поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое собственное искусство роднится с чужим».

К фронтовой поэзии это относится в полной мере.

Константин Поздныев

«Я, ГВАРДИИ СЕРЖАНТ ПЕТРОВ...»

Еще в 1934 году — на самой заре своего творчества — Алексей Недогонов, обращаясь к Родине, писал:

— Ты меня на битву позови,—
это будет именно для мира.

Лирика военных лет заполнена у Недогонова всем, что было ей присуще изначально: запахами цветов, щебетом мелких пичуг и клеточкой журавлей, свистом ветра и шелестом ветерка, зимними метелями и вешними дождями, громовыми раскатами гроз и сиянием звезд над головой. И здесь же — рукопашные штыковые схватки, «танковые тараны», понтонеры, идущие — дюйм за дюймом — по воде («с ледяными, как сталь, руками»). «Ревут орудия до одури, нацеленные на движение», а «в высоте гремящей — поединки крестов и звезд». Это — подвиги во имя Победы. Поэт воспевает их, *увековечивает* их, но прежде всего потому, что убежден в главном: все, что приходится совершать нашему солдату на войне, это — *именно для мира*.

... «Я, гвардии сержант Петров...» — одно из самых сильных лирических стихотворений Алексея Недогонова. Оно стало хрестоматийным. Написано стихотворение в 1945 году. В нем поэт как бы *осмысляет* пройденный нами путь. Всей фактурой стиха Недогонов подчеркивает и *презрение к смерти*, что было свойственно закаленному в сражениях солдату, и *любовь солдата к жизни*, его жажду творить, работать, тягу к мирному труду, мечту о мире во всем мире,

право на что было завоевано кровью, оплачено бесчисленными смертями фронтовых побратимов.

Стихотворению предпослан эпиграф из М. Ю. Лермонтова: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...», в чем также оттенено, что поэт *итожит* чувства, ощущения, послевоенные раздумья воина, что именно *осмысляет*, как все было и как должно быть после победоносного разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Герой стихотворения, что заявлено уже в заглавии,— гвардии сержант Петров. Повествование ведется от первого лица:

Я, гвардии сержант Петров,
Сын собственных родителей,
Из пятой роты мастеров —
Из роты' победителей.

Я три войны исколесил,
Прошел почти планету,
Пять лет и зим в штывы ходил
И видел —
Смерти нету.

Почему *пять* — понятно (кроме Великой Отечественной имеется в виду еще и «малая» — финская — война). Но почему слово предоставлено *Петрову*? Давно установлено, что Недогонов часто вносил в стихи *подлинные* фамилии тех, с кем сводила его война. Может быть, и здесь дан образ какого-то *конкретного*, как выражался Недогонов, «товарища по ружью»? Полагаю, что нет. Здесь дан *обобщенный* образ, а фамилия Петров введена в стихотворение только потому, что она очень уж «типичная», очень уж русская, очень уж «безусловно подходящая» для *обобщенного* образа защитника Родины.

Я бы сказал так: Алексей Иванович вообще *любил* эту фамилию (она ведь встречается и в других его произведениях!).

Вот «Шуточное послание друзьям». Там есть такие строчки:

Полное собрание сочинений
За меня сержант Петров напишет.

Еще более яркий пример: в поэме «Флаг над сельсоветом» Петровым поименован председатель колхоза. Секретарь райкома партии разговаривает с ним так:

Ну, а где же твой серьезный
Громкий голос вожака?
Где ж она — в семье колхозной —
Нашей партии рука?
Здесь, в Дубровском сельсовете,
В год, который так суров,
Кто за партию в ответе?
Кремль один? А ты, Петров?

Как видим, по замыслу Недогонова, Петров из «Флага над сельсоветом» — это коммунист, который за все должен быть в ответе, ибо он хозяин жизни, строитель ее.

И еще пример. Рассказывая забавный случай из своей жизни, поэт в стихотворении «Номер без номе-

ра» употребил широко бытующую в народе поговорку: «Будь здоров, Иван Петров!», причем адресовал ее себе, будто это он, Недогонов, и есть тот самый Иван Петров.

Тут уместно обратить внимание читателей на любопытную деталь, содержащуюся в стихотворении «Я, гвардии сержант Петров...». Помните, что говорит лирический герой, обращая взор своей мысли «в ширь родных степей», которые после Победы стали для него «бессмертной солнца и святей любой святой святыни?»

Пушай парфянское стекло,
Пушай шелка Стамбула!
А в Тулу все-таки влекло,
А к Аннушке тянуло!

Аннушка «присутствует» здесь не случайно. Это — имя любимой женщины поэта, его жены. Явно симпатизируя своему сержанту Петрову, поэт и имя его возлюбленной «подобрал с пристрастием»...

Гвардии сержант Петров прошел всю войну, вынес все ее тяготы, выстоял. Он видел смерть, но верит в бессмертие нашего правого дела и потому считает возможным сказать: «На свете смерти нету!» Это человек, истосковавшийся по мирному труду, готовый ринуться в новый бой — в бой за восстановление народного хозяйства. Тему стихотворения подсказала сама жизнь. Михаил Луконин писал тогда: «Жажда трудной работы нам ладони сечет!» Об этом же, по сути дела, и вся поэма Недогонова «Флаг над сельсоветом», где сказано: «В тот майский день нам выпал жребий вернуться к плугу и станку» — и где утверждается: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...»

Возникает лишь такой вопрос: поскольку в поэме «Флаг над сельсоветом» есть *хлеботор* Петров, а работу над «Флагом...» поэт начал в те же дни, когда писалось стихотворение «Я, гвардии сержант Петров...», — не предполагал ли Недогонов вначале, что пишет он одну из глав своей поэмы? Как знать! Теперь установить это трудно. Зато нам хорошо известно *самостоятельное*, вполне законченное стихотворение «Я, гвардии сержант Петров...». Оно живет уже многие годы. И для него «на свете смерти нету»...



Виктор Чалмаев

«В ЭТОМ ЗАРЕВЕ ВЕТРОВ...»

Стихотворение «Приду к тебе» (1944), с его страстной сумятицей чувств, угловатой неловкостью самообъяснений, с неожиданной для традиционного лирического послания с фронта «отчужденностью» от любимой, создавалось Михаилом Лукониным в состоянии возросшего недоверия к нарядному, внешне поэтическому слову. Оно его совсем не радовало, может быть, даже удручало своей «послушностью», гибкостью. В трагический для родного ему Сталинграда день — воскресенье 23 августа 1942 года, — когда небо, казалось, заполнили серебристо-холодные тела «юнкерсов», скорпионоузкие фюзеляжи «мессеров», когда в гудящем пламени гигантского пожара, в черных хлопьях пепла, среди языков пламени из рвущихся нефтебаков словно утонул весь город, поэт был на другом фронте. Но образ Сталинграда с полотнищем дыма, «свесившимся» над Волгой, с пустыми глазницами окон, кусками зданий, с Волгой, изрытой взрывами, вошел в его память навсегда. Это был «язык» войны, ее страшное обобщение.

Где взять слова, которые были бы равновелики и такому подвигу и такой трагедии?

В стихотворении «Моим друзьям» эти муки внезапной немоты, боязни слов пустых, без пульса, разрешает и снимает вмешательство соседа по госпитальной палате. Он готов помочь сочинителю писем домой:

Я дам слова!
Ты только жизнь люби!

В стихотворении «Сталинградский театр» (1946) поэт вновь теряет эту уверенность обрести желанное слово, пережить полет души, достойный, скажем, подвига изнемогающего от ран старшины, который стрелял по врагу в театре из суфлерской будки:

... и думал о тех,
Кому на сцене жить.
Какую правду
и в слезы
и в смех
Должны они вложить!
Какие волнения им нужны,
Какие нужны слова,
Чтоб после подвига старшины
Искусству
вернуть
права!

Стихотворение «Приду к тебе» — о тех, кому жить не на сцене, а в жизни. А это — еще сложнее.

Есть, повторяю, какая-то страстная сумятица чувств, тревог, есть интонации неуверенности в неловких самообъяснениях и догадках уже в первых строках этого необычного для нашей поэзии лирического послания с фронта. Оно и появиться могло, пожалуй, только в 1944 году. И только в творческом сознании

Михаила Луконина, неспособного поместить образ любимой ни в какую иную воображаемую «среду обитания», кроме родного Сталинграда. А эта «привязка» сразу породила у лирического героя множество сомнений, тревог. Изменился весь характер исповеди, воображаемого диалога:

Захочу рассказать о смертном дожде,
как горела трава,
а ты —
и ты жила в беде,
тебе не нужны слова.
Про то, как чудом выжил, начну,
как смерть меня обожгла,
а ты, ты в ночь роковую одну
Волгу переплыла...

Близка победа, встреча с любимой и вдруг... боязнь!

Спеть попрошу,
а ты сама
забыла, как поют...

И естественно, что к возвращающемуся из фронтного ада бойцу только *один вид* ласкового отношения — тот, который вновь, с удивительной последовательностью, будет отрицать Луконин:

Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны...

Нам не отдыха надо
и не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны!»

(«Пришедшим с войны»)

Впрочем, и в стихотворении «Приду к тебе» это странное, на первый взгляд, упрямство, боязнь умиления, благодарности уже звучит.

Ты думаешь:
принесу с собой
усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой
целый день вдвоем?

И это после четырех лет ожидания встречи? Лирический герой Луконина живет мукой и тревогой. Это в какой-то мере созвучно проблеме рассказа А. Платонова «Возвращение», — как преодолеть те рвы, что неумолимо вырывает в душах война, как ослабить власть ее ударов? Как не прийти домой с пустой душой? Если человек на фронте «молчанием ожесточенья, как порохом, пропитан весь» (А. Недогонов), то его действительно может свести с ума «непривычный уют», он будет отчужден даже от любимой:

Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,
вздрагнув,
тебя спрошу:
— Стой! Кто идет?!

Лирика Луконина «терпима» к таким заострениям. Она не выносит лишь умиленности, сентиментальности. В 1944 году поэт, словно предвидя будущие муки трудной душевной совместимости, возрождения любви, зная, как много нежности выжгла, унесла война, как жгуча «слеза несбывшихся надежд», скажет о действительном величии фронтовика, того, кто мог сделать спасительный и для будущего выбор:

В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой...

Людмила Качаева

РЕКВИЕМ СОЛДАТУ

Сергей Орлов стал известен после выхода в свет его книги «Третья скорость», где было опубликовано стихотворение «Его зарыли в шар земной...» — своеобразный реквием неизвестному солдату, а еще точнее — поэтический памятник каждому павшему воину Великой Отечественной.

Основная мысль поэтического реквиема Сергея Орлова — дань памяти погибшим. Они отдали свои жизни, но они живы и бессмертны, так как их помнят, — вот что говорит Сергей Орлов этими простыми и высокими строками.

Словесная ткань стихотворения, на первый взгляд, противоречива, так как в ней постоянно соединяется, казалось бы, несоединимое — несоединимостью не слов даже, а обозначаемых словами подробностей. «Его зарыли в шар земной...» — несоответствие конкретного действия, погребения убитого, укрытие тела в земле и представления этой земли как Земли, земного шара, всей планеты, которая приняла тело воина, становится камертоном, определяющим всю стилистику произведения. Оказывается, что тот, кого «зарыли в шар земной», — «простой солдат», без званий и наград, но, по мысли автора, именно ему, каждому простому солдату, достойным его бессмертия памятником только и может быть шар земной — «как мавзолеей», поставленный на миллион веков среди «Млечных Путей». И в то же время реальная земля, как мать, приняла, укрыла своего любимого сына — так зримо-конкретны «рыжие скаты» солдатской могилы. И теперь великая сила Земли — природа охраняет покой воина («тучи спят»), отдает ему скорбный салют («грома гремят») и поет вечную славу («ветра разбег берут»). И все-таки бессмертен солдат до тех пор, пока его помнят, пока жив он в памяти людей, друзей, к которым обращается автор в первом четверостишии, чьими руками — «руками всех друзей» —

положен в шар земной, как в мавзолей, простой русский парень, смертью поправший смерть.

Все просто и сложно, пронзительно-скорбно и просветленно-торжественно... Как же получилось, что шестнадцать простых строк выразили целую философию поэта, оказались в дальнейшем неотторжимыми от имени Сергея Орлова и даже в какой-то степени определили всю его поэтическую судьбу? А случилось так потому, что Сергей Орлов просто не мог не написать этих строк, — они вырвались из его души, оказались исходом, результатом всего им пережитого, выстраданного и высказанного прежде.

Молоденький ополченец 1941 года, «лейтенант в неполных двадцать лет», командир танкового взвода с пробитым пулей комсомольским билетом, горевший в танке, уцелевший и несломленный, Сергей Орлов по праву назвал себя «Гомером гвардейского полка». Он поистине выстрадал в боях свою поэзию, сумел спасти ее среди «тьмы огня»:

Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках.

(«Пускай в сторонку удалится критик...»)

Он в любую минуту сам готов был отдать жизнь за Родину:

А окружит враг проклятый,
Не прорваться из кольца,
Ты спасешь меня, граната,
От позорного конца.

(«Граната»)

В боях он терял друзей, и обряд их погребения отдавался скорбью в его стихах:

Мы ребят хороним в вечерний час,
В небе мартовском звезды зажглись...
Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли черную грудь земли...

(«Карусель»)

Он не мог смириться с безвестностью погибших; в нем все протестовало против возможности их забвения:

Адресов в планшете не нашли,
Слез никто не обронил под вечер,
Холмик рыжей, глинистой земли
Не спеша насыпали на плечи.
И ушли... А в небе тучка шла
И неслышно, будто мать над сыном,
Словно слезы, скорбна и светла,
Уронила крупные дождины.

(«Он ничьих не называл имен...»)

И в послевоенные годы, в дни мира, Сергей Орлов в своих поэтических произведениях постоянно возвращался к годам огненной молодости его поколения, вновь отдавая дань памяти погибшим:

На закате окончился танковый бой.
Грохотали моторы.
Вдали догорали «пантеры»...

Прокатилась
По синему небу
Над черной землей
И упала
На столбик сосновый
Звезда из фанеры.

(«После боя»)

Много прекрасных стихотворений еще написал Сергей Орлов. Но главная песня — «Его зарыли в шар земной...». И вот что кажется сейчас особенно примечательным: простой солдат Сергея Орлова, чье имя неизвестно, чей подвиг бессмертен, встал в один ряд с «убитым подо Ржевом» таким же простым солдатом Александра Твардовского. А далее — уже в наши дни — реквием продолжается: мы все живем сейчас «на земле доброй за себя и за того парня», и «в памяти нашей все они живы... все... все... все...!»

Юрий Болдырев

«ПЕРЕЧИТАЛА ВСЯ СТРАНА...»

Писать об одном стихотворении Бориса Слуцкого, посвященном войне, очень трудно. От любого из его стихотворений о войне протягивается ниточка к другим — и часто даже к тем, в которых о войне вроде бы ни слова или есть одно-два выражения, брошенных мимоходом, но мгновенно меняющих ракурс и освещение картины. Ниточки эти — от строки одного произведения к строке другого либо к его смыслу — не заметить невозможно и обрывать не хочется. Да вот, к примеру. Читаю в стихотворении «Роман Толстого»:

...Добродушье и великодушье
Мы сочетали с формулой простой:
Душить врага до полного удушья,—

и — хочешь не хочешь — вспоминается и чеканная строка «ее приказов формулы простые» из стихотворения «Я говорил от имени России...», и такие произведения, как «Немецкие потери», «Итальянец», «Из плена», в которых отразились и добродушие, и великодушие советского солдата. А последняя из этих трех строк приведет на память стихотворение «Госпиталь»:

Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский

Не помирал меж нас!

Стихотворение «Роман Толстого» было опубли-

ковано в февральском номере «Знамени» 1966 года, много позже первых, самых первых, самых громозвучных стихов Слуцкого о войне («Кельнская яма», «Голос друга», «Лошади в океане», «Последнюю усталостью устав...») и его дебютных книг «Память» и «Время». И могло поначалу восприниматься как написанное вдогонку тем, прежним, описывающее то, что еще не описано, не показано, осталось в тени.

Но как раз ничего описательного, рассказывающего о военных буднях в этом стихотворении не было. То, что сказано в его первой строфе о военном госпитале, мы уже знали хотя бы по тому же Слуцкому. А новое было. Явственнее, чем где-либо ранее, поэт предстал здесь историком войны, историком своего времени.

Когда это — «нас привезли, перевязали»? Думаю, что сорок второй год («Дом так же отделен, как мир»). Следующий, сорок третий был переломным в военном отношении. Но ему предшествовал перелом душевный, перелом в настроении «всех гражданских и... всех военных», о нем-то Слуцкий и говорит. Для чтения романа Толстого «Война и мир», на которое не всегда доставало времени в мирную, спокойную пору, нашлось время тогда, когда его и для сна не хватало, и оно было катализатором и свидетельством этого духовного распрямления русского человека и всего советского народа.

В этом стихотворении интересен и важен не только смысл, но и то, как оно вылилось, отлилось. Его конструкция несколько необычна. Первые и последние строки, окольцовывающие его, существуют в малом времени, в том, что вместило в себя пребывание в госпитале, часы и дни чтения «Войны и мира». Тут, в этом малом времени, и находится то «теперь», о котором сказано в заключительном стихе: «Теперь он (толстовский роман.— Ю. Б.) стал победы кратким курсом».

О времени ином, большем, о всей военной поре («Роман Толстого в эти времена перечитала вся страна») говорит почти весь остальной текст произведения. О том, как в роман «отступали из войны», чтобы вдохнуть кутузовской и тушинской стойкости и уверенности в победе и понять о себе, «какими быть должны», о том, как менялись люди, облученные Толстым, менялись внутренне и внешне, так что «любили по Толстому» и «воевали тоже по Толстому» — и, следовательно, побеждали Гитлера и его рати.

Но отразилось здесь и большое время, то, что не вмещается ни в четыре долгих военных года, ни в эпоху, ни даже в век. Оно сгустилось в центре стихотворения, собственно, в двух строках:

Роман Толстого в эти времена
Страна до дыр глубоких залистая,
Мне кажется, сама собою стала,
Глядясь в него, как в зеркало, она.

(Курсив мой.— Ю. Б.)

Вот это происходит всегда, если у великого народа есть великая литература: и в горестном сорок втором, и в победном сорок пятом, и в иные годы и десятилетия, с отдельными людьми или, если возникает необходимость, со всей страной. И совсем не случайно это стихотворение было напечатано в пору, когда мы вдруг (и, конечно, совсем не вдруг — стихотворение Слуцкого и об этом) раскрыли многие классические тома и стали вчитываться в них. Чтобы что? Увидеть самих себя? Понять себя? Стать самими собой? Может быть, говоря о прошлом, поэт заглянул в будущее? В этом не было бы ничего удивительного — такова одна из задач поэзии.

Михаил Пьяных

«КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА!»

Стихотворение начинается страстно, патетично:

Какая музыка была!
Какая музыка играла...

Такая страстная патетика свойственна многим стихам Межирова, но чаще всего она обнаруживает себя в них не сразу, не с первых строк и не с высокой ноты, а открывается постепенно, замедленно, как, например, в известных стихотворениях «Календарь», «На всякий случай», «Серпухов». Рождаясь из восприятия повседневной, нередко грубой и жестокой, прозы жизни, эта патетика романтического свойства поначалу выглядит незаметной, скрытой в описаниях будничных подробностей, и только к концу стихотворения она раскаленной лавой вырывается из раскаленной теснины: «Ну так бей крылом, беда, по моей веселой жизни, и на ней ясней отисни образ няни — навсегда. Родина моя, Россия... Няня, Дуня, Евдокия...»

А вот стихотворение «Музыка» от начала до конца выдержано в интонации высокой патетики. «Музыка» бытия не скрыта здесь в изображении быта и не заслонена прозой жизни. Вместе с тем эта «музыка» и не оторвана от грубой и жестокой реальности, а глубоко связана с ней. Вслед за патетическим началом ждешь продолжения восторженного ликования или указания на его источник. Указание и в самом деле следует незамедлительно. Из него мы узнаем, однако, что патетика рождена не созерцанием чего-то высокого и прекрасного, а резким столкновением человеческого с бесчеловечным, грубым, низменным, варварским:

Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попраля.

ОКЛИК ЖУРАВЛИНЫЙ

Поэт живет как бы в предчувствии стиха. И когда стихотворение рождается, то в нем, в его живом дыхании, в его мелодике, в словах и в самой метафорической речи, проступает жизненный опыт автора, виденное им и пережитое, осмысленное и прочувствованное. Но оно, подобно появившемуся на свет ребенку, не издало бы первого — взхлеб! — крика, если бы не было озарено чудесным мгновенным открытием или находкой.

Так и гамзатовские «Журавли». Они постепенно поднимались на крыло и... вдруг взмыли в небо гордым белым клином. И с тех пор эти пронзительные стихи, а затем и песня (музыка Яна Френкеля) уже неотступно живут в нас, рождая светлую печаль.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

(Перевод Н. Гребнева)

Предысторию этих строк рассказать и трудно и легко. Где была та «зацепка», которая послужила началом поэтического образа?.. Она и в биографии Расула Гамзатова: два его старших брата — Магомед и Ахильчи — погибли на фронтах Великой Отечественной войны. И если Магомед умер от ран в госпитале в Балашове, то Ахильчи, подобно птице, был сбит над Черным морем в 1942 году, когда его самолет возвращался с задания. Первый похоронен на волжских берегах, а у второго брата «ни могилы, ни следа».

А может, начало «Журавлей» в горском фольклоре, в народных песнях и преданиях, где герои, храбрые джигиты и смелые воины, олицетворялись с гордыми орлами и ясными соколами?.. Читаем, к примеру, в «Плаче по убитому»:

Был со мной мой сокол сизый,
Речь мою понимал мой сокол,
Когда я молчала, он хмурился, бедный,
Когда я смеялась, и он смеялся.
Встрепенулся сокол, улетел за горы,
Вдаль улетел, чтоб назад не вернуться.

(Перевод Н. Гребнева)

Такой поэтический прием — один из самых распространенных не только в горском фольклоре, но и в песнях, сказках и легендах народов всего мира, вообще в искусстве. Его развитие можно продолжить вплоть до метафорической канвы фильма Чухрая и Урусевского «Летят журавли». Не потому ли стихотворение, а затем и песня аварского поэта стали так близки и понятны каждому?..

Рождение этих строк можно проследить и в

творчестве самого Расула Гамзатова. У него немало стихов, близких по образной структуре, по метафоричности, по поэтическому накалу. Здесь и «Птичекрылый караван», и «Товарищи далеких дней моих...», и «Белокрылая птица небесная...» Здесь и небольшой триптих «Журавли», и цикл «Вновь журавли улетают...» в книге «Последняя цена». Здесь и одно из восьмистиший:

«Парящие над реками и скатами,
Откуда вы, орлы? Каких кровей?» —
«Погибло много ваших сыновей,
А мы сердца их, ставшие крылатыми!»

(Перевод Н. Гребнева)

Словом, эта тема, ее образное решение Расулом Гамзатовым достаточно разработаны. Но по силе, по лирико-эпическому замыслу, по широте обобщения эти стихотворения, при всей их оригинальности и поэтичности, трудно поставить рядом со знаменитыми «Журавлями». Последние неповторимы.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что, по словам самого автора, «образ возник в Хиросиме». Не от тех ли белых бумажных журавликов, которые по-детски беззащитно кружатся над этим городом, не забывшим черного атомного пепла?.. Но там, в эпицентре взрыва, становится естественной и большая гуманистическая мысль поэта, его память о погибших, о невернувшихся с полей сражений, о всех, кто превратился в белых журавлей:

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Кстати, заметили ли вы, что эти стихи, как и близкие им, перевел один переводчик — Наум Гребнев, поэт-фронтовик, тяжело раненный в одном из сражений? И в этом есть какой-то знак поэтической судьбы.

Стихотворение Расула Гамзатова быстро стало песней, автор «благодарен композитору, давшему этим стихам крылья». Но так же он может быть благодарен и первому исполнителю «Журавлей» — Марку Бернесу, чье негромкое, как бы размышляющее исполнение песни и предопределило ее всесоюзный успех.

С Бернесом связан и один весьма примечательный эпизод. О нем рассказал сам Расул Гамзатов: «В свое время я написал песню «Журавли» — о парнях, которые после смерти на поле брани превратились в белых журавлей. В переводе на русский, видимо, из уважения к «национальному колориту» — «парни» оказались «джигитами». Когда писалась музыка, мне позвонил покойный ныне певец Марк Бернес и сказал: «Ты не будешь против, если вместо «джигиты» я спою «солдаты»?» Я согласился. Одно слово, а насколько выиграло все стихотворение, вся песня. Получилось обращение ко всем

солдатам, отдавшим жизнь в битве против врагов человечества и человечности».

Действительно, в «Журавлях», казалось бы, нет прямого намека на конкретное время, на Великую Отечественную войну... Символы, слова достаточно условны: «кровавые поля», «дальние времена», «сизая мгла»... Но почему же в нашем сознании эти строки, эта песня заняла такое же место, как военные «Землянка», «Враги сожгли родную хату...» и многие другие? Потому, что этот печальный и одухотворенный реквием, трогающие душу и сердце слова как нельзя лучше соответствуют народной памяти о войне, памяти житейской и памяти романтической. Не случайно образ улетающих журавлей стал ныне памятником, отлитым в бронзу, семерым сыновьям осетинки Тасо Газдановой, погибшим на войне.

Ну а насчет «малого промежутка» в журавлином строю?.. Пусть он подольше остается свободным — и когда знакомый нам курлычущий клин возвращается по весне в наши края, и когда мы его осенью с грустью провожаем в дальнюю путь-дорогу.

Павел Ульяшов

РУССКИЙ ОГОНЕК

Среди многих излюбленных, все время повторяющихся мотивов у Николая Рубцова — один из главных: дорога. Движение. Отсюда и встречи. Размышления по поводу увиденного, вспомнутого.

«Я был совсем как снежный человек, входя в избу (последняя надежда!), и услышал, отряхивая снег: — Вот печь для вас и теплая одежда...» Подробность немаловажная, но и в общем обычная для характеристики деревенского, еще не вкусившего горечи городской отчужденности гостеприимства.

Все детали исключительно важны. Путник (или автор) замечает, что старушка хозяйка, приютившая его, какая-то безжизненная, словно глухонемая («в тусклом взгляде жизни было мало»). И вот — самое главное. Путник видит на стене фотографии — все тоже обычно для деревенской избы.

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнем, враждой
Земля полным-полна,—
И близких всех душа не позабудет!..
— Скажи, родимый,
Будет ли война? —
И я сказал: — Наверное, не будет.

Вот они, не сразу явленные, связующие мостики между российским гостеприимством, фотографиями

на стене (все, что осталось от близких), кажущимся безучастием этой женщины и ее вопросом, повторенным дважды: «Будет ли война?» И дважды полученным ответом: «Наверное, не будет». В этом «наверное» тоже особый смысл и опыт. Категорическое «нет» здесь прозвучало бы, пожалуй, чересчур резко.

Вообще-то о войне Николай Рубцов почти не писал, его лирика, исповедальная по характеру, опиралась на лично пережитое. Только в стихотворении «Детство» («Мать умерла. Отец ушел на фронт») поэт коснулся этой темы, но как сдержанно-благородны, лишены всякой плаксивости и обид на судьбу его воспоминания о детстве: «Вот говорят, что скуден был паек, что были ночи с холодом, с тоскою,— я лучше помню ивы над рекою и запоздалый в поле огонек. До слез теперь любимые места! И там, в глуши, под крышею детдома для нас звучало как-то незнакомо, нас оскорбляло слово «сирота».

Поразительно — иному автору этого горестного военного детдомовского детства хватило бы не на одну книгу, а Рубцов сказал раз и тут же словно бы отказался развивать тему, которая скрыта в глубине лирического настроения. Вы заметили, в этом стихотворении тоже есть некий светящийся в ночи огонек? Русский огонек — свет народной души...

Конечно, поэт мог и днем забрести в неизвестный дом и увидеть там ту же сцену — ведь на Руси не счесть вдов и оставшихся без сыновей матерей. Но у каждого художника свой мир, своя символика, требующая соответствующего психологического выражения. Дорога, ночь, тревога, изба, поле, звезды, огонек, ночлег, старуха или старик, одиночество, глухая, затерявшаяся в пространстве деревенька — эти образы и мотивы свойственны поэтическому миру Николая Рубцова. Они необходимы для воссоздания атмосферы, в которой только и может существовать душа (кстати, тоже любимое им словопонятие) лирического героя рубцовской лирики.

Стихотворение «Русский огонек», можно сказать, всей атмосферой говорит о войне, а не только одним воспоминанием; оно поистине «написано войной». Шире — всей мерой народного подвига и страдания, народной правды пережитого.

Эта атмосфера естественно вовлекает в себя и других героев. Все должно быть выверено и проверено правдой — и эта изба с пожелтевшими снимками, и седа старуха, утратившая из-за страшного горя интерес к жизни и вместе с тем инстинктивно, в силу врожденных народных качеств предлагающая ближнему и кров, и одежду, и конечно же отказывающаяся при этом от денег... А огонек — это символ любви и доброты русского человека. И лишить его этих качеств не может ничто — даже война. Об этом заключительные строки стихотворения:

Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек.

За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле — и нет тебе покоя...

И поэт о покое тоже никогда не мечтал. Русский огонек звал Николая Рубцова снова и снова в путь, вселял надежду и веру...

Образ, как видим, необычайно широкий и емкий. В нем и пушкинские, и лермонтовские, и некра-совские, и блоковские, и есенинские мотивы Родины.

Свет этот виден повсюду — всем людям доброй воли на земле.

Инна Ростовцева

В РЯДУ «ЖЕСТОКО-СТРОЙНЫХ ФОРМУЛ»

Стихотворение, о котором пойдет речь, при жизни поэта напечатано не было.

Как и все стихи, созданные им в 1963 году, оно было переписано от руки и прислано в письме к автору этих строк. Случилось так, что поэт забыл про него. В рукописи первой книги «День и ночь» (Воронеж, 1964), которую мы с ним вместе составляли, точно помню, этого стихотворения не было. Как не было его и в последующих прижизненных изданиях.

И вот в 1978 году, когда в Москве в издательстве «Советская Россия» готовился посмертный сборник Алексея Прасолова «Стихотворения», его составитель Вадим Кожинов обратился ко мне с просьбой посмотреть, нет ли в моем архиве не опубликованных ранее произведений поэта.

...Неожиданно для меня самой, их оказалось немало — стихов, оставшихся внутри контекста писем и связанных с ним единой и нерасторжимой работой мысли... Среди них в письме от 19—23 сентября 1963 года был обнаружен и «Тот час».

Поскольку поэт имел обыкновение ставить дату написания своих стихов, точно известно, когда был создан «Тот час»: 19 сентября 1963 года.

Вот оно, это стихотворение Алексея Прасолова:

4.00 22 июня 1941

Когда созреет срок беды всеветной,
Как он трагичен, тот рубежный час,
Который светит радостью последней,
Слепя собой неискушенных нас.

Он как ребенок, что дополз до края
Неизмеримой бездны на пути,—
Через минуту, руки простирая,
Мы кинемся, но нам уж не спасти...

И весь он — крик, для душ не бесполезный,
И весь очерчен кровью и огнем,
Чтоб перед новой гибельною бездной
Мы искусенно помнили о нем.

На первый взгляд, произведение стоит как бы особняком в лирике поэта. Но это только на первый взгляд. Его ближайшие «соседи» — по времени написания — «Тревога военного лета» (апрель, 1963), «Рубиновый перстень» (июнь, 1963), «Та ночь была в свечении неверном» (12—25 августа 1963) — стихи, где поэт попытался, говоря его словами, «пройти по извилисту и глубокому руслу тех давних лет».

Те давние годы — это 1942—1943 годы, когда он, 12—13-летний мальчик, живший тогда в среднерусском селе Морозовка, близ Россоши в Воронежской области, познал весь горький мир обожженного войной детства, унижительное состояние оккупации.

О том, что в душу Прасолова глубоко запали «жесткие глаголы» войны, спрягать которые он научился так рано, живая память и боль тех дней, красноречиво свидетельствуют и слова, сказанные им в письме от 10 марта 1963 года: «Мне давно не даю покоя дни 42 и 43 годов, впитанные мной».

Примечательно: редко допускавший правку в своих письмах, поэт сделал здесь одно исправление: «виденные» заменил на «впитанные».

Действительно, он «впитал» всё из тех лет, что было нужно ему для поэзии, — скупую точность детали («Шинельная серость рассвета, в осколочной оспе вокзал»), психологизм эпитета («Кладут и кладут их рядами, сквозных от бескровья людей»), зрительную осязаемость гротескного образа поверженных врагов («...Сверкают гвозди их сапог, упертых в белую метель»).

«...И мне нужна была только моя живая память», — скажет он впоследствии в своем незаконченном прозаическом произведении о войне «Жесткие глаголы».

Возможно, что для прозы — так, но поэзия потребовала от Прасолова большего. Глубины обобщения.

В ряду «жестоко-стройных формул», которые вывела прасоловская муза о войне, «Тот час» — самая короткая, самая обобщающая и самая трагедийная.

Она — центр, что стягивает и ранние, 1962 года, стихи о начале войны («Рубиновый перстень»), и стихи 1967 года («Еще метет во мне метель...»), и поздние попытки прозы. Но это — не простое внешнее стяжение опробованных ранее и угадываемых позднее разноречивых линий поэтики в единый эстетический узел.

Это — новое по намерению и высоте интонации произведение — пророческое, зрелое, предупреждающее.

Об этом же «кричит» и предвещающий стих эпиграф: «4.00 22 июня 1941».

Начало войны. Нет никаких конкретных, множественных и локальных реалий, из которых складывается образ начала войны, но есть попытка дать предельное обобщение самого времени — образа «того часа».

И, надо сказать, попытка замечательная!

Трагический в истории час предстает перед нами в образе ребенка, «что дополз до края неизмеримой бездны на пути», и что может быть страшнее этой картины: «...через минуту, руки простирая, мы ки-немся, но нам уж не спасти...»

Но ведь в таком же положении может очутиться «младенец-мир», если не будет помнить о трагическом уроке истории — о рубежном часе, отсчитавшем минуты второй мировой войны...

Но стихотворение — не только об уроках истории; оно — о необходимости зрелости («Блажен, кто вовремя созрел!»), и с к у ш е н н о с т и каждого человека, в равной мере отвечающего и за судьбу своего ребенка, и за судьбу человечества.

Личное и общее в человеческой жизни оказывается здесь столь органично взаимосвязано, взаимообусловлено и взаимответственно, что именно это в конечном счете и должно отстоять судьбу цивилизации.

Память о «минутах роковых» истории, о «крае неизмеримой бездны», о сроке «беды всесветной» заставляет вспомнить ораторский слог тютчевской речи.

Сближение возможно еще и потому, что Прасолову внятна тютчевская авторская позиция «высоких зрелищ зрителя» «среди бурь гражданских и тревоги» (вспомним хотя бы «Цицерон» Тютчева).

Художественный строй «Того часа», безусловно, несет в себе классичность: он хранит «грандиозный слепок того, что в нас не улеглось» (как сказано в другом стихотворении — «Коснись ладонью грани горной...»), отпечаток жизни духа в памяти природы и истории.

Образы, поражающие нас в этом стихотворении своей глубиной и пластичностью, стройны и органичны: они исследованы на уровне частного и общего опыта человека и вырастают из всего целого и цельного контекста лирического мира Прасолова, к которому вполне приложимы собственные слова поэта, сказанные им о Тютчеве: «В конце концов эпическое вместилище и в малую форму, если оно большое и настоящее... У него рядом с запечатленным мгновением проступает век, эпоха...»



Л. Аннинский

СТАНЦИЯ ЗИМА. ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИЯ

Всякое послание помимо личности автора окрашивается тремя факторами: временем, местом и адресатом; стихотворение же в особенности: здесь сугубо важно — когда написано, где появилось, кому предназначено.

Когда?

В 1957 году. В самый ранний рассвет наш, в подлет эпохи, которую потом назвали временем молодой лирики. В пору, когда еще не приклеилось к ней слово «эстрадная» и стихами начиналось, стихами разрешалось всякое литературное откровение — далеко еще было до спада.

Где?

В сборнике «День поэзии». Во втором выпуске «Дня поэзии». А первый — огромный, украшенный автографами поэтов, прозвучавший год назад манифестом,— еще у всех на памяти; с тем, первым, началась эпоха лирики, а с этим, вторым, она как бы навсегда закрепляется; главного редактора нет, есть редколлегия: братство поэтов; разделы не озаглавлены — идет «поток стихов», только по авторам и ориентируешься, а уж авторов мы знаем; кого читать — мы отлично знаем...

Кто — «мы»?

Те, кому адресовано. Вчерашние студенты. Невоевавшее поколение. Это сейчас, теперь, четверть века спустя, попали мы в круг людей, *изведавших* войну,— ввела нас в этот круг народная жалость к нашему военному детству, а тогда мы были — неизведавшие. Спасенные. Настоящего огня не познавшие. Романтики, идеалисты, люди слова и мечты. «Лобастые мальчики» запаса. Мы не знали «настоящей жизни», «настоящая жизнь» еще должна была потрясти нас, проверить на устойчивость нашу мечту, наши слова. Это начинавшееся потрясение духа сложно связывалось с ощущением обошедшей нас фронтом войны и накладывалось на молодую нашу решимость: немедленно заявить о себе.

О, мы отлично понимали тот язык, на котором обращались к нам наши поэты. Мы не искали ни «тему», ни «стиль», мы искали имена.

Имя я и раскрыл тогда, отыскав по оглавлению: Евгений Евтушенко. Стихи без названия? — прекрасно: сразу — магия строк, наша судьба, наша исповедь:

Пахла станция Зима молоком и кедами.
Эшелонам пастухи с лугов махали кепками...

Это и теперь поразительно: десять слов всего, десять штрихов — а с какой точностью написана ситуация, и сказано все, абсолютно все. Тыл. Тоска. Мечта. Шатающийся, слегка опьяненный собой стих. Рифма...

Рифма — вот что самое колдовское. Через головы непосредственных предшественников Евтушенко салютует кому-то вдаль: поэтам двадцатых годов? началу века? Он отменяет в стихе *канон отчетливости*; возникает какой-то дымчатый, неверный, нежный контур-ореол; это и нас, читателей, шатает, подмывает, пронизывает:

На фуражках звездочки милые, алые...
Уходила армия, уходила армия!

Отцы уходят... Всякая подробность — последняя, предсмертная, значимая. И он не может удержаться, наш поэт: подробности ведут его, бьют потоком, затопляют стих: синяя шапочка-испанка, кисточкой машущая солдатам; сибирский варенец в руках; цветы, сорванные с горсадовой клумбы; бидон, спаянный из консервных банок. Быт эвакуации... У экономного и точного поэта любая из этих деталей удержала бы целое стихотворение, а у нашего все навалом, захлебом. Эта неуправляемая зоркость впоследствии, пожалуй, повредит ему, и он, собирая ворохи впечатлений, иной раз будет в них тонуть. Но на заре нашей — что-то пленительное брезжит в этой жадной зоркости, в этом возбужденном поглощении фактов, в этом наиве и в этом озорстве: «Мама подбегала, уводила за фикусы. Мама говорила: «Что это за фокусы?» Ну, рифма! Ну, фокусы! Да он нарочно ложится под топоры критиков! И критики не медлят: они ему *фокусов* не прощают: всякая строка идет в критический разбор, в разнос! А он?

Он. «писал тогда роман, и роман порядочный, а на станции Зима голод был тетрадочный...». На трезвую-то голову прочесть — бог знает что

такое: юнец рассказывает в стихах, как он пишет роман. Литературный самострой какой-то... Но и это терпимо, и это каким-то краем входит в возбужденное самовыговариванье юной души, на глазах у всех пытающейся собрать себя, понять себя.

Что ж такое пишет он под грохот эшелонов, этот тощий подросток в шапочке-испанке?

И писал я нечто, еще не оцененное,
Длинное,
военное,
революционное...

Пронзила меня эта финальная строчка. Странно, помню, пронзила: «военное» — ладно, но как тут — «революционное»?

Люди абстрактно-логического ума, чья душа не замешена на чистоте веры, вряд ли поймут меня, но у нас тогда *все* накладывалось на образ революции. Фронтовая похоронка и очередной салют, очередь за хлебом и фильм о партизанах. «Война» была продолжение «революции», то и другое было *всем*, душа раскрывалась в две створки. Это совмещение и было, наверное, самым неповторимым, самым уникальным и самым счастливым еще знаком утраченного духовного единства. А может, и так: избывая военное лихолетье, мы искали в революции душевной опоры, не зная еще, что в будущем сама война, пережитая в детстве, станет опорой души. Евтушенко почувствовал это первый.

В двадцать три года он писал стихи, которым суждена, я уверен, долгая жизнь в истории русской лирики, — потому что он имел наивность и смелость сказать о себе все, как есть. Станция Зима. Война. Революция...





Николай Грибачев

ОМЫВАЕТ РОСУ РОСА

Засыпает птица в лесу,
Затихает в реке вода.
Омывает роса росу,
Догоняет звезду звезда.

Что же так беспокойно мне,
Хоть пора собираться спать?
Память мается на войне,
На походе, в бою опять.

Говорю ей:— Вернись, пора!
Не скули, не зови, не ной...—
Только нынче с позавчера —
Два вола в упряжке одной.

И одна у них борозда —
Как на две я их разведу?
Омывает росу роса,
Догоняет звезда звезду.

СОЛДАТЫ

— Где солдаты твои, комбат?
По приказу станут ли в строй?
— Девяносто процентов спят,
Не в постели — в земле сырой.

Кто сражен, кто в танке сожжен,
Кто живым пришел, но потом
Был недугами сбит вдогон,
На погост поменял свой дом.

Новый день — новый счет потерь,
Мы свершили свое сполна.
На гранитных плитах теперь
Наши пишутся имена!

СКОЛЬКО НАДО

Долгие дороги,
Черный лик войны...
Сколько по тревоге
Мы вставать должны?

Спрашивал у сада,
У полей чуть свет.
— Столько, сколько надо! —
Следовал ответ.

ПОСЛЕ БОЯ

Когда б мне и двойной длины
Природа путь дала, я все же
Сто раз вернусь, себя итожа,
Туда, в огонь и кровь войны.

Перед атакой, в миг особый,
Как бы при молнии во мгле,

* * *

Самшитовый несокрушимый лес!
Не гнется он и под напором шквала
И не дрожит к исходу дня устало —
Здесь каждый сук всегда наперевес.

Железный лес напоминает мне
Моих друзей, что брали перевалы...
Они б любые выдержали шквалы,
Коль на смертельной выжили б волне.

* * *

Ветер,
Разыгравшись по-над плесом,
Сам с собою жмет вперегонки.
Не солдатом,
А мальчонкой босым
Потягаться с ним бы у реки.
Только ветер выплеснул:
— Не дело,
И настрой твой
Вспыхнул вгорячах,
И шинель буквально задубела
На уставших до смерти плечах!.. —
Он легко гуляет по Задонью,
Я вгрызаюсь
В крутолобый склон —
За него уже наличной кровью
Трижды расплатился батальон.

Владимир Федоров

РОЗА СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

1

Конец.
Ты не вернешься из полета.
Сомкнутся волны.
Тьма.
Глухой удар.
А где-то мертвым
Бьет из пулемета
Романтик русский
С именем Гайдар.

2

Когда б ты не исчез
В лазурной мантии
Над берегом
Губительно-красивым,

Ты был бы
Среди соколов «Нормандии»
Под небом
Полыхающей России.

3

Есть роза
Сент-Экзюпери.
Слились,
Сплелись в ее одежде
Свет
Угасающей зари
И свет
Немеркнувшей надежды.

Леонид Рабицев

ВЕНА — 1946 г. СОБОР

Мне говорит седой мой проводник,
Что нет в Европе памятника выше,
Что он описан в двух десятках книг
От плит и ниш до потолка и крыши.
Смотрю издалека, смотрю в упор
На достопримечательный собор.

Мне говорит мой проводник седой,
Что там, где начинается ограда,
Покоится под мраморной плитой
Ефрейтор Мотыльков из Сталинграда.
И каменный апостол из алькова
Сверлит меня глазами Мотылькова.

ТРЕУГОЛЬНИКИ

Ты ушла, заменить тебя некем,
Только синие звезды и ты,
Мои письма, как взвод на линейке,
Как армейские сводки просты,

Справа месяцы, годы и числа,
Слева — чувств беззаветных рубеж.
Сохранила ли ты эти письма,
Треугольники наших надежд?



Владимир Осинин

ВЫСОТЫ

1

Поникли вербы и молчали,
Но ветерок пошел с уклона —
И, вспыхнув красными лучами,
Заколыхались как знамена.

В закатной дали величаво,
У той дороги на Берлин,
Вселяют дрожь курганы Славы
Среди расчищенных равнин.

Умолкнут с нами наши раны, —
О том подумаю не раз...
О рукотворные курганы!
Что вы расскажете о нас?

2

У каждого есть в жизни высота,
Которую ты должен взять когда-то.

Михаил Львов

И мне хотелось подняться чуть выше,
Еще впереди мой большой перевал.
Чем круче подъемы, приходится тише
Ступать, сознавая, что просто устал.

И где-то опять допускаю просчеты.
И тут возникают бездушье и ложь.
Им тоже б хотелось занять те высоты,
Откуда так просто ты их не собьешь.

ЛЕНИН В ЭЙСЛЕБЕНЕ

Забор чугунный, чистая брусчатка,
И Лютера окно затемнено.
В немецком обстоятельном порядке
Домишки — крупным планом, как в кино
И Хюттенверк, знакомый понаслышке,
Передо мной чужой и древний век.
Не знаю, есть ли в этом городишке
Еще один наш русский человек.
И вдруг я вижу в полумраке редком:
Среди цветов и в обрамленьи плит,
В руке сжимая старенькую кепку,
Родной Ильич на площади стоит.
И тоже будто затаил дыханье
И чуточку чему-то удивлен.
Родной Ильич! Такою дивной ранью
Он тоже здесь! Лишь улыбнулся он.

И словно разорвавшимся снарядом
Бьет по глазам горячая волна...
Гудит пурга в степях под Сталинградом,
То белизной прорвется, то черна.
Ни деревца, изрытые пригорки,
Овраги неприступные, хоть плачь,
Сквозь ночь вбивают клин «тридцатьчетверки»
От Волги к Дону —

на Калач.

Хрустят под ветром высушенные травы.
И трупы, трупы... Будто от чумы.
В Германии молебны служат — траур.
А на Руси — как радовались мы!
Слова восторга застревали в горле,
Морозные, колючие, как еж.
И кто они?

Чего от Шпрее перли?

Пусть знают: что посеешь — то пожнешь!
И брал озноб, когда после атаки
Машины становились на привал.
Кувалдою механик мой из траков
Застрявшие осколки выбивал.
На станциях дымились эшелоны.
Мешки с мукой и сахарный песок,
Колокола церковные, иконы,
Подсвечники, что стоят пятачок.
Косилки, пилорамы, буфера.
И «ЧТЗ» — гиганты тракторá.
Все на платформах громоздилось кучей,
Обмотанною проволокой колючей,
Что удивляться! Мы ведь понимаем:
Война — разбой открытый и грабеж.
И сила их фельдмаршалов в металле.
Вот и гребут до гвоздика. И все ж
Им было для спасенья мало.
И каждый цех, ограблен, пустовал.
Сам, что ли, Гитлер пожирал металл?!
И где прошли они — пустырь.
И чаши неба и земли качались
Как вечные весы без гирь.
«Тридцатьчетверки» сквозь метели мчались.
Огонь из башен фыркал, грохоча.
На них священный профиль Ильича.

Не знали мы, не ведали тогда,
Какие там, на Шпрее, города.

Дойчлянд мы, ненавидя, представляли
По рылу брюзгловатому солдат,
По аду, воплощенному в металле,
По тем, что мир испепелить хотят.
По заживо зарытым в яме,
По слову чужеродному: эрзац...

Германия.
Эйслебен.
Свежесть рани.
И на домах таблички:
«Ленинплац».

Генрих Рудяков

* * *

Не по заслугам,
нет,
не по заслугам
Я жив остался.
Просто — повезло.
А сколько нас
На Волге и за Бугом,
За Вислой и за Одером
легло?
Так далеко ушли мы
в 45-м,
Что и могилы
Некому беречь,
И тяжело спать
В чужой земле
солдатам
И слышать
Над собой
Чужую речь.

Екатерина Шевелева

* * *

Зимний ветер в гривы завивая,
Мчался полк.
Славянск и Лозовая
Были взяты натиском лавинным.
Полк рванул к Днепру ударным
клином.
Сквозь февральского бурана
гребень
Перпендикулярные полоски
Выявлялись на белесом небе —
Мертвый силуэт Днепропетровска.
Опыт дней войны неординаков,—
На коней пошла громада танков.
Кто-то там бранил недобрый рок,
Клял войну, что судьбы
искромсала.
И, казалось, воедино полк
Держится по воле комиссара,
Вновь и вновь неравный смертный
бой —
В зимнем мельтешении сначала —
У гумна, у мазанки любой,
А потом у вешнего причала.
Путаный был в том году апрель.
Путаный апрель был в том году:
На листе — хрустальная капель,
Северский Донец еще во льду.

У весны сравнялись на весах
Снег и дождь.

И в честь земных основ
В Святогорских пасмурных лесах
Властно прозвучал олений зов.
В дни пушистой мглы на тополях
В Григоровке, будущего ради,
Здорово потрепанный в боях
Конный полк остался
в арьергарде.
Что это такое «арьергард»?
Кто приказом именован так?

Арьергард — не тронуться назад,
Выдержать губительность атак,
Задержать врага любой ценой,
Стать не только воином — войной
Против Зла.

Погибнуть, если надо,—
Вот в чем назначенье арьергарда!
Так Багратион, душой орел,
Жаждой наступления пылая,
Арьергардное сражение вел
По предусмотрению Баркляя.

Опыт дней войны неординаков:
Харьков нами взят. И отдан
Харьков...
В Григоровке полк, пехотой став,
В сотый раз вступает в бой
неравный,—
Есть на то приказ. И есть Устав.
Ими предусмотрен подвиг
бравный.

Сквозь завесу гулкого огня,
Вставшего крутыми этажами,
Чудится бойцу его коня
Гром напоминающее ржанье.
Был передним краем, а не тылом
Арьергард.

И, завершая сечу,
Конный полк дивизионным силам
По приказу двинулся навстречу.
В первые мгновения летел
Конный полк галопом на
пределе —

Всадники, а рядом с ними те
Кони, что уже осиротели.
Миновали брошенные села,
Спешились у талой крутизны,
Бережно закинули на седла
Стремена. Во имя тишины.
И, еще полны лихой отваги,
Но уже шагая, а не мчась,
В длинном неожиданном овраге
Оказались в предрассветный час.
Сквозь уже цветущие деревья,
Сквозь жасмина белокрылый
взмах

ДОРОГОЙ ЯРОСЛАВСКИЙ МЕДВЕДЬ

Ярославлю исполнилось 975 лет...
Медведь — эмблема Ярославля...

С монограммой на врезанной меди,
С уваженьем — на веки веков
Получил я в подарок Медведя
От моих дорогих земляков.

Представительный зверь из металла,
Он державно идет напролом.
Мне сподручней работаться стало
За своим за рабочим столом.

Улыбнусь добродушному зверю,
Приладонюсь к спине и ушам —
И в реальность души его верю,
Как с живым, говорю по душам:

Разреши мне пожать твою лапу
За поэзию детских годин
И за то, что на новом этапе
Нам не скучно один на один.

Одаряй меня песенным даром,
Не давай ни праветь, ни леветь,
Уникальный настольный подарок,
Дорогой ярославский Медведь!

Евгений Елисеев

* * *

Ну и погода —
льет целый день!
Скатка, пилотка,
брезентовый ремень,
а еще на тебе
гимнастерка «хебе»;
как на всех остальных,
два сапога — пара,
а тащить на них
пол земного шара...

* * *

Поднимаюсь по тревоге,
чуть ведерком загреми:
не война ли на пороге
перед самыми дверьми?
И уже не держат ноги,
и ромашки при дороге
вроде беженок с детьми.

А из печки, хвост трубой,
дым ли, сам ли домовый?
Слава богу — отбой:
я живой и ты живой!
Вот и тише стала боль,
даже можно трогать,
что-то ноет, но не столь,
будто сходит ноготь...

Заросли травой окопы,
партизанские тропы
лопухами заросли,
лишь она не зарастает
и года ее не старят —
память горькую земли.

По студенческой замашке
опрокинуть по рюмашке —
это нынче не про нас.
И ромашки-замарашки
уж не радуют глаз,
и шиповник прбкляли:
будто кровь запеклась
на колючей проволоке...

* * *

Вот так встреча!
Вы откуда, облака,
из какого далека,
далека-далеча?
Может, с нашей Оки,
той, что Волги-реки
главная предтеча?
Осень, табор кочевой,
как там первенец твой? —
твой сентябрь кучевой
или перистый?
После этого ада,
что зовется — война,
из ушей, как вата,
торчит тишина.
В лес за грибами,
вот где чудеса!
Гулко, как в бане,
звучат голоса.
Добрался до места —
и жизнь мила:
руки целы,
ноги целы,
голова почти цела.

Тьма опят на пнях болявых,
на подушках изо мха,
как для шпилек и булавок,
гриб, он любит, где труха.

Если тронут он улиткой,
в этом нет беды великой,
значит, он не вредный,
бери, не погребуй!

Опростаем у реки
обе-две руки,
покидаем кузовки,
поскладаем ножки.
По некошеной траве
погуляйте обе-две,
охланьте, ноженьки!

Всех цветов не передашь,
это зимний пейзаж —
сажа да известка!
Мою ноги в реке,
где сидит на поплавке
синяя стрекозка.
И бегут облака
от того поплавка,
и мошка роится,
и качается слегка
поплавок-редиска.

* * *

С. Есенину

Под шумок дождя грибного,
раным-рано, до зари,
умыкну тебя я снова
под шелковы купыри.

Свет очей моих, березка,
узнаешь ли ты меня,
деревенского подростка
одного с тобой корня?

Разве я не тот же самый,
что в бревенчатой избе
аллилуйей и осанной
возносил хвалы тебе?

Этот лик старинной кисти,
новгородского письма —
на таких молились в ските
по ком плакала тюрьма.

На твое благоволение,
на твою девичью честь
уж какое поколение
соискателей не счесть.

Нет тебе от них отбою,
докучают до сих пор,
уж и вздорят меж собою,
и чинят вокруг разор.

Говорила мне березка:
«И твоей быть не судьба,
от меня он не отрекся,
не обманывай себя.

Хоть секи мне руки-ветки,
хоть предай меня огню,
ныне, присно и вовеки
я ему не изменю!»

* * *

Отметелили военные года,
дай-то боже, чтоб навеки, навсегда!
Хватит светлой, горькой памяти одной
перед нею, той, Священной, войной.
Больно мало нас осталось у страны,
всех просеяли на грохоте войны.
Нету больше надо мною старшины
и вне очередь наряды не страшны.

Вечер по полю крадется, аки тать,
развиднелось, распогодилось на ять,
не поймешь никак, где небо? где душа?
Можно, кажется, вселенную обнять
и наняться к ней в ночные сторожа,
с колотушкой ли, чугунной ли доской
обходить ее, беречь ее покой...

Владимир Соколов

* * *

Как вечернее стихотворенье,
Все в деревьях и в галках на них,
Патриарших прудов откровенье
Полупризрачных, полужемных.

Здесь на липах мудрят, опасаясь,
Чтоб не слишком осыпался снег,
Черно-серые птицы, стараясь
Свой туманный устроить ночлег.

И какая-то стройная пара —
То вперед, то назад, без конца,
Отойдя от Тверского бульвара,
Не дойдя до Большого кольца.

Потрясающа эта бездомность
При наличье и стен и дверей,
Потаенность ветвей и нескромность
Редких фар и ночных фонарей.

Не о Мастере и Маргарите,
Не об Авторе даже самом —

Об одном: о Великой защите,
О масштабе ее мировом.

Рядом гул городского движенья.
А у них тишина и звезда...
Это вечное стихотворенье
Не допишет никто, никогда.

* * *

Когда случаются в судьбе
Провалы, темени,
Не надо думать о себе
В прошедшем времени.

Тогда сырой землей дохнет,
Родной, суглинистой,
И хризантемою пахнет
Поблекшей, инистой.

Гляди в провал, во тьму гляди,
Гляди-разглядывай.
Но все, что будет впереди,
Не предугадывай.

Живая ночь, живая тьма
Не вечно тянется...
Она прояснится сама,
Сама проглянется.

* * *

Кто-то углем рисовал
На беленой печке,
А потом поэтом стал.
Удостоен свечки.

Бесконечные права
Для юнца не чудо ль?
Золотая голова,
Пушкинская удаль.

Нам на счастье песней стал,
А себе на горе.
... Кто-то прутиком писал
На снегу подворья.

БЕЗ АДРЕСА

Нет, как прежде, плечом припадая к плечу,
Я с тобой говорить ни о чем не хочу.
И тогда-то, когда... был я вовсе не прочь,
Был сомнителен день и сомнительна ночь.

И не надо сквозь тысячу лет представлять,
То звонками, то письмами одолевать.

Самый пошлый звонок посильней твоего:
Он живой, в нем кладбищенского — ничего.

Понимаю, что ты, как живые, жива.
Но — чужие черты — не пустые слова?..

... Сохраняется улица там, где я жил.
Где стихи о любви молодые сложил.

Сохранилась и ты — там — такой, как была,
Но совсем не такой, как в стихах прослыла.
Это надо признать, это надо понять...
И уж если туда забреду я опять,
То совсем не к одному
Обезличенному дому,
А к себе лишь самому...
Глупому, но молодому!

* * *

Актриса взглядом встретила со мной
И улынулась.
Я заулыбался.
Но, оказалось, взгляд предназначался
Тому, кто за моей стоял спиной.
Я из театра выбежал. Навстречу
Летела ветвь сирени. Взмах руки
Приветствовал меня. Но вопреки
Тому, что есть, я знал, что не отвечу.
Пока не оглянусь: кто за спиной?
Я оглянулся: падал снег рябой,
Снег давних лет...
Я замер сокрушенно.
Швырнув сирень кому-то, раздраженно
Ты у меня спросила:
«Что с тобой?»

* * *

Перестал восхищаться чужими стихами.
А бывало, услышишь, бежишь
И кому-то рассказываешь, чуть руками
Не размахиваешь, как малыш.
Перестал просыпаться до света — от муки
Недосказанного перед сном.
Стали встречи как будто сплошные разлуки.
Позабыл, как стоял под окном.
Появляется странное предположенье,
Что окно с колыханьем огня,
Одинокого, ждущего до сокрушенья,
Окончательно не для меня;
Что не мне, а кому-то и дом, и ограда,
И в кленовых листах мезонин...
Перебарывать этого чувства не надо.
Ради следующего за ним.

* * *

Снег запахнул тебя в полу
И взвился, горностаевый...
Теперь на том же на углу
Опять свое выстаивай.
Снег запахнул тебя в полу
И упорхнул заботливо.
Теперь на том же на углу
Молчи словоохотливо.
И мерзни, мерзни, ледяной
Асфальт подошвой чувствуя.
И думай, думай: как со мной
Тепло ей быть, отсутствуя...
Теперь отсутствуешь ты сам,
Свое отбив на паперти.
Но вечный юноша — все там
В порывах вечной памяти!

Борис Слуцкий

МОЛЧАЩИЕ

Молчашие. Их много. Большинство.
Почти все человечество — молчашие.
Мы — громкие, шумливые, кричащие,
не можем не учитывать его.

О чем кричим — того мы не скрываем.
О чем,
о чем,
о чем молчат они?
Покуда мы проносимся трамваем,
как улица молчащая они.

Мы — выяснились,
с нами — все понятно.
Покуда мы проносимся туда,
покуда возвращаемся обратно,
они не раскрывают даже рта.

Покуда жалобы по проводам идут,
так, что столбы от напряженья гнутся,
они чего-то ждут. Или не ждут.
Порою несколько минут
прислушиваются.
Но не улыбнутся.

* * *

Актеры грим смывают
и сразу забывают,
в которой были роли
и что они играли.

Актер берет актрису,
идет с ней в ресторан.
Ему без интересу,
чего он растерял,
какое семя сеял.
Он просто ест со всеми.

Мне дивны факты эти.
У нас другой фасон.
Звенит звонок в поэте,
звенит сквозь явь и сон.

Звоночек среди ночи
поднимет, шлет к столу,
чтоб из последней мочи
светить в ночную мглу.

Сначала помогает,
а после — помыкает,
зато звенит — всегда,
в дни быта и труда.

* * *

Книга:
написанная, напечатанная, купленная,
прочитанная, забытая.
Что ее —
 снова надо читать?
Нет, ее снова надо писать.
Мертвые бабочки
не подлежат утилизации.

* * *

Ничего не прощали,
а надо
было бы —
почти ничего.

Никогда не хвалили,
а надо
было бы —
почти никогда.

Хоть бы щель была,
хоть бы дырка
в металлическом,
цельно стальном.

Хоть бы кошка пришла
потереться
о штанину мою
спиной.

* * *

Каждое утро вставал и радовался,
как ты добра, как ты хороша,
как в небольшом достижимом радиусе
дышит твоя душа.

Ночью по несколько раз прислушивался:
спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль?
Не было в длинной жизни лучшего,
чем эти жалость, страх, любовь.

Чем только мог, с судьбою рассчитывался,
лишь бы не гас язычок огня,
лишь бы еще оставался и числился,
лился, как прежде, твой свет на меня.

Евгений Винокуров

ЭПИКУР

Хлеб, бобы, циновка для постели...
Он сказал,
стирая пот со лба:
— Что ж, я все законопатил щели,
ну-ка же,
возьми меня,
судьба!..—
Тень навеса да горбушка с луком,
и, пристроясь так вот в холодке,
медленно вести беседу
с другом,
чашу чуть качая на руке!..
— Ты уйдешь,
внемля моим советам,
так ни с чем и не наладив связь,
не жалея жизни в мире этом,
смерти в этом мире
не страшась...

ПЛАТОН

И был Платон
врагом поэтов,
учил он: — Лириков гони!..

Не слушались его советов —
и вон их сколько,
вот они!..

Щит потеряв, бежав из боя,
бренчит на лире Архилох.
Он славит небо голубое,
хотя как воин был он плох...

Платон, Платон,
прости поэта,
прими как друга, не врага,
ведь небо голубого цвета,
а жизнь и вправду дорога!..

Иль все же, нет,
взглянувший в бездну,
ты понял там во мраке лет,
что кровью собственной
за песню
обязан заплатить
поэт?..

ПИФАГОР

Жил философ
в этой жизни брэнной...

Не добро и зло —
посреди таинственной вселенной
ставил он число...
Нравственных не завещал он
правил,
рукописей нет...
Но, однако, все-таки оставил
он один запрет!
Жил философ мирового лада,
умер он, уча:

«Угли в очаге мешать не надо
острием меча».

ДИОГЕН

Грязен и одеждою
и телом,
Диоген вошел
в огромный зал,
где Платон
среди роз
в наряде белом
на пиру роскошном
возлежал.
Злобный циник,
нищий
и скиталец,
на полу разлегшись,
крикнул он:
— Попираю я,— и поднял палец,—
гордость,
что живет в тебе,
Платон!..—
И мудрец, высокий лоб морщина,
поднял чашу, влагою плеща:
— Диоген, сквозит твоя гордыня
через дыры твоего плаща...

ПАН

Легких нимф
святая вереница
иль туман, скользкий по реке?..
Пан проснулся.
И дрожит цевница
в старческой руке.
Все ему сегодня ночью рады...
Пан косматый выставил живот!..
Фавны озорные и дриады —
все в лесу ликует,
все живет!
Старый Пан смеется краснорото,
и улыбка месяца ала...
Мощная священная природа
все плющом свободно оплела!
Полоса на западе белеса,
лес в густом, клубящемся дыму...
И не может быть уже вопроса:
для чего живем и почему?
И во мраке том
полубагряном
ждет Мужчину у ручья Жена,
сброшены одежды,
так как Паном
на планете жизнь
разрешена...

ЭДИП

Повела Эдипа Антигона
по миру, несчастного слепца!..
Нарушитель вечного закона
в мать влюбился
и убил отца...
Сгорбленный,
как будто бы под кладью,
горестен, беспомощен и хил,

он ступает,
преданный проклятью
высочайших наднебесных сил...
Было так замыслено
поэтом,
погружающим Эдипа в ад:
мир трагичен,
и на свете этом
невинный тоже виноват...

ПРОМЕТЕЙ

Из печени не вытянет когтей
угрюмый коршун...
Зевс бесчеловечен?..

Прикованный к скале, тоскует Прометей,
его удел мучителен и вечен!
Он поднят над землею напоказ,
и даль пред ним распахнута такая,
что видит он долины,
и Кавказ
под ним сияет,
льдинами сверкая...
Он в сердце ощущает страшный грех!
Затем что видит,
как, велик и ярк,
гуляет между домовых застрех
огонь,
что людям послан был
в подарок,
и гибнут люди от того огня.
Орудья бьют.
Беда неустранима!..

И коршун машет крыльями,
гоня
от Прометея
злые клубы дыма.

ПОЭМА БОРЕТСЯ ЗА МИР

Достижения в жанре поэмы всегда были особенно весомы. «Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло», — писал Владимир Маяковский, не случайно сравнивая поэмы с мощными дальнобойными орудиями, залпы которых вносят решающий вклад в исход поэтических сражений. Вспомним. У истоков советской поэзии выдвигается становящаяся все более заметной фигура Александра Блока — автора гениальной поэмы «Двенадцать».

Какой бы период в жизни нашего общества мы ни взяли, каждый нашел свое яркое отражение не только в замечательных стихотворениях, но и в мощных, сильных поэмах. Достаточно назвать «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!» Владимира Маяковского, «Анну Снегину» Сергея Есенина, «Страну Муравию», «Василия Теркина», «Дом у дороги», «За далью — даль» Александра Твардовского, книгу поэм «Середина века» Владимира Луговского. В этих произведениях с большой поэтической силой и гражданской страстностью были показаны героика созидания нашего общества, богатство духовного мира советских людей, величие трудовых и ратных свершений Родины.

В жанре поэмы, при всем заложенном в нем разнообразии индивидуальных художественных поисков и решений, всегда ведется серьезный разговор о важнейших вопросах времени. Этот разговор продолжается и в современных поэмах.

Жизнь и смерть, мир и война, бытие и небытие... Что может быть более отвлеченным, философско-понятийным, абстрактным?! И что в то же время наиболее конкретно касается каждого человека в общности, затрагивает его очень лично, до глубины души, индивидуально?!

Белорусский детдомовец,
пасынок века,
я в беде не размазал лицо человека,
и недолго мне жить на любимой земле.
Стану вечностью или золою,
лишь бы только не вместе с землею.

Какая пронзительная отрешенность от личной тщеты и суэты во имя подлинного самоутверждения в борьбе за сохранение жизни... Общие философские вопросы бытия и конкретная человеческая боль, высокое размышление и личное сердечное волнение горячо соединились в поэме Игоря Шкляревского «Слово о мире». Было заметно: в последние годы Игоря Шкляревского тянет к поэме. И не только потому заметно, что он написал небольшую, но емкую поэму «Черная гать», в которой воспоминания военного детства переплелись с воспоминаниями о славных и трагических событиях в исторической жизни Родины. Важно то, что поэт очень личностный, ярко выраженного лирического дарования внутренне перестраивал систему

поэтического мироощущения. Его лирика наполнялась мощью большого эпического дыхания.

Поэма «Слово о мире» — закономерный итог продуманного, прочувствованного поэтом в последние годы.

Гамлетовский вопрос нашего времени — быть или не быть жизни на земле, быть или не быть самой планете по имени Земля? — в центре произведения. Поэт не спешит со скорым ответом, далек от немедленного оптимизма. Убийственные исторические цифры статистики не располагают к особой бодрости:

17-й век — убито
3 миллиона и 300 тысяч.
18-й век — убито
5 миллионов и 200 тысяч.
19-й век — убито
5 миллионов 500 тысяч.
20-й век — более сорока миллионов
только в одной Европе,
и еще не окончился век...

И все же «Слово о мире» Игоря Шкляревского можно было бы назвать Словом о законе и благодати. Ибо не может быть, как верно заметил Л. Н. Толстой, жизни без цели. Жизнь человеческая несет в себе закон добра. «Слово» Игоря Шкляревского во многом отправляется от древнерусской литературы, от изначальных нравственных и эстетических ценностей.

В середине ракетного года
сушь накрыла Европу и Африку,
огнем нарывала Земля изнутри,
загорелись от солнца леса,
на Полесье посохли болота,
омелели протоки и старицы.
Дождь раки валялись на берегу,
зато расплодились волки.

Разве не напоминает нам эта внешне прозаическая и вместе с тем странно заораживающая речь пророческие видения «Повести временных лет», иных памятников произведений древней русской литературы, пронесшей дух оптимизма сквозь все трагические коллизии истории? Наша современная жизнь существует как часть большого протяженного исторического времени. Но токи, откуда исходят размышления о днях нынешних и минувших, — личность поэта, живущего болями и тревогами нынешних дней.

Поэма «Слово о мире» — сложный сплав поэтических исканий, характерных для мировой поэзии начала XX века, большой русской национальной поэтической традиции.

В идеях, образах, духовной атмосфере этого произведения ощущается благотворное усвоение уроков Владимира Маяковского, особенно его антимилитаристской поэмы «Война и мир». Лирический герой этого предреволюционного произведения нашего классика существовал в системе понятий, где человеческая личность прямо соотносилась с миром — землей, космосом, Вселенной. Понятно, что в таком случае несколько не натянутым выглядело обращение лирического героя к странам и народам. «Слово о мире»

высокой миссии обеспокоен, как был бы обеспокоен каждый из нас, кому бы поручить заботу о девочке, доверчиво прильнувшей к плечу. В самом деле, не с собой же брать ее в поход.

Девчонку ту, что из огня
Он вынес много лет назад,
Баюкая, несет в детсад,
Сквозь Трептов-парк...
И там,
В саду,
Укладывает спать
В ряду
Других ребят — о том
и речь,—
А рядом с ней кладет свой
меч.

Такое умение удерживать в образе равновесие между идеальным и повседневно реальным смыслом — признак высокой, зрелой художественной культуры. В своей поэме «Двадцать пятый час» Егор Исаев равняется на достижения русской поэтической классики. Не в том только дело, что сразу напрашивается мысль о сходстве приема: сошествие с пьедестала Медного Всадника в гениальной поэме А. С. Пушкина и сошествие с пьедестала солдата-освободителя в поэме Е. Исаева. Наверное, прием использован сознательно. Но дело не в приеме, а в глубоком следовании гуманистической традиции, завещанной нам великой литературой предшествующих поколений. И в той, по примеру великих мастеров, работе над словом, когда в нем начинают проступать бездны смысла.

У искусства нет более благородной задачи, чем возвеличивание человека. Через всю историю общества с древнейших времен до сегодняшних дней красной нитью проходит стремление утвердить в жизни светлые и гуманные начала. И всегда их торжество связывалось в сознании людей с совершенствованием человека, освобождением его от темных и злых чар, хитрых, навязанных человеческому сознанию коварных мифов. Один из самых среди них отвратительных — миф о природной агрессивности человека, о роковом его стремлении разрешать все жизненные неудобства и противоречия с помощью силы, оружия, войны.

Вспоминаются «Мама и убитый немцами вечер», поэма «Война и мир» и другие антивоенные произведения Владимира Маяковского. Особенно «Мама и убитый немцами вечер» — лирико-публицистический памфлет, сгусток ярости и боли, отрицающий войну, обнажающий ее противочеловеческую сущность.

Евгений Евтушенко и образно, и идейно сознательно ориентируется в своей поэме «Мама и нейтронная бомба» на бесценный опыт поэзии Вл. Маяковского.

Доверие к самодвижению жизни сочетается в поэме с борьбой за утверждение ее непреходящего смысла, который выявить способен только мыслящий и активно действующий человек.

Не просто жизнь, а жизнь достойная, настоящая, отвечающая гуманистическим, коммунистическим идеалам, утверждается в поэме Евг. Евтушенко. Кри-

тика, много писавшая об этой поэме, прошла мимо очень важного для ее понимания художественного образа.

В бытовой и интеллектуальной жизни капиталистического мира поэт находит многочисленные приметы Хаоса, притворяющегося порядком. Этот образ — один из центральных в поэме. Ему противопоставлен иной образ — материнская кожаная куртка, воскрешающая в памяти незабываемые годы первых лет Революции. Куртка со следом МОПРовского значка, который многие носили тогда, чтобы реально подчеркнуть свою причастность к борьбе Международной организации помощи борцам революции. Теплая материнская куртка — животворный символ, противостоящий смертельному образу войны. Она же, эта материнская куртка — символ чистоты, олицетворение светоносной Революции, гармоничной жизни, противопоставлена темному образу Хаоса. В поэме Евг. Евтушенко материнская куртка — знамя, которое проносятся сквозь века как символ бессмертия Революции, олицетворение истинности жизни.

Жанр поэмы становится сейчас у поэтов, если так можно сказать, популярным. Поэмы густо идут в журналах, появляются на страницах газет. Словом, с количеством дело обстоит более чем благополучно. Как насчет качества? Да, произведения Егора Исаева, Евгения Евтушенко, Игоря Шкляревского стали заметным явлением в поэтическом процессе последнего времени. Очень интересна поэма Игоря Ляпина «Черный снег», несущая в своем названии образ большой емкости и резкой силы. Стоило бы заметить еще несколько произведений крупной формы, появившихся раньше, — «Смертный грех» Г. Шерговой, «На Запад» Е. Винокурова, «Мария» И. Савельева, «Земля в объятиях орбиты» Н. Зиновьева, «Мост у Остравы» Е. Шевелевой, «Поле» О. Шестинского.

Важнейшая тема предотвращения войны и разоблачения ее поджигателей вроде бы не обойдена вниманием. Не обойдена, но художественно освоена все еще с недостаточной глубиной и силой. Дело за тем, чтобы общественной, идеологической зрелости нашей сегодняшней жизни отвечала бы соответствующая зрелость художественная.

Активная, страстная гражданская позиция, глубокая неразрывная связь с жизнью народа способны вдохновить художников слова на создание социально значимых произведений, утверждающих достойные советского человека жизненные цели.

Современная поэма проходит интересную и многообещающую полосу своего развития. Радуют разнообразие художественных поисков и решений, глубина и серьезность содержащихся в поэмах ответов на трудные, подчас драматичные, вопросы бытия, привлекает социальная и нравственная активность героев произведений. Духовные горизонты поэмы как жанра расширяются, она обогащается новыми чертами, обретает мощное эпическое дыхание — дыхание большой, настоящей жизни.



НАШИ ГОСТИ

Вадим Шефнер

КЛЮЧЕВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Годы войны и блокады накрепко сцеплены в моей памяти с годами работы в армейской газете «Знамя победы». Но в газету военная судьба привела меня не сразу. Летом 1941 года я, недавний белобилетник, вышел из казарменных ворот, чтобы в составе маршевой роты шагать из Ленинграда к месту назначения. По воле случая я покидал ту самую казарму, где когда-то служил мой отец и откуда он ушел на фронт в 1914 году. Только он ушел на войну офицером лейб-гвардии, ибо до этого окончил Пажеский корпус, я же — рядовым.

Местом моего назначения оказался аэродром, расположенный недалеко от Ленинграда. Я стал красноармейцем БАО — батальона аэродромного обслуживания. Мы носили лётные петлицы, но в небо не поднимались, — мы работали на дне воздушного океана. В сентябре сомкнулось кольцо блокады. Поскольку в непосредственное соприкосновение с неприятелем наш батальон не вступал, в октябре нас перевели на снабжение по второй армейской (блокадной) норме: 400 граммов хлеба в день, притом с уменьшенным приварком. В ноябре норма стала еще ниже: 300 граммов. Начался голод. До весны не все дожили. Чтобы пополнить паек, мы стреляли ворон, хоть начальством это и возбранялось. Однажды в пустующем доме возле аэродрома я ухитрился поймать воробья, ощипал его, сварил в землянке, съел. В декабре я изрядно отошал, но решающее испытание голодом было еще впереди.

Незадолго до нового, 1942 года я был переведен из БАО в редакцию газеты 23-й армии «Знамя победы». Армия эта, которой командовал генерал А. Черепанов, тоже находилась в кольце блокады. Редакция тогда помещалась в поселке Агалатово, в двухэтажном дощатом доме, стены которого снаружи были размалеваны черными и желтыми полосами. От чего-чего, а от холода этот камуфляж не спасал. Мороз лез во все щели. Топливные запасы мы пополняли, ломая окрестные заборы. Дорубали доски уже в редакции. «В дому раздавался топор дровосека», — сострил тогда кто-то из газетчиков.

Среди прочих моих стихов, опубликованных в ту зиму, есть и юмористические. Помню, как писал одно из них. В нем повествуется о трех фашистских генералах. Начинается оно так:

Три генерала встретились в аду.
Один сказал: «Не думал, что найду
Себе такое теплое местечко.
Здесь фронт Восточный можно позабыть,
Здесь — прямо рай, теплей не может быть,
И топится хоть адская — но печка!..»

Далее в разговор вступают два других покойных генерала и тоже жалуются на стужу, которая мучила их на Восточном фронте, но затем все трое приходят к выводу, что всех морозов страшнее штыки Красной Армии. Должен признаться, что, сочиняя этот адский юмор, я не раз подбегал к печке — не адской, а редакционной — и прикладывал ладони к ее железной рубашке. Очень уж стыли пальцы, карандаш трудно было держать.

Помню одно событие, небольшое, связанное с началом пребывания М. Дудина в редакции, куда он был

переведен из дивизии, передислоцированной с о. Ханко на территорию нашей армии. Однажды, побывав в своей родной дивизии, он раздобылся там кое-какой едой, которой поделился с сотрудниками газеты. Художнику Коростышевскому и мне он вручил мешочек с ячневой крупой. Ее там было с полкило — целое богатство по тогдашнему голодному времени. И вот, высыпав крупу в мой солдатский котелок и налив туда воды, мы с художником стали варить кашу в редакционной печке. Потом вспомнили, что варево надо посолить. Коростыш послал меня стрелнуть соли у фотографов. Однако фотографов в их каморке на втором этаже я не застал и сам стал искать там соль. Обыкновенной я не нашел, но мне попался на глаза пакет с надписью «Соль фиксажная». То ли потому, что в фотографическом деле я ничего не смыслил, то ли потому, что на меня нашло какое-то кулинарное затмение, я набрал полную ложку этого крупнозернистого вещества и, вернувшись в нашу комнату, торопливо высыпал его в котелок. Когда мы приступили к приему пищи, физиономии наши скривились. Коростыш, раскусив, в чем дело, гипнотизирующе воззрился на меня и произнес проникновенно:

— Вадим! Я вдвое старше тебя и, поверь мне, повидал немало остолопов, олухов, кретинов и даже полных идиотов, но ты их всех перешиб! Впервые вижу человека, который в еду вместо поваренной соли сыплет глауберову — то есть, извиняюсь, слабительную соль!

Тем не менее кашу мы съели полностью и на желудках наших это не отразилось. Разумеется, в редакции случай этот был истолкован по-своему, обыгран. Была выдвинута идея заслать меня в качестве шеф(нер)-повара в ставку Гитлера, дабы своими кулинарными деяниями я помог приблизить срок гибели бесноватого фюрера.

Тут я должен напомнить читателю, что хоть блокадные условия были весьма тяжелы для человеческого существования, а порой и вовсе безысходны, но между людьми, как правило, сохранялись вполне человеческие отношения. Те, у кого были родные и близкие в Ленинграде, помогали им из последней возможности, делясь своими скудными пайками. И каждый старался выручить товарища — даже в ущерб себе. Быть может, я склонен несколько идеализировать минувшее, но теперь мне иногда кажется, что в то неблагоприятное время люди относились друг к другу теплее и открытее, нежели нынче, когда они сыты и благоустроены.

* * *

В начале февраля 1942 года меня отвезли из редакции в госпиталь. Он находился километрах в двадцати от Агалатова. Отвезли меня туда из-за сильной дистрофии. Несколько дней я был плох и лежал в той палате, откуда пациентов выносили главным образом в подвал — в морг. Но вскоре я, как говорится, вышел

из пике — и из смертной палаты меня перевели в нормальную. С благодарностью вспоминаю врачей и медсестричек этого блокадного госпиталя. Все они имели изможденный, больной вид, и все самоотверженно, из последних сил, боролись за жизнь раненых и дистрофиков. В номере «Знамени победы» от 23 февраля, в День Красной Армии, было напечатано мое стихотворение «Нас гнев торопит». Оно не очень удачное, в сборники я его потом не включал, но оно памятно мне тем, что я написал его на больничной койке, после «выхода из пике».

Через месяц с небольшим я вернулся в редакцию. Был толст нездоровой последидистрофической полнотой, ноги были — как ватные. Но это скоро прошло, тем более что и с питанием дело стало налаживаться. Теперь я часто бывал в частях и в Ленинграде. В мае мне присвоили звание лейтенанта. С войны же я вернулся с двумя орденами, двумя медалями и в звании старшего лейтенанта. Предки мои дослужились в свое время до более высоких чинов: оба деда — и по отцовской, и по материнской линии — были адмиралами, а отец к концу первой мировой войны стал полковником (после революции он был военспецом РККА). Но я горжусь своим воинским званием, ведь это звание я получил в годы Великой Отечественной.

* * *

В Союз писателей я был принят в 1939 году по рукописи первой моей книжки «Светлый берег», которая вышла в 1940-м. А вторая книжка — «Защита» — издана осенью 1943 года в блокадном Ленинграде. Она невзрачна, очень неровная, но она дорога мне тем, что увидела свет в столь трудное и ответственное время. Почти все стихи, вошедшие в нее, до этого были опубликованы в армейской газете. Некоторые из них регулярно переиздаются и поныне, вошли в антологии. Например, «Семафор», «Зеркало», «Весна в Ленинграде». Ключевым же стихотворением этого сборника я считаю вот это, написанное в 1943 году:

МОЙ ГОРОД

Давно ль, пройдя равнины и болота,
В него ломился разъяренный враг —
И об его чугунные ворота
Разбил свой бронированный кулак.

Свой город отстояв ценою бед,
Не сдали Ленинграда ленинградцы.
Да, в нем ключи чужих столиц хранятся,—
Ключей к нему в чужих столицах нет!!

И мы, огонь познавшие и голод,
Непобедимы в городе своем,—
И не взломать ворота в этот город
Ни голодом, ни сталью, ни огнем!

Он встал как страж на сумрачном заливе,
Вонзая шпиль в огненный рассвет.
Есть города богаче, есть счастливей,
Есть и спокойней. Но прекрасней — нет!

Он победит, он все залечит раны,
И в порт войдут, как прежде, корабли...
Как будущих строений котлованы,
За городом траншеи пролегли.

* * *

«Защита» вышла в Гослитиздате. Редакция, или, если можно так выразиться, микрофилиал этого издательства, находилась тогда в Доме писателя на улице Воинова. 13 октября я направился туда с Катей Григорьевой, будущей моей женой, за авторскими экземплярами. Один сразу надписал — и вручил ей, остальные уместились в моей полевой сумке. Затем мы направились в сторону Невского. Когда шли по Фонтанке, начался обстрел. Снаряды рвались довольно близко, и мы укрылись под аркой возле Соляного городка. Потом пошли дальше. Был обычный день блокадной поры.

* * *

У меня хранится подшивка армейской газеты «Знамя победы» за первую половину 1942 года. Мне подарил ее тогдашний редактор газеты Лев Федорович Пруссян десять лет тому назад, в день моего шестидесятилетия. Она неполная, не за все дни, но все равно это драгоценность. А сказать точнее — реликвия. Ибо драгоценность — это то, что можно оценить в цифрах, в каратах, в каких-то материальных единицах, а реликвия — это то, что практически исчислению не поддается. Открываю картонный переплет — и сила нахлынувших воспоминаний мгновенно катапультирует меня из дней сегодняшних в дни минувшие. За сорок с лишним лет газетные листы пожелтели, стали ломкими — но строки живут. Их горькая, трудная, победоносная суть не стареет, не выцветает. Предо мной снова предстают годы войны и блокады. Я вспоминаю тех людей, для кого издавалась армейская газета, которые эту газету делали...

Через каждые два-три года в Ленинграде происходят встречи однополчан-знамяпобедовцев. Мы вспоминаем дни минувшие, поминаем тех, кого уже нет за дружеским пиршественным столом.

Мы живем — живые среди живых, —
Но средь нас уже многих нет —
Командиров запаса и рядовых,
Журналистов военных лет.

Не дает бессмертия мирный быт,
Не молодит седина, —

С паспортов на дерево и гранит
Переносятся письма.

Так вне строя, забыв земные дела,
Отбываем волей судеб
К тем, кого война на войне взяла,
С кем делили блокадный хлеб.

Но Отчизна навеки нам дана, —
Это ей мы в свой строгий час
На хранение сдаем свои ордена,
На хранение сдаем свои имена —
И уходим в вечный запас.

Михаил Дудин

ИЗ ДНЕВНИКА ГАМЛЕТА

* * *

Безумие сегодня правит миром,
А совести всевышний не дает
Кормилом править. И летит
Возлюбленная Дания, корабль
Твоей судьбы, на скалы или в бездну.
И душу мне предчувствия томят,
Жестокие и страшные. Я знаю,
Что кровь рождает только кровь.

И кровью

Пропитана земная глубина,
И небеса закатные кровавы,
И не отмыть ни руки, ни души
От крови, захлестнувшей этот мир.
Я выхода не вижу. Только знаю:
Тень духа моего закроет
От Солнца Землю... Быть или не быть...

* * *

Я — человек. И я ищу родства
С живой душой живого естества,
С глаголом птиц и с музыкой планет, —
Со всем, чему определенья нет.
Я оставляю плен моих страстей,
Безумие безумных скоростей,
Тоску рабов, величие господ,
Тщеславия сомнительный испод.
Коварство правды, и наветы лжи,
И хитрости змеиные ножи.
Сомненья душу истерзали мне.
Душа горит на медленном огне.
И в этом нет виновного. Я сам
Ее доверил ложным парусам.
Уста мои в запекшейся крови
Пустыню мира молят о любви.

* * *

Святая Правда есть,
Но что с нее возьмешь?!
Власть — любит лезть,
А лезть — рождает ложь.

И нас с тобой
Опутало вранье.
И над земной судьбой
Кружится воронье.

* * *

Отторженность моей души — вина
Моей души — мои просчеты множит.
Не радуйся чужой беде — она
Назавтра быть твоей бедою может.

Корысть — тупа, а скарედность — бедна.
Обман и злость не прибавляют чести.
Земля — едина. Жизнь у всех — одна.
И праздник жизни всем дарован вместе.

* * *

Коварней в жизни нет напасти
Неутоленной жажды власти.

Не может получивший власть
Навластвовать ею всласть.

Становятся от этой власти
Земля и небо черной масти.

И вот у бездны на краю
Я у всевышнего молю:

Не дай мне, господи, попасть
Неутолимой власти в пасть.

* * *

Я все ишу сестру и брата
На огненном закате дня.
И смотрит солнце виновато
И безнадежно на меня.

Плотней туман. И пропасть — шире.
Темно. Потух огонь в костре.
Мне не найти в полночном мире
Дороги к брату и к сестре.

Не жить мне без сестры и брата.
Сестре и брату — без меня.
Стена и ночь. И нет возврата
В пустыню завтрашнего дня.

* * *

Страсть не подвластна разуму.
Но страсти
Подвластен разум. Он у ней в плену,
Где отклонений вечные напасти
Тумана разрывают пелену.

И солнце зацветает на известке,
И постник забывает о посте,
И человек опять на перекрестке,
И мысли человека — на кресте.

* * *

Не гремит, подобен грому,
Зов архангельской трубы.
И сегодня по-другому
Называются рабы.

Реки бьют из-под развалин,
Красной кровью клокоча.
И сегодня — шею Каин
Рубит Авелю сплеча.

Радость для души и тела
Прекратила бытие.
Может, Совесть отлетела.
Или не было ее.

* * *

О господи, я попросту скоморох.
Гамлет

Офелия, велением той свободы,
Той памяти, которых не избыть,
Пока земные не иссякнут воды,
Мне за тобой по всем теченьям плыть.

До райских врат или до адской бездны
Я приговора рока не корю.
Я только знаю: слезы бесполезны
У райских врат и бездны на краю.

Нам выпала одной судьбы страница,
Одних восторгов общая беда.
И нам с тобою не разъединиться
И не соединиться никогда.

Об этом я с тобою вместе плачу,
Пытаясь склеить раздробленный мир,
С тобою вместе верую в удачу,
Которую придумает Шекспир.

* * *

Великих истин в мире есть не много,
Но их хватило для того, чтоб в мире
Жил Человек свободно и достойно
Великих Истин. Но не так-то просто
Устроен разум Человека. Он
В извечном недовольстве вечно ищет
Из тупика познания новый выход
В другой тупик над бездной бытия.
Как бесконечна в бесконечном мире
Дорога превращений естества
На трудной и опасной для Природы
Дороге совершенства Человека!
В который раз я вновь читаю мудрость,
Что «трусам нас делает раздумье»,
И сам себе внушаю: на сомненьях
Раздумий наших истины растут...

Глеб Пагирев

1941-й

Остановлюсь на полуслове,
встаю, бросаю карандаш.
Горит ночное Подмосковье,
гудит от выстрелов блиндаж.

Ну что, поэт? Бери гранаты,
тяги латунное кольцо! —
по фронту хлещут автоматы,
песок и снег летят в лицо.

Умри, но стой! Назад ни шагу:
ты эту землю не отдашь.
Здесь ценят сталь, а не бумагу,
здесь штык нужней, чем карандаш.

Забудь пристрастие к многословью,
к строке, что лирик сочинил!
Сегодня люди пишут кровью
за неимением чернил...

Земля, седая от мороза,
окопы, надолбы, штыки.
Война, война — святая проза
и позабытые стихи.

МУЖЕСТВО

«А было страшно — бой, атака?» —
И ты без ложного стыда
сказал ей: «Да, бывало всяко»,
а не ответил: «Ерунда!»

И я в бесстрашии не верю,
но знаю прочно и давно,
что кроме страха в полной мере
нам чувство мужества дано.

Лишь тяжела была минута,
пока под пулями вставал,
а после — мужество примкнуто,
как штык, разящий наповал.

Оно присуще тем, кто в бурю
со всеми жил одной судьбой,
кто шел в огонь, глаза не жмуря,
и вел победу за собой.

ВETERАНЫ

Быть может, век у нас таков,
а может, мы такие сами:
встречаю часто стариков
с живыми, ясными глазами.

Остались считанные дни,
им пировать уже недолго,
но словно чувствуют они
власть неоплаченного долга.

И может быть, на склоне дней,
когда эпоха за плечами,
вдруг стало многое видней,
что смутно виделось вначале.

Всё глуше звуки, голоса,
всё ближе мир потусторонний,
а стариковские глаза
всё чище, одухотворенней.



Платон Воронько

* * *

Полынь в дыму мне снова снится.
Война...
Конца ей не видать...
Легли в пожарах рожь, пшеница,
И лишь полынь, бойцам под стать,
Стоит в одежде опаленной,
Средь гари кажется зеленой,
Седая, желтая, — и к ней
Летит бездомный воробей.

В свои края фашист проклятый
Погнал рабынь
Через Волынь.
И что ж берут с собой девчата?
Не лист, не цветик, а полынь.
Не горше ты, пучок бесценный,
Чем эта страшная страда!
Горит земля в грозе военной,
Сгорают девичьи года...

Полынь на память — не загадка:
В воспоминаньях то, что сладко,
Всегда — поверх, волна к волне,
А горечь — в глубине,
На дне.

* * *

— Долго ж, синяя птица, я шел за тобою
С полной выкладкой — с болью, с нелегкой
судьбою,
Нес осколки в костях, шел по кручам,
пустыням...
Опустись, рассветись оперением синим! —
И ответила птица, на землю слетая:
— Я не синяя. Время ушло. Я седая.

* * *

Ни мать с отцом, ни родину, ни век
Избрать себе не волен человек.
Но если б нами выдуманный бог
Дал выбрать мне любую из эпох,
И край любой, и в райском месте том
Ткнуть пальцем — дескать, вот мой
отчий дом,
Я взял бы, поблагодарив за честь,
Все то, что у меня и так уж есть:
Свой род, свой дом средь тех же нив и рек,
Двадцатый революционный век —
Наш красный перекресток всех эпох.
Ты за меня не беспокойся, бог.

* * *

Скорее грянь, о гром весенний,
Над буйным паводком Днепра!
Хоромы крон — в листве, в цветенье —
Раскинь, Батыева гора.

Раздайся, жаворонка голос,
Всплыви с лугов, медвяный дух.
Зерном налейся, звонкий колос,
Приплоду радуйся, пастух.

Не бойтесь, желтые утята,
Что в двух шагах от вас — беда,
Что кто-то с дробью до заката
Все ходит, ходит у гнезда:

Еще не раз вам стайкой серой
Издалека спешить домой...
О сердце! В праздник вешний веруй,
Чтоб с хмурой совладать зимой.

*Перевел с украинского
Валентин Корчагин*

Пимен Панченко

ДЕВЧАТА МОЮТ ТАНК

Девчата моют танк
У Дома офицеров.
Стоит герой атак
На постаменте сером.

Давно закончен бой,
И он, остыв от битвы,
Стал славой городской,
Стоит, ветрам открытый.

Девчата моют танк,
Смеются беспечно,
Смеются просто так,
Ведь солнце за плечами,

И птицы невпопад
Кричат про день искристый,
И фотоаппарат
Заезжего туриста.

А сбоку на девчат,
Прищурившись от света,
Глядит былой солдат,
Горевший в танке этом.

НАДЕЖДА

А осень в колокол бьет медный,
И ветер дует в чуткий рог...
Известный ты иль неизвестный,
Подбей итоги в конце дорог.

Я, просквоженный всеми ветрами,
И непогоде осенней рад.
Иду тихонечко обочь с вами
Дорогой боли, удач, утрат.

Ни восхваленьем меня не опутать,
Ни равнодушьем меня не собьешь...
Исповедь вряд ли нужна кому-то;
Жизни второй уже не совьешь.

Короток день и тяжел нередко,
Ночи бессонной все нет конца...
Ведь не молиться, как наши предки:
«Во имя сына... духа... отца...»

Что покаянье, что слезы горести!
Время не верит в искренность слез.
А на планете все меньше совести,
А больше страха, лжи и угроз.

А на планете всем по ракете
С жуткою смертью... Вот и живи!
Мы — старики. Ну, а дети, а дети...
Им ли захлебываться в крови?

Заокеанским в ответ угрозам
Суть наша светом летит во мгле.
Молюсь я правде, молюсь я росам,
Молюсь я солнцу, родной земле.

И вера, вера в Отчизну страстно
Диктует: будет жить род людей!
Гляжу с надеждой на мир прекрасный,
На солнце, травы и на детей.

* * *

Ах, детство, не броди ты возле дома
И желтой лапкой не стучи в окно.
Ноябрь приходит, шаркая знакомо.
И ветрено, и зябко, и темно.

Какими беззаботными мы были,
Какой весенний ветер шелестел!
Казалось нам:
Прославим край наш милый
И своротим такие горы дел!

Нет, не успели.
Хоть трудились много.
Не худшими прожили средь людей.
Кончается, кончается дорога —
Год короток,
Недлинен каждый день.

А все же одиночки успевали,
Дела их — как зарубки на веках...
Что об этрусках мы с тобой узнали,
Каков их дел и мыслей был размах?

Что будут знать о нас?
Вновь отчужденье,
Густее лжи и подлости туман...
И новые приходят поколенья,
Восславя жизни золотой обман.

Встречал я в Тихом океане штормы
И проходил по Африке,
Я был
На Енисее,
Словно жизнь просторном,
И край сибирский сердцем полюбил.

И всюду люди,
В счастье и несчастье,
В труде, в заботах —
Как же без забот?
К родной земле душой хочу припасть я
И тихо поблагодарить народ.

А в небе тучи спозаранок вьются,
Вот-вот прорвется и начнет греть...
Но дети на земле моей смеются,
Не думая про вечность и про смерть.

*Перевел с белорусского
Петр Кошель*

Владимир Жуков

* * *

Когда трепещущее знамя
разливом алой чесучи
над каменеющими нами
взметнул Вано Субелиани —
вздохнули в трубы
трубачи.

Когда губами молодыми
как прикипели к мундштукам,—
не до мажора и гордыни
уж стало нам,
фронтовикам,

по сорок лет с войны прожившим,
вам

День Победы подарившим,
когда-то здесь могилу рывшим
размером с котлован почти...
Пришедшим без напоминанья,
как на последнее свиданье,
чтобы товарищей почтить.

Все эти годы в нас звучала,
осколком ржавым боль торчала,
саднила душу с дней войны
вины всеобщим отголоском.
Хоть и сказал поэт Твардовский:
в том нашей не было вины...

Венки качнулись и померкли,
едва-едва на полонез
вдруг перешел
из Белой Церкви
прибывший загодя оркестр,
на плиты скорби с перекосом
сердца швырял, как под откос...

Навзрыд рыдал и плакал Корсунь,
и горше не было тех слез,
как неизбывнее печали
в салюте
запоздалом том...

Когда венки мы возлагали
в молчанье долгом и святом,
и чьи-то брякали медали
при чьем-то выдохе крутом.

Как бы туманом ветеранам
забило надолго глаза...

А с белых-белых свеч каштана
слезами падала роса.

* * *

Когда вырастишь и поднимешь детей
на крутое крыло,—
отпуская по свету,
передай им
и тыщу четыреста дней —
фронтовую мою эстафету.

Через марево горя, руин и смертей,
нерожденных детей и поэм недопетых,
через пути кровавых солдатских траншей
продиралась к нам в заревах наша Победа.

Пусть они ее свято, светло берегут —
так, как знамя гвардейское воин...
Чтобы я за нее и на том берегу
хоть четыреста лет был спокоен.

* * *

Когда всевидящее лихо
тебя настигнет на веку,
пусть с посошком, а на Сластиху
тропой пробейся к роднику.

Он и при дедах бил из горки,
и не лукавил никогда...
Пришла последняя беда,
коль для тебя вдруг стала горькой
донныне сладкая вода.

Произошла из недр утечка
тебе отмеренной росы...
Швыряй все рукописи в печку
и останавливай часы.

* * *

Близок он, да не укусишь локоть,
многоцветен ливень, да не наш...
Вспомнишь ты меня,
а я — далёко,
так далёко — ни рукой, ни оком,
ни улыбкой знака не подашь.

* * *

К злой полыни примешались травы,
путались с коровьим языком,
опоили песенной отравой
вместе с материнским молоком.

С той поры в душе роса дымится,
а глагол полынью отдает.
И не знаешь, как распорядиться
строчкою, которая убьет.

Федор Сухов

ЗИМА СРЕДИ ЛЕТА

«Значит, вновь на свои
Возвратился позиции...
Так давай говори,
Где твои ковыли
В белой серебри выцвели.
Отягчили себя
Невеселыми думами,
Холодом сентября
На сухмень эту дунули.
Освежили мои
Потайные урочища.

На свои колен,
Знать, и впрямь все воротится.
Знать, и впрямь колесо
Долго помнит дорогу.
Дюже гоже оно, хорошо,
Ежли все подобру-поздорову.
Ежли ноги твои
Не забыли донныне
Фронтной колеи
Солонеющий иней.
Кровь мозолей и кровь
Рваных ран не забыли.
Не забудут по гроб
Энту боль, энту кровь
И березы мои, и рябины.
Я ведь тоже солдат,
Я ведь тоже вояка,
Возля самых Карпат
Воевал с австрияком.
Возля самой горы
Напрягали усилия...
Слышал, чай, про прорыв
Генерала Брусилова.
Да и в энту войну
Я досыта хлебнул
Самой горькой полыни.
Здесь, на Верхнем Дону,
Взвод стрелковый прильнул
К заливной луговине.
(Развиднеется — покажу,
Какова луговина
Та, что чью-то козу
Тешит сладостью клевериной.
Муравью своей
Услаждает как будто.)

Нет, не пел соловей
В то далекое утро.
И кукушка, она
Куковать перестала,
Жить-то, может, одна
Только зорька осталась.
А заря-то как раз
Подошла к луговине,
И роса растеклась,
Побелела, как иней,
Белый-белый туман
Шел из ближнего леса,
Будто пала зима
На горячее лето,
Будто в саван оно
Снаряжено, одето.
.....
Было даже черно
Энто красное лето.
Ты подумай, куда
Вражьи силы дотопали?
Всполошилась вода
В сладкой липовой опади.

В тополином пуху
Холодели проточины...
Грохнула по петуху
Автоматная очередь.
Завалился петух,
Скрючил резвые ноженьки,
Испустил он свой дух
В молодом подорожнике,
В молодой лебеде
Спрятал голову,
Жаркий вздрагивал день
От трескучего холоду.
И ничто не цвело
Под серебряной ивиной,
Повсюду было бело
От кухты да от инея.
Пала энта кухта
Прямо на сердце.
Кто бы ведал, когда
Ландыш мой обозначится?
Встрепенется сирень,
Прибодрится черемуха.
Знать, весь мир просинел
Ядовитую помохой.
Ядовитой чумой
Все-то, все подкосило,
Все сровняла с землей
Вражья сила.
Подбиралась она
И к моей луговине.
Был я вроде бы виноват,
Был я в чем-то повинен.
Моего соловья
Перед самой атакой
Усыпила заря
Красным маком.
Красный сыпало мак
Восходящее диво.
Слышу «мать-перемать»
Своего командира.
Он кричит во всю мочь,
«Встать!» — кричит он устало.

Непроглядная ночь
Красный мак растоптала.
Вся в размывах она,
Вся в чернеющей выщерби.

Раскричалась война
Обезумевшими глазищами.
Никуда не уйду
Я от энтого крика.
Я свою лебеду
Не взбодрю земляникой.
И полыни не усладить
Медом-клевером.

Так и буду ходить
Горьким деревом.

Как-нибудь дохожу
Незавидно, невидно.
Так давай покажу,
Какова луговина.
Погляди на нее,
В мураве покупайся...

Ты себя не неволь,
Отдыхай без опасы.
Я всего-то не досказал
(Дюже

ночи
коротки).

А коза-то, коза
Поднимает глаза
К полоротой сороке.
Значит, смыслит язык
Белобокой вещуньи,
У нее, у козы,
Борода-то все чует.
Без пригляда росла,
Без присмотра ходила...

А роса-то, роса —
Как великое диво.
Не роса — виноград
Услаждает лядины.
Мир-то,
как он богат
И воистину дивен!
Можно спянуть с ума
От такого портрета,
Только я — как зима
Посредь лета.
Посредь летних берез
Слышу зимнюю стужу —
Нестерпимый мороз
Холодит мою душу.
Ослепляет глаза,
Горбит спину.

Я всего-то не досказал
Про свою луговину.
Здесь, на Верхнем Дону,
Было дёже полынно.
Очутилась в плену
Вся моя луговина.
Вражьи танки на нас
Наползли невинно.
Я тогда не упас
Своего командира.
Приподнял он себя,
Вылез он из окопчика...
Знай, родная земля,
Своего пулеметчика!

Положил сам себя
Под железные лапищи.

Сколько наших ребят,
Сколько косточек спят,
Все леса, все степя
Здесь — как кладбище.
А уж ежели говорить
Справедливо, правдиво —
Не смогли мы похоронить
Своего командира.
Дону тихому напоказ
Лейтенанта оставили,
Васильки его глаз
Прямо в небо уставились.
Да и ныне они,
Как они рассинелись!
Только сгнили ремни
Да истлели шинели.
Может, что и не так,
Может, конь мой блукает?..
Весь Задонский наш тракт
Просинел васильками.

На меня, на тебя
Смотрят голубя кротче.

Энто наших ребят
Незакатные очи».

Леонид Решетников

ПОЛКОВОДЦЫ

*Памяти Маршалов Советского
Союза Ивана Христофоровича
Баграмяна и Василия Ивановича
Чуйкова*

Уже отзвучали последние марши.
Уже отгорели костры их судьбы.
А мы, их солдаты — кто младше, кто старше,—
Все слышим пронзительный зов их трубы.

Все видим, как рядом идут полководцы,
Живые с живыми, в строю боевом.
И снова их грозный приказ раздаётся:
— Умрем, не отступим — отчизну спасем!..

За ними — Москва, Духовщина и Овруч,
И свет их знамен — в чужедальнем краю...
— Василий Иванович, Иван Христофорыч,
Вы слышите нас? Мы куда — в строю!

«Мы слышим, мы слышим,— вдали отдаётся.—
Мы помним Берлин и стальной Сталинград...»
И снова сурово молчат полководцы
И только одно, отмолчав, говорят,

Как старшие в доме, по давней привычке,
Уже за дверьми, все о том да о том:
«До крайнего срока не трогайте спички,
Безумцам играть не давайте с огнем...»

Уже за пространством, в подзвездной вселенной,
Едва голоса и шаги их слышны.
Уходят, доверив нам пост свой бессменный,
Бессмертные Маршалы прошлой войны.

О СОРОК ПЕРВОМ ГОДЕ

Все сказано, все спето о войне.
Колокола иных побед грохочут.
Так что ж еще она диктует мне,
Моя душа? О чем она хлопочет?

Круг тем и впрямь — в траве, как старый дот.
И все ж та мысль меня не покидает,—
Кто не прошел сквозь сорок первый год,
Тот самых горьких дней своих не знает.

Пусть у войны на срок любой права
Суровы.
Но не будем притворяться,—
Та истина жестока, но права:
Как страшно первым под огнем подняться!

Еще страшней и горше знать о том,
Какого б ни был званья или ранга,
Что ты один, без тыла и без фланга,
И где там — фронта линия, где — дом?..

Вот отчего, когда горнист, как вестник
Торжеств народных, горн к губам несет,
Прости меня, мой фронтовой ровесник,
Я вспоминаю 41-й год.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

Что слышишь ты, мой дорогой потомок,
Сюда пришедший с музыкой своей,
Средь бела дня или ночных потемок
На той высоте, посреди полей,

Где кровь лилась, как у ворот столицы,
Где и сейчас на белый свет глядят
Обломки той военной колесницы,
Что меж солдат ненайденных лежат,—

То гусеница, сбита снарядам,
То башня под прикрытием ветвей?..
Тепло тебе с твоей подружкой рядом
И с семиструнной музыкой твоей.

Плывет луна во всем своем сиянье
Под перебор размывчивой струны...

А я сквозь той земли напластованья,
Оставшийся от той, былой войны,

Не слыша песни вашей — не замайте! —
Одно и то же слышу каждый раз:
«Любите жизнь, войну не забывайте;
Не забывайте, милые, про нас...»

СТАРЫЙ СОЛДАТ

Все прошел — огни и воды,
Голод, холод, бой и труд.
Одного не знал отроду —
Громкой славы медных труб.

Под Москвой и Курском бился,
Был убит — и все ж воскрес:
Взял Берлин — не удивился,—
Видел в снах свой луг и лес.

Лишь теперь его — признался —
Удивленье то берет,
Как тогда он жив остался
И теперь еще живет.

Иван Рядченко

СНЕГ

Он был один на всех,
он падал прямо в бойню.
Я помню черный снег,
я помню красный снег,
а белого — не помню.

На склонах высоты,
заметней с каждым боем,
темнел он, как бинты,
пропитанные гноем.

Меж грома и огня
снег плавился кроваво.
И было у меня
единственное право —

рвануться раньше всех
при трепетной ракете —
и верить в белый снег
на всем
огромном
свете...

Пусть годов
не оборвется нить...
Двадцать грамм!
Побольше, чем две жизни,
Мне за них
положено прожить.

СТИХИ О ПЕРВОМ ПОЦЕЛУЕ

Виктору Астафьеву

Ты мне о первом чувстве рассказал,
О первом трепете, о первом взгляде.
А я припомнил фронтовой вокзал
И девушку в старушечьем наряде.

Потертый ватник, выцветший платок,
Бескровные, запекшиеся губы.
И за спиною тощий вещмешок,
Висевший кое-как на лямках грубых.

Как маленький уставший муравей,
Она сидела у стены сожженной.
Под угольными крыльями бровей
Две ягоды крыжовника зеленых.

Мужские, не по росту, сапоги
И голос еле слышный, как дыханье:
— Чернявый, если можешь — помоги!
Вот захворала, а братишка ранен...

Я в жизни лба не видел горячей.
Но чем я помогу, солдат проезжий?
Она заснула на моем плече.
Глухие стоны становились реже.

Лишь к полночи очнулась, не узнав.
Потом опять в клубок согнулась рядом.
А с поля доносился запах трав.
А с запада, все ближе, — канонада.

Девичий голос вдруг затосковал.
Взяла, потом вернула мне консервы.
— Меня еще никто не целовал,
Чернявый, я хочу, чтоб ты был первым!..

Ночь таяла, луны не долистав.
А имени девчонка не сказала.
Под утро на всю жизнь умчал состав
Меня с того сожженного вокзала.

Не сосчитать всех болей и утрат.
Давно отснилась юность фронтовая...
Когда со мной о чувствах говорят,
Я поцелуй тот первый вспоминаю.

ТАНЦЫ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Мне казалось, запела окрестность.
Простыня поплыла под рукой.
В первый раз не разрывы —
оркестры
Ворвались в госпитальный покой.
Главный врач, побритый до глянца,
Пятернею взрыхлил вихор:
«Объявляю до ночи танцы,
Все, кто может подняться, — во двор!»
И рванулись по лестнице люди,
Выползали на свет, кто мог.
Я один — с перевязанной грудью,
Остальные — без рук, без ног.
Кто слабее — в обнимку попарно,
На носилках — друзья несут.
«Самолеты» и «самовары»
Шли в лицо победе взглянуть.
А оркестры гремели марши.
В первый раз, не накинув халат,
Наши Верочки, Зиночки, Маши
Целовали нас всех подряд.
Мой сосед, забинтованный, тихий,
В первый раз улыбнувшись, басил:
«Слышь, сержант, потанцуй с врачихой.
Передай — лейтенант просил».
Я с врачом танцевал красиво.
Набегал на ресницы пот.
И врачиха сказала: «Спасибо
Лейтенанту за танец тот...»
На носилках глаза всего лишь,
Только голос — веселый, живой:
«Выручай черноморца, кореш,
Потанцуй за меня с сестрой».
Пусть у нас получалось мало —
Видно, просто пара не та.
Морячку медичка кивала,
Лишь слезинка дрожала у рта.
А потом просили ребята,
Те, с которыми был в боях:
Истребители в гипсовых латах
И десантники на костылях.
И я шел, забывая раны,
Под лихой довоенный вальс.
Говорил санитарочке Тане,
Мол, майор, приглашает вас.
У девчонок светились очи,
Туфли сбитые пылили легко
Под «Катюшу» и «Синий платочек»,
Под «Дунайские» и «Сулико».
Хоть мои не слушались ноги —
Вот сейчас упаду и умру, —
Я за тех танцевал, кто мог бы.
Я летал и летал по двору.
В этот день мы забыли обедать.
Двор больничный весною пропах.
На земле танцевала Победа
На нелегких своих ногах.

СТАРЫЕ ШРАМЫ

Улыбаюсь все реже
И все чаще — молчу...
Пятый раз меня режут,
Я хожу по лучу.

Бережет меня случай
До какого-то дня.
Но обломится лучик —
И не станет меня.

Медсестра не разбудит.
Брызнет пламя в упор.
Даже боли не будет.
Ни заливов, ни гор.

Не нахмурятся выси.
Шрам затихнет, багров.
Я не буду зависеть
От дождей и ветров.

Растворятся все сроки.
Свет развеется в прах...
Я уйду к тем далеким,
Что остались в боях.

Я уйду к тем веселым,
Что упали от пуля.
На разъездах и в селах
Не задержит патруль.

Без речей и оркестров
Я к друзьям припаду.
На законное место
Встану в строй на ходу.

Встану в строй, что шагает
От темна до темна...
Не держи, дорогая,
Ведь война есть война!

Обгорели шинели,
Порыжела кирза...
Мы свое не допели,
Не успели сказать.



Руфь Тамирина

НА ВОЙНЕ

... Пуля пропела тонкая,
а тропинка в окоп — пунктиром.
В стороне чернеет воронка,
а ты — одинока в мире.
Солнце февральское, медное
неподвижно в глубоком небе.
Пуля пропала бесследно,
будто ее и не было...

* * *

Орден осени — желтый лист.
В простынь просини — обелиск.
Он распарывает синь холста.
На вершине его — звезда.
На откосах его камней
имена золотых парней —
тех, кто встали живой стеной
защитить наш покой земной.

ВОСПОМИНАНИЕ

Ах, как выстывала душа
на том ветровом полустанке,
где остов сгоревшего танка
железным надгробьем лежал.

И снег был подобен золе,
и небо седое спустилось.
Казалось, что жизнь растворилась
в седой, как зола, полумгле.

Солдаты стояли теснясь,
плечами касаясь друг друга,
и эта беззвучная связь
казалась им жизни порукой.

ИЗ ПОЭМЫ «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»

Он надвигался, Сорок Пятый —
прекрасный, грозный, гордый год.
Он, как возмездье и расплата,
летел в Германию вперед...
И те мальчишки, что когда-то
со школьной парты —
в первый бой,
уже усатые комбаты,
повоевавшие с судьбой.

Не скажешь лучше, чем Твардовский,
о тех высоких давних днях.
Я о другом —

о дне московском,
об очень трудном для меня.

Он начинался как обычно —
в ноль-ноль часов, ноль-ноль минут
и обещал маршрут привычный —
дорогу утром в институт.

Давно забыв про затемнение,
устало спали москвичи.
В ночных квартирах спали тени
и фонарей ночных лучи.

Деталь покажется вам мелкой,
но в ней примета тех времен —
гремели радиотарелки,
пока не падали мы в сон.

О этот рупорок, хрипевший
почти над самой головой,
и песни вместе с нами певший,
и номер почты полевой
нам приносивший как подарок
с немереных дорог войны —
надежды крохотный огарок,
он не мешал нам видеть сны
о встречах редких, долгожданных...
Напротив, охраняя сон,
войны бессонная мембрана,
он был и день и ночь включен.
Он в эту ночь примолк.

Казалось,
он дремлет, тоже видя сны...
И вдруг в ночи загрохотало,
как будто в первый день войны!
И Левитана голос звучный
неторопливо загремел —
спокойный, сдержанно-могучий,
он не вещал,

казалось — пел.

И окна открывались настежь,
И ночь была светла как день,
и звук пустой, словечко —
«счастье» —
приобретало свет и тень,
и становилось явью, плотью,
слезами тысячи людей.
И на высокой трубной ноте
гремели рупора везде!..

Был день потом как сновиденье,
как века, года первый день.
Да, был он Первым днем творенья,
тот майский,

Мира первый день.

Он помнится в отрывках резких:
идет по улице солдат,
в медалях грудь — на всю железку!
На каждый шаг они звенят...
И встречные к нему с поклоном:
— С Победой, друг! Испей винца!..—
И смотрят гордо и влюбленно
на чуть смущенного бойца.

Сливаются воспоминанья
за далью непохожих лет.
Он навсегда вошел в преданья,
ему доньше равных нет,
я о другом —

я помню вечер
того сверкающего дня,
и от него укрыться нечем,
и все он горек для меня.
Я не могла тогда оставить
товарища.

Он умирал.
И не было у сердца права
ударить друга наповал —
уйти из дома в волны света
и плыть запруженной Тверской,
как будто ставшее рекой,
в ту сказочную ночь Победы.

Она оплачена была
ценой непоправимо личной:
война любимых отняла
и сделала вдовство — обычным.
И, убивая, где могла —
на фронте и в тылу — без счета,
без передышки шла и шла
войны недобрая работа.
И может, самый страшный счет —
не тех холмов могильных россыпь,
но боль, что век не заживет
до самой смерти,—
боль сиротства.

... Ночь — Новогоднею была,
она смешала быть и небыль,
она кружилась и плыла
в танцующем московском небе,
сквозном, ажурном, кружевном,
где всех прожекторов скрепенье,
не оставляя места тени,
кружась, пьянило, как вино...
Все начиналось в эту ночь,
все было заново —

надежда,
и даже боль твоя и нежность...
И ты не в силах превозмочь
слез очищающих, навзрыд.
Той майской ночи Новогодней
вовек тебе не позабыть...
А сердце саднит и сегодня.

Николай Краснов

ГДЕ МОИ СЕМНАДЦАТЬ

В детстве слышал я от домочадцев,
Коль была работа тяжела,
Кто-то скажет: «Где мои семнадцать!»—
Прежде чем приняться за дела.

С ними убирал я урожай,
Тяжести таскал, дрова рубил
И частенько, взрослым подражая,
«Где мои семнадцать!» говорил.

Год от года, сил спеша набраться,
С тем присловьем я мужал и рос.
Лишь в семнадцать «Где мои семнадцать!»
Произнести ни разу не пришлось.

Уж такая выпала година,
Даже и предвидеть не могли:
По пятам за нами смерть ходила,
На душу все тяготы легли...

Я и ныне не привык чураться
Трудных дел, не всякое — по мне,
Вдруг да скажешь: «Где мои семнадцать!»,
А мои семнадцать — на войне.

* * *

Тишнов — значит тихий.
И таким он стал.
В Тишнове под Прагой
Бой отгромыхал.
И осталось в памяти,
Как зазвали в хату
Русского парнишку,
Гвардии солдата.
— Будтэ таки ласкави! —
И к столу, как водится.
А на угощение —
Кнедлики, сливовица.
Что пред ним учитель —
Угадал по книжкам.
Звездочку с пилотки
Подарил детишкам.
Обнимал хозяина
Родственно и нежно,
Ладиславом Карлычем
Называл прилежно.
— А как вас по отчеству?
— Ни к чему! Поскольку
Мне лишь девятнадцатый.
Называйте: Колька!..—

Рад хозяин: — Надо ж
Так всему случиться.
Вот бы нам с тобою
Навек породниться!
И шалунью Марту,
Старшую из дочек,
Прочил он в невесты
Лет через пяточек.
А меж тем детишки,
Улучив мгновение,
К молодому дядьке
Лезут на колени.
С ними и «невеста»
С любопытством детским.
Занялись медалями
И значком гвардейским.
А какие песни
За хмельною брагой
Пели чех и русский
В Тишнове под Прагой!
Памятно доньше:
В давнем сорок пятом
Друг назвался другом,
Брат назвался братом.

ЧЕРНЫЙ АИСТ

Черный аист, черный-черный.
Вот он как тень слетает с кручи горной
В долину, где в камнях журчит Абин,
Сочась незаживающе раной,
Где среди кленов, буков и осин
Поросшая травой могила партизана.

Черный аист, черный-черный,
Живет в глуши, покинув мир огромный.
Он как сама печаль, моя печаль:
Таится ей, подобно мудрой птице,
Чтоб люди от скорбей смогли забыться,
Чтоб не встревожить чьи-то слезы невзначай.

Черный аист, черный-черный.
Не смеет к людям он, судьбе покорный,
В час радости явиться по весне:
Явись — разбудишь память об утратах,
И кто-то снова вспомнит сына, брата,
Отца, сестру иль друга, павших на войне.

Черный аист, черный-черный.
Опять он, словно тень, на круче горной,
Где ветры над его гнездом свистят,
Где бодрствует он днями и ночами
И вскармливает черных аистят — детей печали,
Детей моей печали — черных-черных аистят.

К 80 - ЛЕТИЮ

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Станислав Лесневский

«И ПЕСНЯ С БУРЕЙ ВЕЧНО СЕСТРЫ...»

...Мы бросились в будущее
от 1905 года.

Велимир Хлебников

Предвестием поэзии 1905 года еще в минувшем веке зазвучала русская революционная песня. Это было время, когда, по выражению, любимому В. И. Лениным, «каждый социалист был поэтом и каждый поэт — социалистом». Песни, созданные революционерами-народниками, подхватили глубокую ноту русского лиризма, выбрали размычивую и просторную мелодию народной песни, некрасовский звук... И стали душой массового революционного переживания. Они словно бы ждали часа, чтобы торжественным хоралом воплотить революционную волю восставшего народа.

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
.....
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!

Эти стихи написал в 1875 году Петр Лавров (впоследствии он прислал прощальное письмо «От русских социалистов на могилу Карла Маркса»). К таким стихам, считал Блок, нельзя подходить с чисто эстетической точки зрения; это «стихи, корнями вросшие в русское сердце»; их «не вырвешь иначе, как с кровью» (А. Блок. «О списке русских авторов», 1919). От революционной песни — блоковское: «Вперед, вперед, рабочий народ!» — «Революционный держите шаг!» — «Так идут державным шагом...»

В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский напоминает недавние вехи трудного пути революционеров, большевиков:

Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли». —
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок
этой песни
траурная сила?

Это песня Григория Мачтета «Замучен тяжелой неволей...» («Замученный тяжелой неволей...», 1876), посвященная памяти умершего в тюрьме товарища. «Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои...» Сколько раз звучали эти слова на страдном пути революции...

И вот сегодня Вл. Муравьев, составитель антологии «Песня с бурей вечно сестры» (М., 1985), посвященной 80-летию первой русской революции, справедливо включил эти революционные песни конца минувшего века в ряд произведений, озаренных огнем 1905 года.

В 1897 году Леонид Радин — поэт, химик (ученик Д. И. Менделеева), революционер (сначала народник, затем марксист) — сложил в царском застенке строки, звавшие к действию:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

.....
Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда
И водрузим над землею
Красное знамя труда.

Могучие напевы, плачущие рабочий народ, ведущие в бой... «Вихри враждебные веют над нами...», «Слезам залит мир безбрежный...», «Беснуйтесь, тираны...» — песни, сочиненные (на основе польских революционных песен) соратником В. И. Ленина — Г. М. Кржижановским в 1897—1898 годах. Песенный пролог первой русской революции, грозная ее музыка...

В 1902 году Аркадий Коц создает русский текст «Интернационала», (написанного французским поэтом-коммунаром Эженом Потье в 1871 году). «Рабочие всех стран подхватили песню своего передового борца, пролетария-поэта, и сделали из этой песни всемирную пролетарскую песню», — подчеркнул В. И. Ленин необычайную роль «Интернационала» в идейной жизни рабочих мира. Именно 1905 год положил начало массовому распространению пролетарского гимна в России. «Интернационал» пели делегаты III и IV съездов РСДРП. Джон Рид оставил волнующее описание того, как пели «Интернационал» на Втором Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года...

Впервые
вместо:
— и это будет...—
пели:
— и это есть
наш последний...
(В. Маяковский «Хорошо!»)

А на заре нашего века поэзия революции, сама революция жила одним: «Это будет...»

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Это знаменитые слова Владимира Ильича Ленина из его статьи «Партийная организация и партийная литература», которая была опубликована 13 ноября 1905 года. И, конечно, не случайно, что этот программный для нашей литературы текст появился в такой год, в такую эпоху. Ленинская мечта о социалистической литературе неотделима от первой народной революции России.

Великое явление революционного 1905 года — глубоко и неизгладимо в исторической памяти нашей страны, во всей ее культуре, в отечественной литературе.

Александр Блок выразил чувство революционного времени, говоря о том, как «чудесное, что витало над нами в 1905 году, обогатило нас великими возможностями». Это не значит, что правда революции вошла в поэзию легко. События узнавались не по учебнику, а въявь: «В ту ночь нам судьбы диктовала восстанья страшная душа». Но распахнулась громадная перспектива. И у Блока появляются такие необычные для него строки:

О, нет, не темница наша планета:
Она, как солнце, горит от страсти!
И Дева-Свобода в дали несказанной
Открылась всем — не одним пророкам!

Отвергнут пошлый, низкий мир сытых буржуа. Они дрожат, слыша песни и шаги революционного народа:

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

А поэт? Станут ли для него эти знамена своими? Но сделан первый шаг — «в путь, открытый взорам», и назад уже пути не будет. 1905 год открыл перед художниками радость слияния с поступью революции. Эта высшая радость влекла неудержимо самых благородных и самоотверженных.

Валерий Брюсов, слыша лермонтовский «голос мщенья», голос близящейся грозы, оттачивает свой «Кинжал» (1903), идя навстречу революционной буре, ибо таково призвание подлинного поэта:

Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.

И снова я с людьми, — затем, что я поэт.
Затем, что молнии сверкали.

Валерий Брюсов и Александр Блок подтвердили свой выбор, ясно обозначившийся уже в годы первой русской революции, и стали поэтами Великого Октября.

Революция 1905 года явилась потрясением для Андрея Белого, который создает поэтическую книгу «Пепел», посвященную памяти Н. А. Некрасова, роман «Петербург», проникнутый ненавистью к царской бюрократии. В советские годы Белый пишет мемуарную трилогию — «На рубеже двух столетий», «В начале века» и «Между двух революций», — где снова возвращается памятью к первой русской революции.

Судьба революции решалась там, где шло сражение с царским самодержавием. Павел Арский (впоследствии участник штурма Зимнего дворца) запечатлел последние моменты Декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве:

Дым над Москвою стоит от пожарищ,
Пресня пылает... Пресня горит...
На баррикаде мой верный товарищ
Рядом всю ночь с винтовкой стоит.

Вышли патроны... Молчит баррикада,
Строгий приказ: «Скорей отступить!»
Бой наш окончен под гром канонады,
Десять — убитых, раненых — пять...

Дым над Москвою стоит от пожарищ,
Пресня пылает... Пресня горит!
— Спрятать оружие! Слушай, товарищ,
Партия знамя спрятать велит.

Мы подождем! — говорит мой товарищ, —
Нам пригодится еще динамит! —
Дым над Москвою стоит от пожарищ,
Пресня пылает... Пресня горит!

В баррикадных боях на Пресне участвует поэт Евгений Тарасов. Сражался во время Декабрьского восстания в Москве писатель Павел Бляхин. Жизнь и творчество Егора Нечаева, Николая Полетаева, Филиппа Шкулева и других пролетарских поэтов тесно связаны с революцией 1905 года. «Великая Москва» — замечательно назвал поэт Георгий Вяткин свое стихотворение о Декабрьском восстании (см. сборник «Песня с бурей вечно сестры»).

Да здравствует народ и гнев его великий,
Да здравствует борьба!

И дата: 1905... Многие поэты, вошедшие в литературу позднее, считали своим истоком 1905 год: Василий Каменский, Николай Клюев, Демьян Бедный, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Борис Пастернак... «Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове» (В. Маяковский. «Я сам»).

Еще спутан и свеж первоуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

(Борис Пастернак,
«Девятьсот пятый год»)

«В КРАЮ ТРЕХ ГОР И ТРЕХ ВОССТАНИЙ»

Я не о той когорте братской,
нельзя какую позабыть
и что на площади Сенатской
пыталась ложу утвердить.

Я о декабрьской Красной Пресне,
о той, где ты, Советов власть,
подобно первым строкам песни,
в пеленках красных родилась.

Я. Смеляков

Заголовок я тоже взял из этого стихотворения Ярослава Смелякова — «Декабрьское восстание», написанного семнадцать лет назад. Как было не вспомнить строки любимого поэта, бродя по заснеженным тротуарам около Трехгорки, углубляясь дальше по Шмитовскому проезду в сторону Москвы-реки... А потом, свернув на Красногвардейскую улицу (бывшую Тестовскую) и проезды того же названия, один из которых назывался раньше улицей Камушки, как не подумать о том, что не осталось в этой части Москвы таких идиллических названий — наоборот, все напоминает о прошлых классовых боях: площадь Восстания, улица Дружинниковская, Баррикадная, Красногвардейская... Другие улицы и переулки наречены в память героев — Шмитовский проезд, Мантулинская, Капранова, Николаева, Заморенова... Это борцы за свободу в 1905 году, за установление Советской власти — в 1917 году. Улица Анатолия Живова, Сергея Макеева — это уже в память Отечественной войны... Через переулок Павлика Морозова соединяются в топонимике Красной Пресни боевые годы...

Да, почти нет в этой части района названий нейтральных или отличающихся внешней красотой — разве что Звенигородский проезд, два Предтеченских переулка и примыкающий к ним короткий Прокудинский (бывший Безымянный). Да и памятники и мемориальные доски в «краю Трех гор» исполнены героического пафоса, напоминая ныне живущим здесь людям и о «Трех восстаниях», и о защите города-героя, и о Великой Победе над фашизмом, юбилей которой мы отмечаем в юбилейный год Красной Пресни. В 1985 году есть и еще знаменательная дата — сто лет со дня рождения легендарного полководца Михаила Васильевича Фрунзе, который привел на пресненские баррикады в декабре 1905 года отряд иваново-вознесенских ткачей... На Красной Пресне начинался как революционер Владимир Маяковский.

Да, камни Красной Пресни помнят о многом, и идущему по ним нельзя хотя бы на мгновение не задуматься о прошлом. Названия здесь тревожат и обжигают. Даже читая на доме табличку «Студенецкий переулок», по ассоциации считаешь, что это связано с понятием «студенты» (которые всегда отличались революционными настроениями), хотя имя ему

дал приток реки Пресни — ручей Студенец, ныне заключенный в трубу, как и сама некогда значительная московская река, в память о которой остался мост имени 1905 года, бывший Горбатый мост, где шли особенно упорные баррикадные сражения.

Я хорошо помню этот мост в сороковые годы. Как и прилегающий к нему тогдашний стадион «Метрострой» (ныне «Красная Пресня»), куда мы ходили из школы за Садовым кольцом на уроки физкультуры. И мост и стадион были окольцованы рядами деревянных домишек-развалюх. Кто помнит послевоенную Москву, где мальчишки гоняли во дворах тряпичные мячи и консервные банки, знает, сколь ценным был настоящий мяч с камерой и крышкой! Бывало, на «Метрострое» мяч от неловкого удара перелетал через ограду и... пропадал навсегда. Местные мальчишки, следившие за нашей игрой с крыш и заборов, сию же минуту испарялись, и помню свои горькие рыдания, когда мяч, принесенный в школу лично мной, предательски перелетел за белую стенку стадиона...

Потом снесли дома вокруг Горбатого моста, заделали кирпичами его арку, и он вообще исчез, превратясь в переулок. Зато теперь ему возвращен прежний вид, и даже под ним имитирована река Пресня, и москвичи могут пройти по старому Горбату мосту, украшенному фонарями той эпохи. Об этом месте, наиболее близком к центру города в пределах тогдашней Пресни, стоит поговорить особо.

Не слишком известен тот факт, что Пресня-река была запружена и образовались четыре пруда, сохранился из которых один — на старой территории зоопарка — кстати, в последней трети прошлого века там зимою устраивался каток, поэтическое описание которого мы находим в «Анне Карениной». Часть Пресни от Горбатого моста в сторону Москвы-реки и выше от нее считалась землями Новинского монастыря. В начале XIX века, когда уже зашумели станки Прохоровской мануфактуры, будущей нашей Трехгорки (в противоположном от моста направлении), окрестность эта представляла, по свидетельству современников, унылую картину: топкие берега Пресни, смрад от загнивающей воды прудов. И вдруг воистину «из топи блат» возник очаровательный сад для прогулок москвичей, с аллеями, купами деревьев, водопадами, лодками на воде и железной оградой. На выставке, посвященной Москве в изобразительном искусстве, просто радовала глаз картина неизвестного художника середины XIX века «Гулянье под Новинским»: обилием нарядных фигур, шатрами — в общем, праздничным оживлением. Современник писал, что в одном из больших шатров продавали вино «крючками» (интересно, как это?) и «плошками». Сюда съезжалась знать...

Пресненские пруды и аллеи частенько навещал Пушкин в 1828—1829 годах. В альбом одной из сестер Ушаковых, живших неподалеку, на Пресне, с которыми поэт поддерживал дружеские отношения, он написал шуточные стихи, кончавшиеся так:

Авось на память поневоле
придет вам тот, кто вас певал
в те дни, как Пресненское поле
еще забор не заграждал.

Вероятно, в районе «новинского гулянья» происходили очередные изменения и реконструкции, но пока здесь предавались веселью, пока скрипел лед под коньками прототипов героев толстовского романа, вдоль Москвы-реки и влево от нее (если считать по течению) становилась на ноги российская промышленность, множился и креп московский пролетариат...

В прелюбопытнейшей книге «По Москве. (Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям)» — может быть, последнем дореволюционном путеводителе, так как был издан он братьями Сабашниковыми в 1917 году, Пресне просто не находится места — не место это для прогулок! Зачем же, простите, «ходил молодец на Пресню»? Даже в главе, где авторы касаются промышленности, о Пресне нет ни слова! Видно, так сильно потряхнуло буржуазию Декабрьское восстание, что и говорить о Пресне как-то не хотелось в столь престижном издании. Правда, об этой встряске есть короткое воспоминание (опять же в связи с Горбатым мостом). После описания его расцвета в пору новинских гуляний следует: «Горбатым мостом» мы закончим свою прогулку. Недалеко уже Пресненская застава и Камер-Коллежский вал, последнее кольцо в историческом росте Москвы. Перед нами простирается окраинная Москва. Унылый и однообразный вид. Направо мрачно чернеют развалины фабрики Шмидт (так в путеводителе.— *О. Д.*). Их не тронули ремонтом после разгрома 1905 года. И их печальный вид живо напоминает один из последних трагических эпизодов декабрьских дней».

Изящным слогом написано, но фактически точно. Недаром же сложена была в народе песня:

Слава павшим на славном посту.
В декабре их немало убито —
На кровавом Горбатов мосту
И в развалинах фабрики Шмита.

В энциклопедии «Москва» тоже сказано, что мебельная фабрика мужественного Николая Павловича Шмита (так правильно звучит его фамилия), разрушенная царской артиллерией, так и не была восстановлена: «ныне на ее месте детский парк».

Так встанем же у Горбатого моста и посмотрим направо. Да, там за оградой — уютный сад, где играют дети. Детский парк имени Павлика Морозова, а за ним — заводы, фабрики, жилые дома, широкий Шмитовский проезд: та сегодняшняя Красная Пресня, о предшественнице которой, просто Пресне, можно было небрежно сказать накануне Октябрьской революции: «унылый и однообразный вид»...

Сильно промахнулись авторы вышеупомянутого путеводителя. Не стала пресненская застава завершать историческое развитие столицы. Во все стороны от нее идут улицы: за Москву-реку — в Фили, а

еще в Хорошево-Мневники; к Соколу, через Песчаные улицы. Теперь Пресня никакая не окраина — со всех сторон окружают ее другие, более удаленные от центра районы.

А Краснопресненский район попросту стал одним из центральных московских районов. В этих заметках я говорил в основном о той его части, которая подняла к небу большинство строений при Советской власти. А ведь он сейчас занимает значительно большую площадь, простираясь до проспекта Маркса, откуда до Кремля рукой подать!

Район был образован в 1917-м и назван Пресненским. Свое нынешнее название получил в 1920 году. Не раз менялись его границы, и те, в которых он живет и трудится сейчас, установлены семнадцать лет тому назад. Если в энциклопедии «Москва» план района повернуть на 90° и долго всматриваться в его контуры, то будет он очень похож на бойца, вставшего на одно колено, который стреляет вверх из оружия с коротким стволом, — так дружинники Пресни встречали казаков-карателей.

Театры, музеи, творческие союзы, планетарий, старое здание МГУ, консерваторию как бы поднимает на своих плечах, сужаясь к центру, Красная Пресня — та, фабричная, заводская, о которой мы говорили... Встанем опять лицом к Горбатову мосту, но посмотрим теперь налево — вдоль Краснопресненской набережной и выходящего к ее парапетам парка, — какие стоят красивые, современные, впечатляющие здания! Дом Советов РСФСР, комплекс Центра международной торговли, где юркий и вечно торопящийся покровитель ее Меркурий, летя над каменным постаментом, зовет людей всех стран к миру и взаимопониманию. Рядом — самый большой выставочный зал... Красива набережная в любое время года.

Но тут она обрывается, кончается ее каменный барьер — дальше идут промышленные строения, склады. Выходим на Красногвардейские проезды — на рябинах, посаженных, видно, лет тридцать — сорок тому назад, висят алые грозди, покрытые белыми колпачками снега.

Они очень красивы у невысоких кирпичных домов, которые строились быстро и добротнo для людей, идущих утром на соседние заводы и фабрики. Здесь действительно не до прогулок — здесь стоят глухие стены и то и дело, преграждая путь пешеходам, толкают вагоны туда-сюда маневровые тепловозы. Красная Пресня — царство труда...

Отчего «Пресня»? Одни ученые говорят от реки — пресной, сладкой была в ней вода. Другие считают, что название идет от одного из балтийских языков. Так что вопрос пока неясен. Зато — отчего «Красная» — знают все.

Я вырос в доме, приписанном к Краснопресненскому району, с Красной Пресни ушел в московское ополчение мой отец, я учился в школе около площади Восстания (пусть теперь она перешла в соседний район), но комсомольский билет мне вручали в райко-

ме на Шмитовском. Я и сейчас живу на Красной Пресне, рядом с Баррикадной улицей...

Позвольте мне закончить эти строки небольшим стихотворением, написанным к 75-летию Декабрьского восстания.

Дней стремительных смена...
Да не канут во тьму!
Должен быть непременно
Красный угол в дому.

Не нужны там иконы,
Не нужны образа —
Пусть сверкнут непреклонно
Прямо в душу глаза

Тех, кто Родине отдал
Жизнь, скорбя и любя,
Тех, кто нынешний полдень
Сотворил для тебя!

День далекий воскреснет
Из очей, из глубин:

Баррикады на Пресне,
Гомон грозных дружин,

В свист нагайки и пули
Выходящих к снегам,—
Тех, что жизнь повернули
К Революции, к нам.

До победы далече
В тот отчаянный год,
Под удары картечи
Встал рабочий народ.

За спиной Петрограда
В день рожденья страны
Навсегда баррикады
Хмурой Пресни видны!

Кто же будешь ты, если
Не склонил головы?
Это Красная Пресня —
Красный угол Москвы.



К 800-ЛЕТИЮ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Б. А. Рыбаков
академик

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИСТОРИКА О «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Эту великолепную, непревзойденную поэму мы расцениваем прежде всего по ее поэтическому совершенству. Ярко очерченные личности, умение передать движение полков, оживленная, одухотворенная природа, умение взлететь мыслью над землей и людьми и в соколином полете охватить отдаленнейшие края: Венецию и Волгу, Чехию и необъятные просторы половецких степей. Поэт использует все средства воздействия на слушателей и читателей: изысканную речь дворцового этикета, романтику языческой старины, к которой триста лет спустя прибегнут поэты Ренессанса, печально-нежную лирику народного плача и четкий ассонанс для передачи топота конницы, карьером мчащейся по полю («с зарания во ляток *погопташа* поганые полки половецкая...»).

Давно уже установлена аналогия: «Слово о полку Игореве» подобно белокаменному Дмитриевскому собору во Владимире, построенному тем самым могущественным Великим Всеволодом, к которому обращался автор поэмы. Стены собора изукрашены скульптурной резьбой; мастера изваяли на белом камне сотни фигур: львы, грифоны, всадники, барсы, христианские святые, орлы, голуби... Все перевито растениями, украшено солнцами, девичьими ликами... Кажется бы, что перегружено здание обилием декоративных элементов, излишне приукрашено. Но нет! Достаточно чуть отойти от собора, как вы попадаете под обаяние четкой простоты общих форм, ничто не заслоняет изумительной гармонии и ясности общего замысла.

Таково и «Слово о полку Игореве». Никакие описания рек, стихий, зверей, человеческих дел настоящего и прошлого не заслоняют гармоничной стройности поэмы в целом, могучего призыва к защите Отечества.

Это — тревожный набат в тяжелые тревожные дни. «Слово» — не только поэма, но и мудрый историко-политический трактат, убеждающий современников анализом родной истории. Автор опускается в глубь веков ровно настолько же, насколько мы сейчас отстоим от него: он знает далекие «трояновы века» (II—IV вв. н. э.), тягостное «время Бусово» (370-е гг., битвы с готами), он отлично знает добрые и недобрые дела дедов и прадедов своих современников, тех князей, к которым он обращался с призывом «вступить в златое стремя за землю Русскую».

Автор не только поэт, он и историк, смело обнажающий исторические корни княжеских усобиц, гневно обвиняющий деда Игоря, как зачинщика «княжьего непособия» общерусскому делу обороны от степняков.

Игоря ли воспевает «Слово о полку Игореве»? Нет! Тайно задуманный, тайком осуществленный сепаратный поход северского князя не принес воинской славы полководцу, перегрузившемуся добычей после первой стычки и позволившему окружить себя соединенным силам всех половецких ханов. Рейд Игоря был опасным для всей Руси нарушением общего плана действий. Он обнажил юго-восточный фланг общерусской обороны, «открыл ворота Полю Половецкому». Игоря «каляли» в разных странах.

Певец не воспевал Игоря, он выгораживал его, смягчал его великую вину ради единства князей.

Уже второй год шла великая битва объединенных половецких сил всех степей с более или менее единой Русью. Она началась в феврале 1184 года набегом половцев. В июле того же года полки двенадцати русских князей разбились близ днепровских порогов войска семнадцати половецких ханов, возглавляемые Кобяком. Этой победе «великого и грозного Святослава» посвящены замечательные строки «Слова». Русь получила временную передышку; днепровский путь был расчищен, и «немцы и венецианцы, греки и мораване пели славу Святославу» Киевскому. Однако современники отметили, что князя Игорь Северский, Ярослав Черниговский и Давыд Смоленский уклонились от общего похода. Они же, все трое, по разным причинам уклонились и от общего похода, намеченного на будущий год. Вот оно, устойчивое «княжье непособие».

Ровно через год после первого набега, в феврале 1185 года, хан Кончак «со множеством половцев» двинулся на Русь, «возмечтав,— пишет летописец,— что он может пленить грады русские и пожечь их огнем». Великий князь Киевский, цесарь Руси, пригласил Игоря участвовать в походе против Кончака, но Игорь отговорился: «Туман сильный...» Кончак был отогнан от границ Руси без помощи уклонившихся от общего дела князей.

Готовился большой общерусский превентивный поход, от которого Игорь снова уклонился, выйдя на северную окраину степи со своими полками и погубив все свое войско в неравном бою с Кончаком где-то в верховьях Самары.

Преимущество оказалось у Кончака. Часть половцев разгромила и выжгла беззащитную Северскую землю, а главные силы двинулись, ни много ни мало, на стольный Киев. Кончак осадил Переяславль Русский и готов был форсировать Днепр, чтобы подойти

к столице. Святослав собрал у Днепра многих князей, но его родной брат Ярослав отказался от участия в обороне, Давыд Смоленский в разгар событий ускакал с дружинами в свой далекий Смоленск. Князь-дезертир...

Вот в эти-то трагические недели лета 1185 года и было сказано набатное «Слово о полку Игореве» (описание побега Игоря могло быть добавлено несколько позднее). Спасти Переяславль, отогнать Кончака от берега, отстоять Русь, удержать трусливых князей — вот настоящая задача поэмы. И половцы были отбиты и отошли от Руси.

А когда Игорю удался его дерзкий побег и он явился в Киев просить помощи у великого князя, новорожденная поэма снова обрела свою патристическую актуальность. Автор пощадил своевольного и неудачливого Игоря и показал его смелость, его рыцарственность; смягчая нелюбовь к Игорю, он показал своим слушателям прекрасный образ Ярославны, стремящейся перелететь степь, чтобы оттереть кровавые раны своего лада. Все это писалось Автором ради Руси, ради ее боевого единства, ради преодоления княжеских «катор» и свар. Цель была достигнута: Игорь получил помощь, половцы примолкли.

«Страны рады, грады веселы».

Игорь Шкляревский

ЗАГАДКИ ВОСПРИЯТИЯ

Большие события в поэзии и в жизни не всегда совпадают.

Малозначительный в нашей истории поход князя Игоря породил великое «Слово».

Огромное событие — битва на Куликовом поле — отражено в «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище», которые художественно уступают «Слову о полку Игореве».

Так неужели гений является в мир только по прихоти случая? Есть и другие подтверждения — великий поэт пробуждался именно в дни великих потрясений. Почему же Куликовская битва не заняла свое красное место во главе золотого стола древнерусской поэзии? Не потому ли, что у народа была одна задача и все духовные силы ушли на победу? Победа стала такой всепоглощающей необходимостью, что песнь о ней как бы отступила на второй план. Да и радость великая ослепила ум, уже не загнанный в угол, когда он работает на пределе своих возможностей.

Есть более ста переводов «Слова о полку Игореве». Чем объяснить такое паломничество поэтов к «Слову»? Предположим невозможное — возникнет перевод, равный по силе оригиналу, — и все равно «Слово» будут переводить! Всегда. Во все века.

Почему? Зачем?

Ответ один — загадки восприятия.

Работник Алмазного фонда рассказал мне о супербриллиантах, которые все время меняют свой цвет, реагируют на одежду человека, смотрящего на них, отзываются даже на его здоровье! настроение! мысли!.. Такой они чувствительности — эти невидимые в стакане с водой и бесконечно неодинаковые внутри — камни.

Таков и супербриллиант древнерусской поэзии — «Слово о полку Игореве». Десятки поколений прочли его, но в 1982 году никому, даже Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, не дано прочесть «Слово» так, как в 1882-м...

Обновляется эмоциональный ряд слов, смысл того или иного глагола. Изменяется длина разговорной фразы, строки. Члены предложения в разные десятилетия незаметно меняются местами, сдвигаются, и «Слово», естественно, прочитывается все время по-новому. Осознать это можно, а зафиксировать — не хватает жизни, нет «фотографий чувств» прежних поколений, читавших «Слово».

Ссорились страны, воевали, мирились народы, передвигались границы восточных держав и климатические условия. Толклись, терлись, проникали друг в друга языки, и все это отражалось на восприятии «Слова»! Оно как бы все чувствует и «меняется», оставаясь в своем единственном варианте. Сказались и поиски исторических корней, причисление себя к тем или иным древним племенам... В разные годы по-разному слышатся и ритмы «Слова о полку Игореве». Например, Д. С. Лихачеву они кажутся мягче, нежели в моем переводе, а мне другие переводы кажутся медленнее, мягче оригинала. Оригинал же — грозно движущимся, жестким. У каждого поколения свой ритм, свой слух — историческо-социальный. То, что вчера казалось быстрым, стало обычным. И наоборот. Вот, кстати, парадокс: «Мчатся тучи, вьются тучи...» — стихи с космической скоростью, а сколько современных стихов о космосе — улиточных. Не только «Слово» — Пушкина, Лермонтова, уже и Блока мы никогда не прочтем так, как читали их современники. Не сможем...

В известных стихотворениях — классических — мы прочитываем уже другой смысл, «изменились» их цвет, запах, звук... Пушкинисты, лермонтоведы, конечно, помогают нам прочесть великих так, как в XIX веке, но все равно что-то стало не тем, чем было. Ну, а все же что? Чем было? Чем стало? Какое-то слово Пушкин впервые ввел в литературу. За полтора столетия это слово произнесли десятки тысяч раз в живой речи и десятки, сотни раз повторили другие поэты. И сегодня мы его уже не слышим так, как в день его литературного рождения, оно уже получило второй, третий, четвертый смысл, связано после Пушкина и с Лермонтовым, и с Блоком.

Мы даже не подозреваем, насколько то или иное пушкинское слово мы уже слышим в совокупности с его жизнью в стихах других великих поэтов, а также — уличной жизнью.

Да, мы — читатели Пушкина, но не того, которого читал Карамзин, не того, которого читал Блок.

Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.

Разве сегодняшний школьник прочтет эти строки, как школьник в 1942 году? Удаление во времени может быть и приближением — в восприятии. Будущее, быть может, по закону вечного круга, прочтет «Слово» или Пушкина, как их современники. Лишь бы было будущее.

И еще — о загадках восприятия. «На Дунае Ярославнин голос слышится...» Если перевести эту строку дословно — пропадает пространство. Ведь Ярославна плачет в Путивле (на Сейме), а ее голос слышится далеко от Путивля — на Дунае. Только знатоки «Слова» представляют длину этой строчки — в тысячу верст. Когда переводил, долго бился над ней.

Дописывать — нельзя, перевести дословно — пропадает пространство. Добавил только одно слово — «уже»... «А уже и на Дунае». Добавление — не чуждое, в «Слове» часто встречается «уже».

Ночью перечитывал «Слово», может, в тысячный раз:

Кричат телеги в полночи;
будто лебеди всполошились;
лисицы брешут на червляные
щиты; волки по оврагам
грозу скликают; поле под
вами треснуло...

В XII—XIII веках не мог возникнуть космический корабль, хотя Батый уже применял пороховые ракеты при осаде русских городов.

У науки — ступенчатое развитие, от века к веку. А поэтическая энергия этой логике не подчиняется. Колоссальный поэтический заряд XII века до сих пор остается недостижимым по силе.



Виктор Калугин

«ЯРОСЛАВНИН ГОЛОС СЛЫШИТСЯ...»

Патриотические идеи, впервые с такой глубиной и поэтической силой выраженные автором «Слова о полку Игореве», стали центральными для всей русской истории и русской поэзии. Пламенный патриотический гимн древнерусского певца прозвучал в тяжелые времена княжеских усобиц и накануне самого тяжелого испытания, которое предстояло выдержать средневековой Руси. А потому и грядущие победы тоже оказались неразрывно связанными с этим первым словом о Родине, о ее судьбах в прошлом и настоящем.

Так впервые случилось во времена Куликовской битвы, когда «Слово о полку Игореве» отозвалось в «Задонщине». Поэма о поражении князя Игоря вновь — через два столетия — зазвучала в поэме о победе князя Дмитрия Донского. Зазвучала как ее внутренний рефрен, как второй «голос», доносящийся сквозь века. И в этом смысле необычайной поэтики «Задонщины», а иначе действительно трудно объяснить, почему «Слово» откликнулось именно в этом произведении, а не в «Повести о битве на Калке», в «Повести о разорении Рязани Батыем» или во многих других словах о гибели Русской земли — поэтических, прозаических, проповеднических, тематически как раз близких «Слову», посвященных трагическим событиям русской истории.

Так случилось во времена Куликовской битвы и так, по сути, повторилось в Отечественную войну 1812 года, когда — еще через пять столетий — «Слово» вновь возродилось и вновь исчезло, будто повторив судьбу невидимого града Китежа, прекрасной легенды-символа русской истории. Правда, на сей раз «невидимый град» все-таки сохранился в копии с оригинала, а звук колоколов его до сих пор звучит в русской поэзии — в переводах, переложениях, подражаниях.

Судьба «Слова» продолжалась в веках и во времена гражданской войны, когда к нему обратился великий белорусский песняр Янка Купала, пытаясь найти ответы на самые мучительные вопросы своего времени; и в годы Великой Отечественной, когда образы и идеи «Слова» вновь зазвучали в стихах советских поэтов.

Вспомним поразительные по искренности и точности строки Сергея Наровчатова из стихотворения 1942 года «В те годы»:

В своей печали древним песням равным,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославу,
Во всех ручьях Непрядву узнавал...

В 1943 году появилось стихотворение Людмилы Татьяничевой «Ярославна», в котором древний «Ярославнин голос» доносился сквозь толщу столетий:

Снова дует неистовый ветер,
Быть кровавому, злому дождю.
Сколько дней, сколько длинных столетий
Я тебя, мой единственный, жду.

Выйду в поле,— то едешь не ты ли
На запенном верном коне?
Я ждала тебя в древнем Путивле
На высокой, на белой стене.

Я навстречу зегзицей летела,
Не страшилась врагов-басурман.
Я твое богатырское тело
Столько раз врачевала от ран...

Вот через сколько веков и в какую трудную годину откликнулся голос древнерусской княгини, выразив чувства миллионов жен, матерей, невест.

«Ярославна» — так называется цикл стихотворений 1944 года Павла Антокольского. И в этих стихах предстает образ Ярославны фронтовой поры, песня которой слышна в «половодьях любой непогоды».

Ярославны русской поэзии — это единый образ, созданный не только гениальным автором древнерусской поэмы, но и Федором Глинкой, Иваном Козловым, Константином Случевским, Сергеем Городецким, Александром Прокофьевым, Николаем Рыленковым и многими другими поэтами XIX и XX веков. В стихах Сергея Наровчатова, Людмилы Татьяничевой, Павла Антокольского этот образ дополнился



новыми чертами, выявленными «роковыми минутами» истории народа.

Историческая память так явственно прозвучала в первые же годы войны в стихах советских поэтов именно потому, что на поля сражений Великой Отечественной вышли не Иваны, не помнящие родства, а потомки Александра Невского и Дмитрия Донского, наследники Суворова и Кутузова... У женщин же была Ярославна — один из самых великих образов отечественной и мировой поэзии.

Ярославна — ждущая; Ярославна — верящая; Ярославна — надеющаяся; Ярославна — вновь, как и столетия назад, обращающаяся к «возлюбленному воину»:

Труден путь твой, суровый и бранный,
Но нетленной останется Русь,
И тебя я, твоя Ярославна,
В славе подвигов ратных дождусь.

Но приведенные примеры — далеко не единственные. Наиболее известные переводы «Слова о полку Игореве» советского времени — Николая Заболоцкого, Владимира Стеллецкого, Алексея Югова — впервые появились в 1944—1945 годах и тоже несут на себе печать войны. В 1943 году вышел сборник стихов Николая Рыленкова «Синее вино», в самом названии которого («черпали мне синее вино» — строки из сна Святослава) подчеркивалась связь со «Словом». 1944 годом датирован рассказ Всеволода Иванова «Слово о полку Игореве», среди действующих лиц которого нет ни князя Игоря, ни Ярославны, и действие происходит не на Малом Донце, а в освобожденной от фашистов смоленской деревне, — тем не менее этот рассказ тоже является одним из ярчайших примеров исторических судеб «Слова».

Патриотические идеи «Слова» звучали в публицистике, в научных исследованиях (замечательная работа о «Слове» создана в годы войны академиком А. С. Орловым), наконец, в музыке, в головановских постановках «Князя Игоря», тоже ставших выражением времени и духовной культуры народа.

А это и есть бессмертие древнерусской поэмы, ее жизнь во времени, в веках.

Время выделило в поэме две основные темы, ставшие «вечными» для русской литературы, — героическую, гражданскую (трагический образ Игоря) и не менее значимую — лирическую (Ярославна).

Время приблизило к нам «Слово» в переводах и переложениях классиков трех братских народов и трех братских литератур (Жуковского, Майкова, Тараса Шевченко, Янки Купалы, Максима Рыльского, Заболоцкого), на языках народов СССР и почти всего мира.

Время доказало, что высшие достижения поэзии неотделимы от высших гражданских чувств, а судьбы поэзии — от судеб Родины. И лучшее свидетельство тому — «Слово о полку Игореве», выдающийся памятник мировой литературы, 800-летие которого столь знаменательно совпадает с 40-летием Победы.

ПО МОТИВАМ

«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

1

Что ми шумить, что ми звенить
далече рано предъ зорями?

Что мне шумит пред зорями?
Игоря ли времена?
Ныне не та ведь весна
и не с такими зорями.
Пахнет и ветром и морем,
и раскрываю я дверь:
сколько тревог и потери!
Сколько печали и горя!

Что мне звенит перед зорями?
Пахнет бурьяном, травой,
синюю далью степной,
солью чумацкой и морем.
Ратники мчатся по взгорьям,
тускло сияют щиты,
и у безвестной черты
Див окликает пред зорями.

Небо светлеет пред зорями.
Грустно мне. Что впереди?
Горесть теснится в груди
горем, плывущим под зорями.
Степь разливается морем.
Кликни меня. Подожди!
Юность давно позади.
Что там звенит перед зорями?

Слушай, садись и поспорим:
восемь веков прошло.
Сколько воды утекло,
сколько и боли и горя!
Степь разливается морем.
Игорь! Где стяги твои?
Кликни, меня назови!
Что мне шумит перед зорями?

2

Были века Трояновы, минули
годы Ярославовы.

Что сказать тебе посмею, княже?
Ворон злой крылами плещет, кружит,
тьма от половецкой силы вражьей!
Русь моя! Кто путь к тебе укажет?
Плачет сердце, плачет, горько тужит.
Что судьба кому какое скажет?
Завтра бой, сил набирайся, друже!

Пронеслись, прошли века Трояна,
нет и лет великих Ярослава!
На холмах сплошная тьма тумана.
По степи гуляет гул пространный.
Загодя пророча пир кровавый,
гул идет из вражеского стана,
что-то громок голос окаянный
над землею древнею Трояна.

Слышишь: долгий скрип телег и клики,
словно лебедей поднялась стая,
и заполнен ими край великий!
Чьи-то тени, выплывают лики,
пропадают — ведьмы ли летают?
Кто их знает! Стебли повилики
оплетают камень. В небе блики —
уж не лебеди ль слетелись в стаю?

Княже, позабудься у костра немного.
Где-то Киев стольный и Чернигов?
Днепр Словутич... Дальняя дорога!
Завтра бой, а знает ли Чернигов?
Кружит ворон с облаком высоко,
крови жаждет, ждать ему немного.
Днепр гремит и стонет у порога,
о, как он от нас теперь далеко!

Там и соловьи и роз цветенье,
здесь же за холмом Стрибожьи внуки.
Сон вчера мне снился, сон о плене.
Мне б вдохнуть прохладный цвет сирени!
Половцы близки, мы в черном круге.
Месяц встал, еще грознее тени!
Мне б вдохнуть прохладу от сирени,
чтобы крепче меч держали руки.



Виктор Лапшин

ВАСЬКА БУСЛАЕВ

Народу на улице — в треске заборы.
Булыжник под тяжким под топотом тонет.
Забыты раздоры, наотмашь запоры:
«Не бунт, не пожар ли?» — «Нет, Ваську хоронят!»

Эх, Васька, башка да твоя ль удалая!
Вчера из пеленок — сегодня в могилу...
Да разве ж ты видывал волю без края?
Да где же ты видел без удержи силу?
Буянил да бражничал — аль нагулялся,
Аль девки повымерли, сцежена брага?
Мать со свету сжил, над женой надругался,
Детей растерял, нечестивец, бродяга!

Подковы позванивают, и колеса
Стучат-перестукивают дребезжаще;
Коняга с отвислой губой смотрит косо;
Гроб трясом трясется в телеге дрожащей.

«А гроб-то... пустой! Вон на ельнике крышка...
Слезю ту крышку в тоске не росили...
Гляди-ка, за гробом, за гробом-то... слышь-ка,
Покойник идет!» — «Что ты? Верно, Василий!» —
«Ха! Вот так покойничек! Да перед Васькой
Живой — что мертвец! И сравнения нету!»
Толпа за Васильем теснится с опаской:
Что люди такому — при жизни отпету...
«Велик же ты, Васька! К подобному росту
Да ум соразмерный,— сидел бы на троне!» —

«Смеется, паршивец! Спихнуть его с мосту!» —
«Теперь никого уж он пальцем не тронет!»

За речкой, на кладбище — гомон грачиный.
Березы в запекшихся красных наплывах.
Трава так и прыщет — быть лугу периной!
И весь он — в побегах, как ветер — в порывах!
Красуйся и млей — соблазняйся и сватай!..

«Одумайся, Васька, окажет услугу
Могильщик с лопатой, гнусавый, горбатый!»

Идет он, Василий, румяный да стройный,
Синеет глазами, чернеет усами,
Знай семечки лузгает, хмуро-спокойный,
Один-одинешенек под небесами.

А вот и могила. Вода затопила
На локоть ее; и живьем — в эту жижу?!
Ан Васька над гробом смеется: «Ненила,
Ложися со мной, я тебя не обижу!»

«Стой! — Ражий купчина к Василию катит,
Запыхался... — Пусть я вконец обнищаю!..
Васюха, ты что? Подурили — и хватит!
Твой проигрыш я принародно прощаю!»

Столкнул его с насыпи Васька сурово,
Заплакал и низко толпе поклонился:
«Не олово слово, сдержу свое слово!» —
Во гроб он улегся и перекрестился.

...Туманиться небу над свежей могилой,
Накрапывать дождику, всхлипывать глине,
Купцу-дураку целоваться с Ненилой
С поминного хмеля до свету в овине...

Юрий Лакербай

КУЛИКОВО ПОЛЕ

1

Шагни вперед — и сброшены оковы,
И ты как мечник в стылых ковылях!..
У каждого есть поле Куликово,
Но трюсость пишет сноски на полях.
И хитрый разум судит несурово:
Ты человек. Ты не герой, не вол..
У каждого есть поле Куликово,
Но нужно еще выйти из него!
И выйти так, чтобы навеки правым
До капли чашу горькую испить —
И никакой обратной переправы,
И никуда уже не отступить.

2

Что карта боя?
В ней полно накладок.
Другое время — и пейзаж иной.
Нет той дубравы, где была засада,
Растет рябина, где стоял Донской.
Но горсть рябины с поля Куликова
Чуть-чуть поярче, чем с других полей;
Здесь кровь мешалась с влагой родниковой
И в почку проникала до корней.
Возьму в дорогу эту гроздь рябины,
Она напомнит и ковыль сухой,
И сизый всполох стаи голубиной
Над шлемовидной темною главой,
И хриплый звон колоколов отдельных,
Что к Юбилею голос обрели,
И сиротливость крестиков нательных,
Случайно извлеченных из земли...
В нестройном хоре слухов и преданий
Есть изначально верная струна:
На кровь свою не скаредны славяне,
Когда им воля вольная нужна!

Юрий Чехонадский

ВОРОН ЧЕРНЫЙ

Ворон черный летел над лесом,
ворон черный летел над рекою,
ворон черный летел над полем,
ворон черный летел над сечей —
ворон черный видел убитых,
видел убитых,
в землю зарытых.

У ворона черного перья блестящие,
у ворона черного глаза горели,
ворон черный шумно крылами бил,
ворон черный громко кричал.
Кричал ворон черный лесу,
кричал ворон черный реке,
кричал ворон черный полю:
«Зачем так много убитых?
Так много убитых,
в землю зарытых?
И одного хватило бы надолго!»
Не отвечал ворону черному лес,
не отвечала ворону черному река,
не отвечало ворону черному поле.
Это разве знал лес?
Это разве знала река?
Это разве знало поле?
Знали это лишь те,
лишь те, что были убиты,
что были убиты,
в землю зарыты.

Ольга Герасимова

И РОДИНА НАЧНЕТСЯ СНОВА...

1

О, поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?

А. Пушкин

Торчат горшки на частоколе,
Ввалились лбы, полуистлев,
В глазницах — темь, за нею — поле,
И мертвый — на поле — посев.

О поле! Ты чуть слышной прелью
Едва доносишься досель.
Над погребенною постелью
Былье колышет колыбель...
Кровя протекшие пропали,
Младые всходы не взошли.
Пустынный пахарь — тень печали —
Ушел на дым родной земли...
О поле! Кто тебя из праха
Подымет силою корней?
Кто он, неистребимый пахарь
Прошедшей родины своей?

Иль — гнить горшкам на частоколе,
От смертной муки побелев,
И видеть темь, за нею — поле,
И мертвый на поле посев..

Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар...

А. Блок

Прощальный вздох над пепелищем
Промчался заревом в ночи,
Пернатая погибель свищет,
Кипят горючие ключи.

О, горьким дымом холм Отчизны
С полей уходит в небеса,
Взывает дух великой тризны —
Железо — точит голоса!

Проникнись, Брат, священным пеплом,
Пожары отразив плечом,
Сверкай в ночи, чтоб ночь ослепла,
Метая молнии мечом.

Гряди, защитник светоносный,
На шевелящуюся тьму,
Отчизне — пламенной и грозной —
Служи, как свету своему.

Твоим огнем займется слово,
Душа войдет в свое жилье,
И родина начнется снова,
Как будто б не было ее!

* * *

Когда завидишь путь уже недалний,
Останови мгновенье и постой,
Овеянный осеннею печалью,
Проплаканный последнею росой.

Не торопись: все то же за холмами.
И там и тут почиет тишина.
Впади в нее, — она вершит громами
И дребезжит как вещая струна.

То — зов тоски родной, неодолимой.
Пора всем сердцем раствориться в ней.
На путь остатний,
на почти что мнимый —
Нет ничего, что было бы нужней...

* * *

За порогом, за простором,
Вне души, в миру ином,
Мне приснится белый город
В диком хаосе ночном.

То — мечта меня окликнет,
Светлой радости полна,
И в ничто мое проникнет,
Разбудив меня для сна,
И, дрожа от ожиданья,
Ком кромешный, кровавой
Выдохнет — мое дыханье —
В хаос дикий и ночной.

И в безбрежном океанстве
Близкий берег возвещу:
Выдохну — твое пространство,
Снившееся — воплошу!

Валерий Лобанов

ВЕТРЫ РОССИИ

Село под Ростовом Великим
до боли знакомых фамилий.
Из прошлого слышатся крики:
— Мой внучек!
— Сыночек мой милый!

— Сиятельствуй! Миру откройся,
душа, как и встарь, неодета.
·Есть мужество и геройство —
от бабки, от деда.

Не зря злые силы и духи
дрожат, забиваются в щели
от русской стальной холодухи,
от свиста, от воя метели.

Все окна давно погасили,
твое же — светло и морозно.
Прислушайся к ветрам России
серьезно.

Серьезно.



Владимир Макаров

К ПОРТРЕТУ

Гусар Ахтырского полка
В мундире огненного блеска.
Эфес

не выпустит рука.

Россия — мать.
Земля — невеста...

Российского героя лик...
Ему под стать
и меч и лира.
Обвенчанный с бессмертьем миг
на рубеже
войны и мира.

Егор Самченко

ОВЛУР

«Ты, моя кровь половецкая, стой
И не мешай мне дышать!» —
Голос Овлура передо мной,
Там он и тут опять.

«Стой!» — говорит, и кровь не течет
Ночи против и дня.
«Что? Почему, — говорит, — влечет
К бесславному князю меня?

Ибо, ибо...» — Он говорит
И, замолкая, молчит.

Там, за кровавой той запятой,
Малое не увидеть.
Голос Овлура передо мной,
Там он и тут опять.

«Ибо, — он молвит там, у воды,
Всею думой своей, —
Ибо страданье сильнее вражды
И крови Овлура сильнее».

Погибель ждет и погибель влечет,
Легко и страшно душе!

О том, что иное Овлура ждет,
У стремени встало уже,

О том, что Татищев о нем написал,
О том, что это прочтут,
Я бы и там ему не сказал,
Как не сказал бы и тут.

Я промолчу, я не скажу,
Гибелью я подышу!
Дятлы о том стучат:

Выстрел бесшумный из рога летел
Греческой розой огня.
Свистнул Овлур и опять засвистел,
Ухо к земле наклоня.

Свистит он коню и видит, что тень
Ко рту подносит ладонь.
Черный как ночь, белый как день,
На свист выбегает конь!

А по следу за Игорем
Едут Гзак и Кончак.
Дятлы о том стучат:
Посевьем едут и едут Римовым,
Глаза до Путивля торчат.

Великая, низкая едет грязь,
Усмешку ее слышать:
«Видно, и вправду мелкий князь —
Такой, что и не увидеть!»

Имя полка я крикну в ответ,
Раз имя ему дано.
А восемьсот или тысяча лет —
Это уже все равно.

СНЕГ ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА

Ждали, чтобы обулся,
Обещали покой.
Холодно отвернулся
Не спиной, а душой.
И раздели по знаку,
Он спокойно стоял.
«Да, — сказали из мрака, —
Вы сильны, генерал,
А ведь мы переселим!» —
И толкнули за дверь.
«Холоднее России
Ледяная купель!» —
Окатили из шланга
Ледяное крыльцо,
Снисходительно, нагло
Усмехались в лицо.
На немецкую вьюгу,
На снежинку глядел —
Белой, белой кольчугой
Снег летел и звенел.

Олег Шестинский

У ТЕБЯ ЖИВЕТ, РОССИЯ...

В Заонежье —
то заснежье,
в Заонежье —
то жара...
Тронулся, ходок нездешний,
я порою послеवेशней
от причального бугра
до крестьянского двора...

Шел я по земле отлогой,
где у ржи да над протокой
деревянные дома
сводят хоть кого с ума,
сводят оттого, что ныне,
а точнее —
и доньше
трудятся в них, дышат, спят,
плачут в красные подушки
неубогие старушки —
матери былых солдат.
Там с хозяйкою-старухой
все сошлось
и все сдружилось,
избы пахнут не порухой,
не вымаливают милость.
Печи там, как и долины,
а лежанки — лебедины,
жаркий под, для хлеба — трон,
тесто белолико, пышно,
в зев вошло, оттуда вышло
хрусткое со всех сторон.
Из углов —
один святейший,
там вовек не ставят вещи,
там портреты на стене,
каждый как цветок в окне.
Там губаты и чубаты,
все — с двадцатого робяты,
с двадцать первого робяты
и с последующих,
беды ведающих...

Назовут тебя
вдовою,
коль останешься живою,
скорбно мужа схоронив.
Нету в русской речи слова,
чтоб им мать назвать сурово,
сострадательно-сурово,
если сын ее не жив,
ибо в чувствах мать едина —
отрок сын
или мужчина,

мертвый сын или живой,
за столом иль под травой, —
мальчик он лишь для нее.
От сыновьего погоста
мать воспринимает просто
жизнь его как бытие.

У тебя живет, Россия,
бабушка Анастасия,
вырастила шесть сынов —
Клепикова Валентина,
Клепикова Михаила,
Клепикова Александра,
Клепикова Константина,
Клепикова Андриана,
Клепикова Митрофана, —
нет уже от них следов.
Плоть их нынче — в почве века,
не позвать их, не узнать...
Не дождалась мать-Онега
и родительница-мать.
До последней до слезинки
слезы выпали из глаз,
стали очи словно льдинки,
не оттают ни на час.
А без слез старуха слепа,
черен мир ее и прост —
мертво поле, мертво небо,
мертва стежка на погост.
И со мной, как с гостем ейным,
сжившимся с ее тоской,
два наперсточка с портвейном
выпьет мать за упокой.

У тебя живет, Россия,
бабушка Анастасия,
все в ней выбито дотла —
детства праздничные взоры,
юной пляски переборы,
по душе летит зола.
Но не выбито в ней слово,
разум слова не затух,
ибо в слове есть основа —
негасимый русский дух.
о девичестве, что где-то
за гражданскою войной,
вдруг запела среди лета
под печалью избяной,
вдруг запела, не зашамкав,
о святых годах своих,
встрепенулись в белых рамках
шесть кормильцев горевых.

«Уродилась я во поле,
как былиночка,
лет с семнадцати
по людям ходила,

где качала я дитя,
где коров доила,
отдоивши коров,
молоко цедила,
отцедивши молоко,
я дитя кормила,
накормивши дитя,
в хоровод ходила,
в хороводе была я
девица красива,
и красива, и белая,
плохо я одета,
никто замуж не берет
девушку за это...»

Что мы все-таки за люди!
Смертный видится предел —
но ничьей душе в остуде
жить никто не повелел.

У тебя живет, Россия,
бабушка Анастасия,
а ведь первый вдовый крик,
первый плач и причитанье,
сердце рвущие стenanья
заметелились в тот миг.
Помнишь, постояльцев в сени —
с матерью двух малышей,
двух блокадных малышей —
ты пустила в день осенний,
поднесла горшочек щей...
А за ними почтальонка
с письмами — и похоронка.
Шестеро еще живые,
шлют приветы боевые,
а отец их, твой Кузьма,
зашатался, зашатался,
у чужой реки остался,
угнездилась в теле тьма.

О единственном, что где-то
за второю мировой,
вдруг запела среди лета
под печалью изыбной:
«...Не в поле ветер свищет —
военный гром звенит.
Никто так не сражался,
как милый на войне,
сражался, не боялся
ни пушек, ни ядра,
пришло письмо печально,
сказали — друг убит,
убит, убит, не ранен,
он во поле лежит,
как были б легки крылья,
слетала б я туда,
собрала б кости вместе,
на родину снесла...»

Бабушка Анастасия,
нежны волосы седые,
зубы редкие во рту,
а такую в тебе вижу,
а такую в тебе слышу
колдовскую красоту.
Я пройду землей отлогой
возле ржи да над протокой
и так ясно различу:
там, где красная рябина,
Клепикова Валентина;
там, где рожь заколосилась,
Клепикова Михаила;
там, где вишни в гуще сада,
Клепикова Александра;
там, где скошена долина,
Клепикова Константина;
там, где облако тумана,
Клепикова Андриана;
там, где зорюшка багряна,
Клепикова Митрофана.
И среди природы той
мать слепая,
мать живая
движется, переживая,
что детьми ее не будет с болью

обронено:

«Дело сделано,
отец с матерью похоронены».

Василий Цвелев

* * *

Мне снился сон,
и я во сне кричу:
У самолета отстрелили лопасть,
Все кончено,
я падаю,
лечу
В разверзшуюся подо мною
пропасть.

Но это сон... а я, в строю полка,
Разинув рот, бегу к смертельной цели...
И почему в крови моя рука?
И почему проснулся я в постели?

Вы счастливы, кто не был на войне!
Я наблюдаю с завистью за вами.
Мы, ветераны,
даже и во сне,
И после драки машем кулаками.

Петр Нефедов

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

На одном из глухих полустанков,
Фронтным эшелонам вдогон,
В кубарях лейтенантского ранга
Я вхожу в гомонящий вагон.

Я взбираюсь на верхнюю полку
И ложусь, вещмешок подложив...
Где-то пушки ревут без умолку,
Гибнут люди. А я еще жив.

Я трясусь на железных рессорах
И блаженствую несколько дней
В поездной суетне, в разговорах
О проклятой войне, все о ней.

Вот старушка какая-то — видно,
Мать воюющих русских солдат —
Причитает в слезах:
— Дык обидно,
Столько жизней он взял, супостат...

Даже имя того супостата
Не желает старушка назвать.
Только все нам понятно, и свято
Сердцем вторим ей:
«Правильно, мать!»

А поодаль с ногой деревянной
Рубит воздух рукой инвалид:
— Трижды проклят он будь, окаанный,
Бесноватый, убийца, бандит!..

Вдруг откуда-то снизу и сбоку —
Хриплый голос, как будто спяна:
— Что вы ноете, люди, ей-богу?
Все равно всем нам скоро хана.

Вон как прет, уж в ворота столицы
Он железным стучит кулаком!.. —
И тогда с верхней полки, как птица,
Я слетаю мгновенным рывком.

Я гляжу на него и неспешно
В кобуру лезу правой рукой.
А старушка мне:
— Что ты, сердешный,
Не замай его, вишь он какой.

— Сам небось от фашистов-то драпал,
А теперь нас пугает, шутник.
— Тише, граждане, что тут за драка? —
Подбегает ко мне проводник. —

Спрячь оружие и труса не трогай,
Мы сдадим коменданту его... —
Ночь. Зима. Сорок первый. Дорога.
И не видно в степи ничего.

Только поезд гремит и кудлатый
Дым уносится в снежную тьму.
И еще далеко Сорок пятый,
Но ведут все дороги к нему.

БАЛЛАДА О ШНУРКЕ

*(По рассказу матери первого космонавта
Анны Тимофеевны Гагариной)*

На башнях древнего Кремля
Светился звезд рубин.
Ждала торжественно Земля, —
К ней возвращался сын,

Ее любимец и Герой,
Впервые побывав
Там, за невидимой чертой
Всех граней и застав.

— Ну что ж, пора, — он быстро встал, —
Приехали домой. —
И тут же одеваться стал,
Спокойно-деловой.

И грянул марш из тысяч труб,
Лишь он успел шагнуть
На ту дорожку по ковру,
На вечной славы путь.

Он шел, и миллионы глаз
Следили из дали
За ним, кто в космос в первый раз
Шагнул с родной Земли.

И среди всех родная мать,
И строже и нежней,
Смотрела, ну ни дать ни взять,
Как в пору давних дней,

Когда еще мальчонкой он
У ног ее сновал...
Он шел, а мир со всех сторон
Ревниво наблюдал.

Заметила лишь мать одна.
Развязанный шнурок,
Всем сердцем вспыхнула она:
— Да как же ты, сынок?

Ты что же, Юрушка родной,
Да как же это так?.. —

А он дорожкой цветной
Держал гвардейский шаг.

Там, за спиной,— сто восемь тех
Космических минут...
И встал он на глазах у всех,
Свой путь окончив тут.

Завязан снова был шнурок,
Да он и не мешал.
И только мать:
— Ты что ж, сынок,
С шнурком-то оплошал?

Он улыбнулся ей в ответ,
Шепнул:
— Видать, и впрямь
Глаз материнских зорче нет.
Прости, не знаю сам...

Так, мать улыбкой весела,
Был счастлив человек,
И ту улыбку вся Земля
Запомнила навек.

Владимир Баранов

ПОДВИГ

Был путь до берега тяжел и длинен,
на море опускался ночи мрак,
и привязал себя к немецкой мине
в бою с врагом израненный моряк.

Очнулся он внезапно на рассвете.
Как будто приготовил кто сюрприз:
шел на него корабль, виднелись дети,
и с миной кораблю не разойтись.

Держась одной рукой за скобы мины,
другой — разбил ее взрывной колпак.
И неба и воды сошлись лавины...
Так смертью смерть поправ моряк.



Юрий Чернов

БЕЛОРУССКИЕ ВЁСКИ

Белорусские вёски, белорусские вёски:
Здесь слышнее далекой войны отголоски.

Разве я позабуду ту бульбу без соли?
То изрытое бомбами мертвое поле?
У леска на бугре сиротливую хату,
Где меня молоком напоили когда-то?
А в той вёске одна уцелела корова,
Сохраненная в зарослях леса густого.
Тетка Ганна меня молоком напоила,
Тетка Ганна в дорогу меня проводила...

Белорусские вёски, белорусские вёски,
Где торчали пеньки, распрямились березки.
Вот лесок и бугор. Обновленная хата.
Только выбрался, видно, сюда поздновато.
Вроде слово сдержал — обещал я явиться.
Тетка Ганна, тебе я пришел поклониться.
Тихий холмик. Поникла плакучая ива,
Да плывут облака над тобой молчаливо...
А за хатой, как прежде, широкое поле,
И мальчишки все реже находят там пули.
А вдоль шляха бегут на Борисов березки.

Белорусские вёски, белорусские вёски.

Нина Бялосинская

* * *

Садись.
Привыкай понемножку.
Невзрачный барачный уют.
Девчонки
про стежки-дорожки
заветную песню поют.
Девчонки приходят с завода.
Мелькнут на жакетках медали.
Свои разговоры заводят,
как будто бы нас не видали.
Гитара с малиновым бантом,
скобленный ножом табурет.
Совсем молодого сержанта
совсем непохожий портрет.
Девчонки опять перескажут
друг другу вчерашние сны.
Затейливо скатерти вяжут
и прячут «на после войны».
И гаснут закатные ели.
Еще один вечер иссяк.

— Скажите, а что же вы пели
тогда,

в партизанских лесах? —

Девчонка
метнет за окошко
до дальнего леса глаза.

И скажет:

— Про стежки-дорожки.—

И снова возьмется вязать.

* * *

Вот что я вам скажу, подруги,—
То, что для нас насущней хлеба,—
Можно отпустить синицу в небо,
Но нельзя поймать журавля в руки.

Как это случается так, сестрица,
Не догадаться нам, не дознаться,
Но стоит этой ловитвой заняться —
Как вот уже ты и сама не птица.

Кормись чем можешь и хочешь, дочка,—
Промыслом жураввим, пастьбой синичьей,
Только б не силками с толкучки птичьей,
С обманым голосом ее маночка.

* * *

Шел и шел
натруженной дорогою,
прогибая плечи грузом дел,
и свою,
веселую и строгую,
грустную,
смешную,
проглядел.

А она —
осталась у обочины.
Не приладила к нему свой шаг.
Чем-то занята и озабочена,
так и не ступила на большак.

И живут,
живут они, нестарые.
Век живут — себя не узнают.

Вот и всё.
Обычная история.

Дождь идет.
И журавли — на юг.

Григорий Корин

ПОД САМОЛЕТОМ

Меня нашли в огромной луже
под самолетом
в ледяной весенней стуже.
Я в ней проспал
четыре часа,
пока не развиднелись небеса
и пропажу в полку
дневальный не обнаружил.
Это были белые ночи войны,
мы летали круглые сутки
и в полете
досматривали
порой свои сны,
а когда возвращались,
обжигали сонные рты
от дымящей без удержу
самокрутки.
Я не встал,
я выплыл из лужи,
пояс затянул потуже.
И по тревоге —
в самолет.
Я даже не чихнул,
когда вернулся,
а только переоделся,
переобулся
и выпил консервный компот,
и тут меня прошиб холодный пот.
Но мы боролись за правое дело,
и никакая хворь
не могла свалить мое тело,
в нем поселился святой дух,
а белая ночь все больше над морем
висела,
пока на Копорье не ринулись
стаи белых мух.

КАЛЕЙДОСКОП

Все,
кого я видел однажды,
с кем не обмолвился
и словом одним
и ни разу не вспомнил даже,
теперь возвращаются
один за другим.
В этом наваждении
каждый проходит
в одно мгновение,
будь то в трамвае,
на улице или в окопе,
и каждый сон мой —

столпотворение.
Вот бежит за мной мальчуган,
и обруч его по моим ногам
то справа, то слева колотит,
и он хохочет,
а навстречу нам
приближается женщина
и сквозь обруч львицей проходит.
А вот чистильщик сапог за углом
держит в руках огромный залом
и кормит его подметкой.
Ни с кем из них я не был знаком,
однажды их видел
в кинотеатре перед звонком,
и на тебе —
один за другим
возникают,
кто в плаще, кто с зонтом,
и так явственно вижу лица,
и теряюсь во сне,
и не знаю, как быть,
поклониться им
или не поклониться.
А их все больше и больше —
и кого видел в Праге,
и кого в Польше,
и просыпаюсь,
говорю: о, боже,
на что мои сны стали похожи,
если только мимолетное вижу,
не больше,
если от каждого сна
мне все горше и горше,
видно, время мое
с миром проститься
и я должен запомнить все лица,
а не одно,
которое мне всех дороже.

Виктор Узлов

В ДЕНЬ ПАРАДА

«Забудь о седине,
Надень свои медали.
Не торопись, танкист,
Ведь мы же не горим.
На проклятой войне
Нам время не давали,
Теперь куда спешить,
Давай поговорим.

У вас там,
на земле,
Так быстро мчатся годы —

Смотри, как постарел,
Но, видно, помнишь ты
Тот наш последний бой —
Как батальон пехоты
Редел, ожесточась,
У Н-ской высоты.

Молчи,
не надо слов,
Ни в чем ты не виновен.
Ты мог идти в обход.
Так для чего ж броня?
Горело все вокруг,
Вплоть до блиндажных бревен,
И ты ценой потерь
Хотел спасти меня.

Ты чудом уцелел,
Не три виски, полковник,
На то она война,
Чтоб кто-то

погибал.
За друга своего,
Ты это только вспомни,
Ни немцу,
ни себе
Покоя не давал.

За друга своего
Его растил ты сына.
И он теперь тебя
Своим отцом зовет.
Заходит иногда
Моя жена Ирина —
Покурит, посидит,
Поплачет
и уйдет.

Ты предлагал не раз
Ей стать твоей женою.
Прости ее, мой друг,
Солдатская вдова.
Я б счастья ей хотел,
Рад видеть был с тобою,
Но, видимо, она
На этот раз права...»

На стенах блики дня,
И в комнате ни звука,
А где-то вдалеке
На улице парад.
Один он за столом —
Нет ни жены,
ни внука,
Как лунь седой,
один
Сидит, молчит солдат.

Анна Сулова

ДЛЯ ТЕБЯ, СЫНОК

1

Для тебя, сынок,
Разберу постель.
Кладу в ноги — ночь,
В изголовье — день.
И к ногам, родной,
Вот полынь с дорог,
Чтобы путь домой
Ты забыть не мог.
 Попрошу у звезд
Самый древний сон,
Чтобы он донес
Голоса времен,
Запах вольных трав,
Перезвон церковей,
Незлобивый нрав
Всей родни твоей.
Гляну птицам вслед:
Мне бы два крыла,
Чтоб укрыть от бед,
Так ладонь мала!
Мне бы два крыла,
Чтоб укрыть от бед
И тебя, сынок,
И весь белый свет.

2

Мир проснулся от «агу».
За окном земля в снегу.
Видишь, мы живем с тобою
На молочном берегу...
А у берега — река.
Что несет она?
Века.
А в той реченьке — вода.
Что несет она?
Года.
Всхлипнул жалобно: «агу».
Я тебя уберегу!
Я тебя уберегу
На молочном берегу...
Замолчал, уткнулся в грудь.
Губы ищут Млечный Путь.
Отдохни, сынок, чуть-чуть!
Мальчик ищет Млечный Путь.
Я — с тобой и все смогу.
Я тебя уберегу.

3

Сначала уходят дети
На длину материнского шага,
На длину материнской руки.

Подрастая, уходят дети
На длину материнского зова,
На длину материнского взгляда.
Вырастая, уходят дети
На длину материнской тревоги,
На длину материнской любви.

4

На солдатах шинели
Зеленого цвета.
У солдат гимнастерки
Зеленого цвета.
Словно Родина сшила
Одежду солдатам
Из зеленого лета,
Из зеленого лета.
Цвет родимых лесов,
Цвет родимых полей,
Ты столетья считаешься
Цветом защиты.
Что же ты не сберег
В той минувшей войне
Тех, кто ранены были,
И тех, кто убиты?
Всех мальчишек зеленых,
Лежащих в земле?
Их фамилии вписаны
В вечные списки.
На огромных просторах
Отчизны моей
В память мальчиков этих
Стоят обелиски.
Мы живем, сорок лет
Видя мирные сны,
А они все лежат,
Приготовившись к бою.
Гимнастерки солдат,
Не пришедших с войны,
Возвратились листвою
И зеленой травой.



Анатолий Князев

ТРАНШЕЯ

Ярилась, на БАМ надвигаясь,
Зима, неумна и зла,
И, яростно в землю вгрызаясь,
По стройке траншея ползла.

Ползла, изгибаясь как вена,
Верша свой натруженный путь,
Была мне она по колено,
А к вечеру стала по грудь.

Отвал осыпался покатым,
Движенья смелы и резки,
Я помню совковой лопаты
Упругие, злые броски.

Я знаю уверенный почерк
Веселых парней-крепких.
В судьбе своей разнорабочей
Прорыл я немало траншей.

В них жизни высокая совесть,
Работы высокая суть:
Кому-то траншея по пояс,
Кому-то траншея по грудь.

Пробейся сквозь серый суглинок
По руслу стремительных трасс,
Чтоб зелень веселых травинок
Качалась на уровне глаз.

Пусть сеется дождик нечастый,
Пусть кровь ударяет в виски,
Пусть гордо взлетают над трассой
Совковой лопаты броски.

Виталий Лукашенко

* * *

К нам в Тынду зимнюю неожиданно
Ансамбль цыганский прилетел.
Я на наряд их пестрый жадно
И с восхищением глядел.
Со мной сидел цыган наш, Миша,
И, если смысл не доходил,
Он, говорить стараясь тише,
На русский мне переводил.
Сверкая черными глазами,
Запомнить он хотел навек
Их песню: мол, цыган на БАМе —
Незаменимый человек.

А я толкал его локтями,
Ему мешая и себе:
— Смотри, они не знают сами,
Что эта песня о тебе... —
Мы белоснежную тропую
С концерта шли к себе домой.
Он говорил, смеясь порою,
И вспоминал про табор свой.

Владимир Шленский

КАМЧАТКА

Жирна здешних листьев клетчатка
от влаги, что льют облака.
Трясет нас немного Камчатка,
потряхивает слегка...

Быть может, нужна эта встряска,
чтоб слышалось слово «Держись!»
и чтобы спокойная ряска
не тронула быстрою жизнь...

Несложное дело рыбацье
несложно лишь только на вид.
И траулер, веря в удачу,
в свинцовое море спешит.

Готовы лебедки и снасти.
Но шторм вдруг напомнит вдвойне
о том, что великие страсти
таятся в морской глубине.

Рвет ветер и пену и сети.
Мне зябко в осеннем пальто...
И бочки, набитые сельдью,
стоят здесь гигантским лото.

Вершины и слева и справа,
открытое море вдали.
Клокочет усталая лава
в натруженных легких Земли.

Вулканом далеким дымится
тут время.
Мгновения взвесь...
Вот здесь и проходит граница,
не где-то,
а именно здесь.

Чтоб землю и жизнь не спалила
военная лава дотла —
граница не спит.
Тьму прошила
прожекторная игла...

А утро ворвется как чайка.
Басы теплоходов слышны:
«Камчатка!
Камчатка!»
Камчатка —
не край, а начало страны.

Владимир Семакин

В КОМАНДИРОВКЕ

Каурый мерин — корму не хватало —
искал овса шершавою губой.
Ему, коню, и горя было мало,
что у ворот напрасно я, бывало,
просил отца: «Возьми меня с собой!»

И только в снах я был совсем счастливый:
сажусь в седло — и в поле пряником.
А конь-огонь трясет широкой гривой,
ноздрами ловит воздух щекотливый,
пропахший первым тракторным дымком.

Тридцатый год. Дороги в липком тесте.
Дождь по лицу сечет наискосок.
Мне жаль, что мы
нечасто были вместе.
А ты, отец — предмет кулацкой мести,—
не раз от смерти был на волосок.

Тебе, отец, на грозном повороте
истории
завидно повезло:
на Енисее в матушке-пехоте
ты оказался в той сибирской роте,
где прапорщиком был
Сергей Лазо.

А там — прорыв Брусиловский,
а следом —
братанье на фронтах. И, наконец,
ты — большевик. Ты столько изведаль..
Назло всему сумел назваться дедом
и в прадеды готовишься, отец.

Он только креп, характер твой бойцовский,
когда ребром вставало — «Кто кого?».
...Лесной уезд — заброшенный, таковский,
святое место юности отцовской,
рождения и детства моего.

Маршрут совпал, и мы не виноваты,
что время спать, а все не спится нам.

Удостоверьтесь: выбили туда-то,
печать, как полагается, и дата —
что ж, каждый едет по своим делам.

Мы вместе, да! И нет ни в ком гордыни:
как равные в одной большой судьбе,
мы — звенья, неразрывные отныне...
Ты знаешь все — до мелочи — о сыне,
а все ли знает сын твой о тебе?

* * *

Счастье было счастьем,
а беда — бедою.
Нас и наше время
не разлить водою.

Приходилось туго —
и не только часом.
Сказано об этом
с болью — не с приплясом.

У иного ферта
резвости в излишке:
если что и знает —
знает понаслышке.

Катит бочкотару,
ах как лихо катит!
Не отца, так деда
хаёт-виноватит,

между невиновных
ищет виноватых,
норовит комолых
выдать за рогатых.

Кто он между ровни?
Во поле обсевок.
Вас и нас морочит,
словно глупых девок.

Но отцы гордятся
сменой молодью —
наших поколений
не разлить водою.

Не разлить водою —
возраст не преграда.
Главное
отцами
сделано как надо.

Главное
как надо
было, есть и будет.
Нашенского солнца
в мире не убудет!

Татьяна Кузовлева

МЕТАМОРФОЗА

Я помню:
Вздыхается горе волной,
Чужое, но горькое горе.
А женщина эта идет стороной,
И радость лучится во взоре.

Красивая,
С темною гривой волос,
С точеной породистой статью,
Идет — словно ветер летит меж берез,
И солнце гуляет по платью.

Казалось, казалось —
Не только ведь мне! —
К ней ластятся травы и птицы.
Она не предаст, не оставит в огне
Того, с кем несчастье случится.

Отвага и нежность,
Смиренье и страсть,
Казалось, лишь только взгляну я,
Откроются мне. Но случайности власть
Свела нас однажды вплотную.

Я видела:
Радость чужая цвела,
И все было ею объято.
Поблизости женщина эта прошла,
Прошла стороной, как когда-то.

И новым открытъям явился черед
(Ах, лучше бы, право, не надо!):
Как мелок и скуп ее маленький рот
С застывшею капелькой яда.

И взглядом почувствовав взгляды мои,
Качнулась — и я задрожала! —
Ее голова, как головка змеи,
Готовая выпустить жало.

И вдруг загорелась под нею трава,
И платье ее почернело,
И птица пред нею упала, мертва,
А только что весело пела.

И встали
Безмолвными жертвами зла
У женщины той за спиною
Все те, кого в жизни она предала,
Кто стал ее вечной виною:

И те, что надолго запомнили зло,
И те, в ком обида уснула...
И, чтобы не множить собой их число,
Я в сторону молча шагнула.

ХЛЕБ

Ровесники нелегких лет страны —
Ее лишений, мужества, Победы,—
Мы измеряем памятью войны
Сегодняшние радости и беды.

И хоть длинней с годами этот мост,
Жизнь по нему ведет нас и доньне.
Птенцы из разоренных горем гнезд,
Росли мы на жмыхе да на мякине.

Не слышали о холе и тепле.
И потому — иным на удивленье —
На свежий хлеб, лежащий на столе,
Доньне мы глядим с благоговеньем.

Торопимся горбушку отломить,
Чтоб всех, с кем мы живем под общим
небом,

От всей души
Досыта накормить
Священным и незаменимым хлебом.

На шаг не отступая от идей,
Которым беззаветно служим сами,
Мы измеряем
Доброту людей
Готовностью
Делиться хлебом с нами.



* * *

Север колоч и снежен,
Ветрен. Неприхотлив.
И безгранично нежен
Шелестом хлебных нив.

Словно бы у порога,
Возле него стою.
Вижу я издалека
Прошлую жизнь свою.

Кедровые вершины,
Павшие под топор.
Спиленные сушины,
Брошенные в костер.

Штабель и бревнотаска.
Шорох ворон. Зима.
И не стеклом, а сказкой
Высветлены дома.

Он меня не прославил.
Я и не укорял.
Что-то я там оставил,
Что-то он потерял.

Он для меня не отчим,
Я для него как сын.
Помнится крепко очень
Горечь его осин.

Время мое метется.
Давит мне на плечо.
Может, и не придется
Свидеться нам еще.

Север мой, север жгучий;
Сила твоя в крови.
Если нависнут тучи,
Ты меня позови!

Марк Лисянский

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Вода льется из колодца
Без конца и края,
Той воды звезда коснется,
А потом сгорает.

Мы расстались у колодца,
Где рассвет встречали.

Ты сказала: «Обойдется...»
Я сказал: «Едва ли».

Вода льется из колодца
Влагой голубою,
То любовью обернется,
То лихой судьбою.

Не забыть того колодца
Под лозой тенистой.
Видно, пить уж не придется
Той водицы чистой.

Вода льется из колодца
Без конца и края.
В ней твоя душа смеется,
А моя рыдает.

Вода льется из колодца
Слаще, чем из крана.
Как живет, так поется,
Заживает рана.

Не забыть того колодца
Под густой лозою.
Из колодца вода льется
Светлою слезою.

Вода льется из колодца,
В ней звезда пылает.
Из колодца вода льется
И не убывает.

ТАКИЕ УЖ ГОДА...

То пусто, а то густо,
То днем сплошная ночь.
То вдруг любимой грустно,
А то тебе невмочь.

Такая уж эпоха,
Такие уж года!..
То другу очень плохо,
А то с тобой беда.

Печаль кого-то гложет,
А кто-то и во сне
Забуть войны не может,
Проклятья шлет войне.

Что делать! Жизни жалко,
То осень, то весна,
То холодно, то жарко,
А жизнь, а жизнь — одна!

Вселенная — не где-нибудь, вся — тут.
Что достается прочим зреньям, если
ночь напролет Юпитер и Сатурн
пекутся о занесшемся уезде.

Что им до нас? Они пришли не к нам.
Им недосуг разглядывать подробность.
Они всеущий видят океан
и волн всепоглощающих огромность.

Несметные проносятся валы.
Плавник преодолевает время оно,
и голову подьѐмлет из воды
все то, что вскоре станет земноводно.

Лишь рассветет — приокской простоте
тритон заблудший попадетсѧ в сети.
След раковины в гробовой плите
уводит мысль куда-то дальше смерти.

Хоть здесь растет — нездешнею тоской
клонима многознающая ива.
Но этих мест владычицы морской
на этот раз не назову я имя.

НОЧЬ НА ТРИДЦАТОЕ МАРТА

В ночь на тридцатый марта день я шла
в пустых полях, при ветреной погоде.
Свой дальний звук к себе звала душа,
луну раздобывая в небосводе.

В ночь полнолуныя не было луны.
Но где все мы и что случилось с нами
в ночи, не обитаемой людьми,
домишками, окошками, огнями?

Зиянья неба, сумрачно обняв
друг друга, ту являли безымянность,
которая при людях и огнях
условно мирозданьем называлась.

Сквозило. Это ль спугивало звук?
Четыре воли в поле, как известно.
И жаворонки всплакивали вдруг
в прозрачном сне — так нежно,
так прелестно.

Пошла назад, в ту сторону, в какой
в кулисах тьмы событьѧ созревало.
Я занавес, повисший над Окой,
в сокрытии луны подозревала.

И, маленький, меня окликнул звук —
живого неба воля и взаимность.
И прыгнула, как из веков разлук,
луна из туч и на меня воззрилась.

Внизу, вдали, под полною луной
алел огонь бесхитростного счастья:
приманка лампы, возожженной мной,
чтоб веселее было возвращаться.





ЕСЕНИНСКАЯ ТЕТРАДЬ

К 90-летию со дня рождения поэта

Егор Исеев

НА ВЫСШЕМ ПРЕДЕЛЕ

Есенин... Как о нем сказать?

Сказать — как выдохнуть. Только так. Сказать не с языка, а с сердца прямо. Самим Есениным сказать о Есенине, сказать самой Россией.

Есенин и Россия... Это — и широкое поле во все глаза, это — и темная кромка леса у горизонта, по краю того поля, это — и тонкий молодой месяц над темной кромкой того леса... И конечно же «дальний плач тальянки, голос одинокий — и такой родимый, и такой далекий».

Родимый! — точнее не скажешь. Как это больно и радостно подходит к Есенину.

Но только не одинокий, нет. Такие, как Есенин, одинокими быть не могут. Даже тогда, когда они одни, они все равно не одиноки, поскольку принадлежат всем. Они — пронзительны до каждого и касаемы всего. Такова природа таланта. Тем более такого чуткого, как у Есенина: общительность — до самоотрешения, отдача — на высшем пределе.

До войны я мало что знал о Есенине. Слышал что-то о нем — и все. Теперь-то я понимаю: это был тот самый слух, о котором говорил Пушкин, — «слух обо мне пройдет по всей Руси великой...». Это не только про себя, это и про всех тех великих, кто придет вслед за ним, в том числе и про Есенина. Слух о нем действительно достиг околицы моего

воронежского села, околицы моего сердца, а затем полонил его целиком. Полонил нежностью и грустью, болью и восторгом. Мыслью полонил, как чувством, и чувством, как мыслью, полонил. И — ничего по отдельности, все — в общей системе богатой, неостановимой природы.

Есенин!

Даже в самом имени его слышится что-то повеселенному радостное, звонкое и вместе с тем что-то тревожное, грустное... От осени что-то.

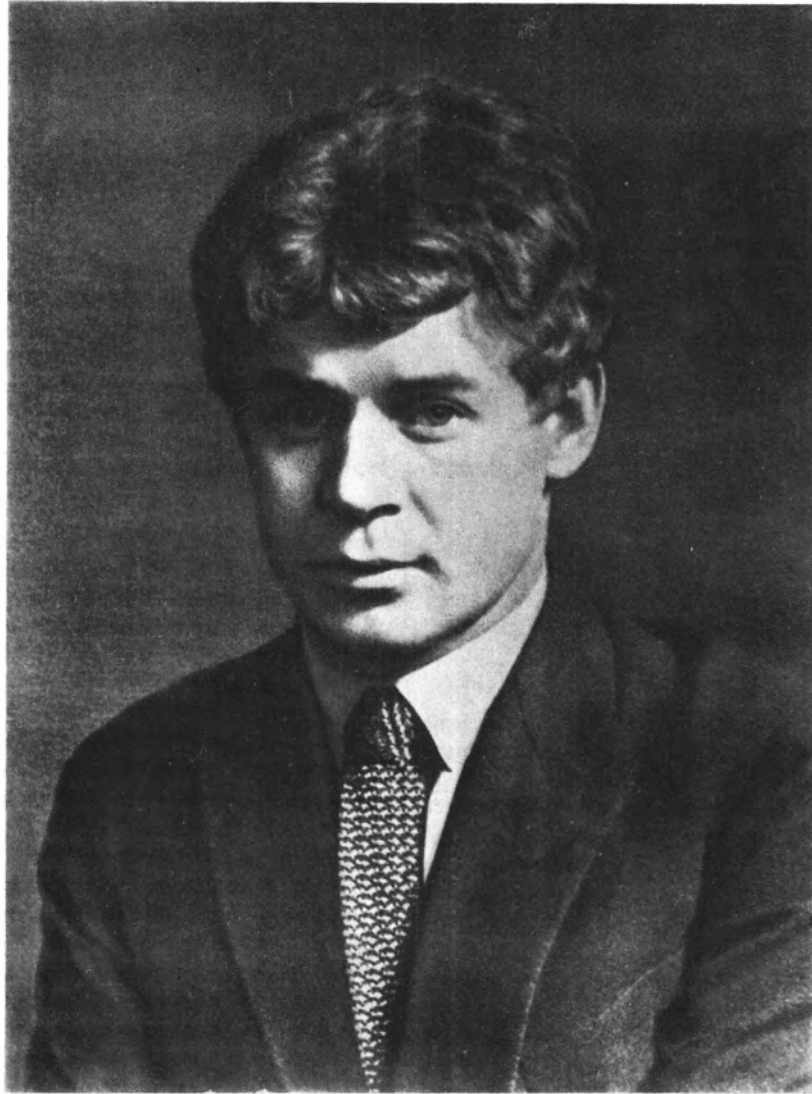
Первые стихи Есенина.

Прочитал ли я их тогда, или они сами навеялись мне? Не знаю. Одно скажу: такое чувство, что они с детства у меня на памяти, как на памяти у меня, скажем, запах сырого снега и гомон первых прилетных грачей с картины Саврасова... Я никогда их не учил наизусть — кажется, они сами однажды пришли ко мне на память и навсегда остались там.

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Чудо прямо, а не стихи! Кажется, что они даже не насочинены кем-то, а просто сырým ветром навеяны к сердцу с того преддвассветного озера, с той алой зари, из того сырого бора, где «со звонами плачут глухари...».

А возьмите стихотворение «Утром в ржаном закуте...». С каким соломенным, летним теплом среди пуховой снежной красоты сказано в нем о материнском чувстве собаки, о только что появившихся



на свет кутятах... И какая ледяная тоска больно сомкнется потом над черной бездной проруби, поглотившей эти малые, беззащитные существа!.. Синяя высота утреннего неба по отвесу лезвием упадет в сердце матери-собаки и высечет, выкровит оттуда горячие, как сами слезы, строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Больнее не скажешь.

Бытует мнение, что Есенин-де, мол, разбился о город. Возможно, в какой-то мере это и так. Только о какой город? — вот вопрос. Пролетарский или нэпманский? О пролетарский он разбиться не мог, поскольку сам труженик из тружеников — из крестьян, родственников в труде рабочему городскому люду. И доказательства тому налицо: у Есенина, во всем его творчестве, сколько вы ни старайтесь, не найдете даже и худого намека на то, что прямо или косвенно имеет отношение к работе вообще и к рабочему классу в частности. Другое дело:

Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

.....

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрете вы,—
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Да, эти слова напрямую обращены к городу. Но к какому! Уточню: к городу всевозможных эксплуататоров и всех сытно и праздно живущих особ.

То же самое можно сказать и о послереволюционной нэпманской части города, в частности о Москве кабацкой, именем которой и назвал впоследствии поэт свой большой цикл стихов. Это было своеобразной реакцией Есенина не на пролетарский, а на нэпманский город — город безвкусицы, духовного распада и мелких торгашей. О такой город он вполне мог разбиться, такой отважный и ранимый поэт. И если уж не насовсем, то, во всяком случае, душу свою открытую до самого больного зашибить ненароком мог. А так оно, в общем, и произошло.

Есенин сказал о себе, что он «последний поэт деревни». Эта мысль тоже, на мой взгляд, требует некоторых пояснений. «Последний поэт деревни» — это еще вовсе не означает того, что и деревня в таком случае последняя. Последней деревни вообще не было и не могло быть тогда.

Другое дело — старая деревня. Она, да, была,

но была уже, можно сказать, на исходе. В ней зарождалась новая деревня. И поэтому мне понятны чувства Есенина: он не мог без грусти не попроситься со старой деревней, как, скажем, с любимой бабушкой своей, и в то же время не мог — правда, не без некоторой настороженности — не поприветствовать деревню новых социальных начал, заложенных отчасти в основах старой деревни — в ее общине. И по-другому поэт чувствовать и мыслить не мог, а это значит, что и писать он не мог по-другому. Поступи он иначе, он бы потерял самое великое в таланте — право на искренность.

Мог ли на это пойти Есенин? Конечно же нет, не мог. Пойти на такое — это значит перестать быть поэтом, изменить своему природному дару переживать, мыслить, творить.

И Есенин переживал, мыслил, творил, постоянно пребывая сердцем и словом своим на перетоке, а точнее, на переломе сложных бытовых и социальных событий. Он, как истинный большой поэт, был диалектиком от природы, а не возвышенным ритором просто.

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Тут все: и неизбежность боли, и сама боль, детство века в образе жеребенка, и его же взрослость — его железная конница в образе паровоза. Есенин принимал железо — и не мог не принимать, как здравомыслящий человек, философ, политик, наконец, — а сердцем, каждым обнаженным нервом своим одновременно остужался о его же бесчувственную, нетелесную плоть. Но даже и тут социальное чутье ничуть не изменило ему. Одно дело — «железный Миргород» — Нью-Йорк, и другое дело — советская железная Русь. Разница между ними великая. Это чувствовал Есенин.

То же самое можно сказать и о его космическом чувстве земли, о чувстве от ее малого вершка под босой ногой до всевышних вселенских бездн над головой.

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Великий поэт, что и говорить! Потому-то он и предельно ранимый со стороны и беспощадно самобичующий себя изнутри. Помните его «Черного человека»? Так жестоко и так честно мог относиться к себе только истинно великий поэт. Равных в этом смысле ему я не вижу ни в далеком прошлом, ни сейчас...

На кой мне черт,
Что я поэт?..
И без меня в достатке дряни.

Пускай я схожну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!

Какая чугунная пощечина не себе, а разнуданному тщеславию вообще. Это где-то близко к пушкинскому «Пророку», к доверительным словам Маяковского — «сочтемся славою, ведь мы свои же люди...». Вот почему и поставлен памятник Есенину. И не только в Рязани... В душе!

Николай Любимов

«ВСЕ ЯВИСЬ, В ЧЕМ ЕСТЬ БОЛЬ И ОТРАДА...»

За современной поэзией я начал следить в ранней юности, но приворожил меня тогда пока еще только Есенин. В 26-м году мы с матерью на короткое время съездили в Москву и избегали весь центр, чтобы достать сборник его стихотворений.

Киоскерша на Арбате ответила так:

— Нет у меня Есенина. Он помер и больше ничего не сочиняет.

В конце концов нам посчастливилось...

Стихи Есенина дивили и дивят меня свежей образностью в передаче душевных состояний:

Сердце, тронутое холодком...

Был я весь — как запущенный сад...

Есенинская щемящая умиротворенность — это и мое душевное свойство:

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

И еще привязал меня к себе Есенин чувством родной природы и особым, одному ему присущим даром ее изображения:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень — рыжая кобыла — чешет гриву...

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком...

Бродя или проезжая лесом, я вспоминал есенинские строки:

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

И где Есенин, как мне представлялось тогда и в чем я совершенно уверен теперь, бесподобен — это в ощущении своего духовного и физического родства с животным и растительным миром. Есенин заставил нас посмотреть на животных и на растения

иными глазами, потому что сам увидел в них *душу живу*. Есенинские лисица, корова, собака, пес из «Исповеди хулигана», собака Качалова, сукин сын из одноименного стихотворения живут во мне как мои родные, как мои друзья.

Есенин не просто любит растениями, он и к ним испытывает нежность старшего брата:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Кленочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Я пронес любовь к Есенину сквозь глумление над ним критической шатии, сквозь временное охлаждение к нему читателей, сквозь надменное фыркание некоторых историков поэзии, которым по другому поводу Вересаев поставил в статье «О книжной пыли» точный диагноз (сказал врач!): «Склеротическая атрофия всякого живого человеческого чувства».

Впоследствии я нашел могучую поддержку у поэта. Я довольно часто бывал у Пастернака, подолгу беседовал с ним, вернее — подолгу слушал его. Как-то раз зашел разговор о Есенине.

— Мы с ним ругались, даже дрались, до остервенения, — вспоминал Борис Леонидович, — но когда он читал свою лирику или «Пугачева», так только, бывало, ахаешь и подсакиваешь на стуле.

М. М. БАХТИН О ЕСЕНИНЕ

В 1920-х годах Михаил Михайлович Бахтин прочитал курс лекций о русской литературе: ряд фрагментов из записи этих лекций уже опубликован (см., например, лекции о Л. Н. Толстом в альманахе «Прометей», 1980, т. 12, о Вячеславе Иванове в сборнике работ М. М. Бахтина «Эстетика словесного творчества», о Маяковском в «Дне поэзии 1983»).

Немалый интерес представляет и лекция о Есенине, прочитанная вскоре после гибели поэта — в 1927 или 1928 годах. Она важна и для объективного понимания есенинской поэзии, и как факт истории литературной мысли, отстоящей от нас почти на шестьдесят лет.

Лекция внутренне полемична, и, по-видимому, главный адресат полемики — Николай Клюев, который в середине двадцатых годов не раз встречался с Михаилом Михайловичем в доме известной пианистки М. В. Юдиной на Дворцовой набережной. Николай Клюев стремился истолковать свою поэзию (а также и есенинскую) как прямое и непосредственное продолжение вековой народной традиции. Но это противоречило несомненным фактам. Первые стихи Клюева, относящиеся к 1904—1906 годам, представляли, по резкому, но верному определению исследователя его творчества В. Г. Базанова, «набор штампованных фраз, взятых напрокат у многочисленных эпигонов Надсона» (некоторые из этих стихов открывают новейшие издания наследия Клюева). Поэт вышел на свою истинную дорогу лишь после того, как глубоко пережил поэзию Блока, с которым он вступил в переписку в конце 1907 года. Лишь тогда Николай Клюев нашел путь к подлинному творческому восприятию (рецепции) ценностей народной культуры.

М. М. Бахтин едва ли мог знать эти факты поэтической биографии Николая Клюева (они были выявлены

лишь в последнее время). Но тем интереснее и значительнее его размышления о пути становления поэзии и Клюева, и Есенина.

В заключение нельзя не подчеркнуть, что перед нами не текст, написанный М. М. Бахтиным, а студенческая запись прочитанной им лекции (запись сделана Р. М. Миркиной).

Вадим Кожин

М. М. Бахтин (1895—1975)

ЕСЕНИН

Запись лекции

Говорят, что Есенин возник непосредственно из Кольцова, а также из глубин народных. Но это не так. Кольцов — это эпизод в русской литературе. Могли оказаться созвучия с ним, но возникнуть из него, и еще в XX веке, невозможно. Также выйти прямо из глубин народных в XX веке литературное явление не может: оно должно прежде всего определиться в самой литературе. И, конечно, Есенин не метеор, упавший неведомо откуда неведомо куда. Он явился как совершенно литературное явление из Клюева, который бесспорно является представителем русского символизма.

В русском символизме очень ярко проявилось мифологическое течение¹. То, что миф есть первоначальное искусство, стало уже старой истиной. Но обычно указывают лишь генетическую сторону, происхождение искусства из мифа. Вяч. Иванов говорил другое: поэзия от мифа уйти не может, на своих

¹ Имеет смысл оговорить, что М. М. Бахтин исходил из характерного для тогдашней поры весьма расширительного представления о символизме, которое впоследствии оспаривалось. Впрочем, и поныне некоторые литературоведы связывают с символизмом более или менее широкий круг имен, включая в него и тех поэтов и прозаиков, которые не считали себя символистами. Если понимать под «символом» специфический вид образа, не только обладающий прямым и предметным значением, но и таящий в самом этом значении гораздо более глубокий и обобщающий смысл (например, образ весны у Блока или осени у Есенина), эта точка зрения становится по-своему оправданной. То же самое следует сказать и о понятии «миф». В течение определенного периода это понятие в применении к современной литературе считалось неуместным или даже ложным. Однако в последние годы многие литературоведы и критики отстаивали законность и плодотворность понятия «миф» при исследовании не только литературы прошедших эпох, но и сегодняшних творческих исканий. Эта точка зрения со всей ясностью выразилась, скажем, в дискуссии 1978 года на страницах «Литературной газеты» (начатой статьей Л. Аннинского «Жажу беллетристики»). Конечно, позиция М. М. Бахтина и теперь может служить предметом споров; но не будем забывать, что публикуемая лекция прочитана почти шестьдесят лет назад. — *Примеч. публикатора.*

основах она опять вернется к мифу. Поэтому для него слово в мифе — это смысл слова. Но он обособил свою теорию только теоретически. У Сологуба также намечается тенденция вернуться к мифу. Далее это стремление принимает народный характер...

В связи с тяготением к мифу у писателей проявился большой интерес к сектантству. В сектантстве живо не только воспоминание о мифе, но и душа мифа. Христианское сектанство тем и отличается от ортодоксального христианства, что в нем жива и большая связь с мифом. Ремизов вообще очень близок к хлыстовству и хорошо его знает, а туда проникнуть очень нелегко. Связь с хлыстовством есть и у Белого. Так что почти все символисты близки к мифу. Но нельзя считать, что они продолжили традиции мифа: они изнутри себя выработали такие интересы, которые и привели их к мифу. Рецепция совершенно независимо идет своим путем и лишь тогда, когда самостоятельно доходит до старых моментов и совпадает с ними, возвращается назад. И, конечно, здесь старое подвергается глубокой переработке, получает другой дух, другой смысл. Между рецепцией и традицией — бездна. Было бы грубой ошибкой считать, что символизм шел по традиционному пути исторической преемственности; но на его пути произошли различные рецепции. Так, в русской символической живописи произошла рецепция иконописи у Врубеля и Нестерова. Но их нельзя вывести из традиции богомазов: они вышли из современной живописи. Так что возвращение символистов к мифу — сплошь их заслуга.

Когда мы обращаемся к поэзии Клюева, то должны помнить, что у него рецепция, что он вышел из символизма; всё его московское, русское насквозь проникнуто заданиями символизма. Клюев принадлежит к раскольникам, то есть к тем, где живы традиции мифа; был и в хлыстах. Так что персонально он примыкает к традиции. Если бы Клюев знал только традиции, он остался бы у себя в деревне. Но он пришел в город, подчинился символизму и его требованиям. Своя традиция помогла ему рецептировать. И Клюев здесь не один, а один из многих. Он, моложе многих своих современников, нашел готовые пути и, вступив на них, внес много нового.

Между Клюевым и Есениным аналогия полная. И Есенин явился в город, приобщился к традиции русской литературы, сделал ее задачи своими и, сделав своими, смог уже рецептировать. Формально Есенин целиком примкнул к Клюеву, но он сразу внес в поэзию другой оттенок: у него нет хлыстовства и мифологичности...

Еще поэт, который также определил Есенина, — это Блок. Между ними отношения самые нормальные и хорошие — ученика и учителя. Есенин вышел из этой школы, прошел ее и научился литературе. В деревне он научился петь песни, и это помогло ему понять крестьянство, но научили его поэзии Блок, Клюев и, конечно, другие. Направления Клюева и

Блока стали сливаться у Есенина в синтез, но затем пришли другие учителя, другие школы, внешние, чуждые ему, которые только испортили. Имажинистом Есенин никогда не был, и то поверхностное и наносное, что принес имажинизм, сказало уже в сложившемся Есенине.

Таковы ближайшие литературные влияния, которым подвергся Есенин. Они очень тесно ввели его в русскую литературу. Чтобы войти в литературу, нужно к ней приобщиться и, приобщившись, внести уже свой голос. Так что Есенин — не случайный гость в литературе, не стоит вне ее истории. Конечно, в дальнейшем, когда он рос, он учился и подвергся влиянию Пушкина, Лермонтова, Фета, но основной стержень его поэзии остался тем же. Есенин жил недолго, и сделать многое ему не удалось, но для своих лет он сделал немало.

Особенностью языка поэзии Есенина является соединение народного с литературным. Это соединение обычно. Здесь он приближается к «железнодорожным» стихам и стихам, посвященным Родине, Блока. Так что с лексической стороны Есенин воспринял готовую стихию. Отличает его от Блока наличие более областного, крестьянского элемента. Но и провинциализмов особых мы у него не найдем, как у Городецкого, Ремизова, у которых представлен язык определенного круга России. У Есенина — обыкновенный язык: он не работает тонкими национальными нюансами, его язык ближе к центру. Но, беря слова, близкие к центру, Есенин дает их в таких контекстах, которые их преобразуют. Это достигается характером его метафоры. Метафора не может не быть эмоциональной, но все дело в удельном весе эмоциональности. Метафора Есенина близка блоковской, но она не так сильно эмоционализирована: некоторым образом сближается с метафорой Вяч. Иванова. Вообще метафора Есенина не боится света, сознания; это метафора предметная, стремится выдвинуть предмет. Но вместе с тем он сближает солнце с теленком или котом, переходит непосредственно от избы к космосу; подробности избы связывает с космическими явлениями — солнцем, днем, ночью, жизнью, смертью. Никаких инстанций между ними нет. Что же позволяет Есенину их соединить? Низкие предметы он берет без самого низкого оттенка, а предметы высокие берет в том стиле, где не выступает их высокая сторона. В символе более высоком дается его преломление в предмете, а низкий изымается из прозаического контекста, возводится выше своего обычного ранга. В хате нет всего того, что делает ее низкой, нет пауков и тараканов, солнце же дается не само по себе, а проникшее в избу или отраженное в луже. Так что кривой здесь нет, как у Блока, где высокое еще выше, а низкое еще ниже. У Есенина — равнодостоинство, содружество предметов, а не резкий мезальянс. У него, конечно, линия кривая, но кривая приятная, мягкая, волнистая: так можно графически изобразить его стиль...

Ритмика определяется разными факторами. Строки, с точки зрения метра одинаковые, могут быть различными с ритмической стороны. Необычным синтаксическим распределением слов можно создать ритм. Так, у Анненского слово в одинаковой ритмической фразе с точки зрения смысловой приобретает разное значение; в одном случае становится легким, в другом — весомым; одно слово легко скользит, другое медленно, тяжело плетется вперед. Интонационный фактор у Есенина тоже играет большую роль. Не будь интонационного фактора, его ритмы были бы бедны.

Таковы основные формальные особенности поэтики Есенина.

Главной темой поэзии Есенина является тема деревни, в центре которой стоит изба и избытная жизнь; космические ценности воплощаются в образы избыной линии, переводятся на избыной язык; надо всем доминируют сложные и тонкие отношения между вещами избы, например, с образом печи. И у Клюева — избыной мир, и в центре его печь со всей массой отношений, с ней связанных. Но если у Клюева в печи дан символ мирового, космического целого, избыной религии, имеющей мифологическое значение, то у Есенина преобладают лирические тона, интимно-лирические развертывания; но есть у него и мифологический элемент. У Кольцова мифологизм как сознательный момент отсутствует. Но раз он брал темы, исходившие от народа, то к нему нечаянно, как бы контрабандой, проник и мифологизм. Есенин хотел сохранить связь между микрокосмом избы и макрокосмом мира, но ему это менее удалось, чем Клюеву. Его поэзия не лишена мифологизма, но более интимна и человечна. Поэтому Клюев остался понятным лишь для небольших кругов читателей. Поэзия Есенина переведена с высот мифологических в интимно-лирический план и поэтому стала доступна всем. Если мы сравним их поэзию абстрактно, то придем к выводу, что главная тема перешла к Есенину от Клюева, но подверглась ограничению, своеобразной конкретной обработке; здесь имеет место влияние, но претворенное...

Таков первый период в творчестве Есенина.

Во втором периоде на смену приходят блоковские темы — кабачки, цыганщина, но принявшие совершенно другое выражение. Сказалось еще влияние Маяковского, имажинистов. От первоначальных влияний Есенин не отошел, но блоковское влияние расширилось. Поэтому говорить о переломе в творчестве Есенина нельзя. В раннем периоде были потенциально заложены элементы, достигшие теперь господствующего выражения.

В первом периоде основная тема — деревня как микрокосм, отражающий лирически макрокосм мира. Теперь деревня отступает на задний план и выступает город, но происходит реминисценция: как раньше виделась дорога, так теперь видится улица. И если содержательный момент близок Маяковскому, то подход к нему другой. За городскими обра-

зами скрывается другой план — разложение и гибель. В личном отражено общее социальное явление: уход старой России, которую любил Есенин. Это сказалось и в деталях: и предметы начинают разлагаться, распадаться. Но при этом разложение понимается не реалистически, как у Маяковского, а обогащено, как у Блока цыганщина, символическим элементом... Даже в «Москве кабацкой» разложение России связано с символом. Поэтому, когда отойдет эта эпоха в прошлое, благодаря символическому углублению поэзия Есенина не умрет.

К концу творческого пути у Есенина появилась новая тема — тема двойника. «Скучно мне с тобой, Сергей Есенин...» и «Черный человек» разработаны по-блоковски очень глубоко. Тема двойника явилась как бы завершающей в творчестве Есенина...

Характерно для Есенина, что он особенно тесно связан с эпохой Октября. Он сросся с нашей эпохой, но только тематически. Тема выделилась благодаря хронологической близости, но форма осталась все той же.

1927—1928

Публикация В. Кожина

ПОЭТЫ ЕСЕНИНСКОГО КРУГА

В год, когда отмечается 90-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина, нельзя не вспомнить поэтов есенинского круга, поэтов «новокрестьянской» плеяды.

Эти страницы «Дня поэзии» знакомят читателя со стихами Пимена Карпова, Алексея Ганина и Ивана Приблудного, чье поэтическое наследие представляет интерес отнюдь не только исторический. Близкие друзья Сергея Есенина, Николая Клюева, Петра Орешина, они, каждый по-своему, продолжали и развивали традицию «крестьянской» поэзии, идущую от Алексея Кольцова и Ивана Никитина.

Пимен Иванович Карпов — ровесник Николая Клюева, человек нелегкой судьбы, поэт-самоучка, выходец из бедной крестьянской семьи. Наиболее программный в своем «крестьянском уклоне» из поэтов есенинского окружения, П. Карпов был проповедником «мужицкой революции» начиная с 1905 года. В 1909 году вышла первая книга Пимена Карпова — сборник статей-памфлетов «Говор зорь», на который сочувственно откликнулся Л. Н. Толстой («Биржевые ведомости», веч. вып. 1909, 17 декабря). Тогда же между всемирно известным писателем и начинающим литератором-самоучкой началась переписка. В эти же годы П. Карпов устанавливает личные и творческие контакты с Александром Блоком, который позже высоко оценил повесть П. Карпова «Пламень», вышедшую в свет в 1913 году, а затем конфискованную и уничтоженную царской цензурой.

После Великой Октябрьской революции П. Карпов активно публикуется в советской прессе. В 1920 году выходит в свет его сборник рассказов «Трубный голос». В 1922 году в издательствах «Поморье» и «Новая жизнь» издаются сборники стихов «Звездь» и «Русский ковчег». Отдельными изданиями выходят драматические поэмы «Богобес», «Три зари».

Начиная с 1926 года П. Карпов перестает писать стихи и целиком отдается прозе, носящей в основном автобиографический характер. В 1933 году вышла в свет повесть «Верхом на солнце», а следующая и последняя прижизненная книга — повесть «Из глубины» — была издана спустя 23 года — в 1956 году.

Алексей Алексеевич Ганин — почти ровесник Сергея Есенина, одновременно с ним пришедший в большую литературу. Выросший в семье зажиточного крестьянина, он окончил вологодскую гимназию, после чего учился в медицинском училище и Вологодском педагогическом институте. Летом 1914 года А. Ганин был мобилизован и проходил военную службу в Петрограде, где печатался в столичных журналах и где в 1916 году состоялось его знакомство с Сергеем Есениным, Николаем Клюевым и Пименом Карповым.

Близкий друг С. Есенина, «товарищ по чувствам, по перу», Ганин был «поручителем» со стороны невесты при бракосочетании С. Есенина и З. Райх. Еще ранее он оказывал Есенину посильную помощь в издании в Вологде до сих пор не найденной антивоенной поэмы «Галки». Свой сборник «Красный час», вышедший в Вологде в 1920 году, А. Ганин посвятил «Другу — что в сердце мед, а на губах золотые пчелы-песни — Сергею Есенину». Тогда же в Вологде выходят литографированные сборники стихов А. Ганина «В огне и славе», «Вечер», «Певучий берег», «Кибураба», «Раскованный мир», «Священный клич», «Золотое безлюдье». В 1921 году в Вологде же издаются сборник стихотворений «Мешок алмазов» и поэма «Сарай», а в Москве — поэма «Звездный корабль».

В 1922 году А. Ганин переселился в Москву, где в конце 1923 года принимал участие в поэтических вечерах совместно с Николаем Клюевым и Сергеем Есениным и где в 1924 году выходит в свет его последняя книга — сборник избранных стихотворений и поэм «Былинное поле».

Иван Приблудный (настоящее имя — Яков Петрович Овчаренко) принадлежит к поколению поэтов, чья ранняя юность пришлось на годы гражданской войны, эпохи «военного коммунизма» и первые годы нэпа. Бывший боец 2-й черниговской дивизии, которой командовал Г. И. Котовский, юный поэт в 1922 году начинает учиться в руководимом В. Я. Брюсовым Литературно-художественном институте. В 1923 году состоялось знакомство И. Приблудного с Сергеем Есениным. В 1923—1925 годах Приблудным было написано немало стихотворений, в которых он открыто подражал своему старшему другу.

Первые стихотворения И. Приблудного появились в печати в 1923 году. В 1926 году вышел в свет его первый сборник стихотворений «Тополь на камне». В 1931 году была издана вторая и последняя прижизненная книга стихов «С добрым утром».

Сатирическое стихотворение «Случай в Монреале» печатается по сборнику «С добрым утром» (М., «Никитинские субботники», 1931). Это своеобразная пародия на идеализацию заокеанского образа жизни.

Сергей Куняев

Пимен Карпов 1884—1963

ЧЕРНЫЙ ЗНАК

Звездю темною пророка
В подземной копотной избе
Я рос, покорный гнету рока
И жуткой пахаря судьбе.

Предела не было порывам,
Любви неисчерпаем пугу!
Я тщетно верил дням счастливым,
От мук не в силах отдохнуть...

Мистер сядет на диване,
ноги выбросит на стол,
скажет горничной иль няне,
чтоб сосед к нему зашел.

И войдет сосед, кивая,
рад подвыпить после дел,
и до самого «гуд-бая»,
все «ол-райт» да «вэри-вэл»...

Выйдет стройненькая Мери
за последнее жилье;
милый Билли среди прерий
с поцелуем ждет ее.

И поймет она, встречая,
как он мужествен и смел,
и до самого «гуд-бая»,
все «ол-райт» да «вэри-вэл»...

Город прериями дышит,
мреют горы позади,
море катеры колышет
на вздыхающей груди...

Я всю жизнь мою разлажу,
мне до смерти будет жаль,
если к этому пейзажу
не подходит Монреаль.

Кто б поверил, что бесплатно
что хочу я — то беру,
кто б подумал, что так складно
и так здорово я вру.

Дело в том, что... извиняюсь,
как ни стыдно, как ни жаль,
все же каюсь, я не знаю,
что такое Монреаль.

Просто вычитал я где-то
это слово под шумок
и решил, что для поэта
не помеха сотня строк.

Относительно ж «гуд-бая»
и других таких приправ,—
даже города не зная,
я уверен, что я прав...

.
Предки лгали, деды ввали,
я ль в наследье виноват...
Дело было в Монреале,
года три тому назад.

Декабрь 1927

Публикация Сергея Куняева





Михаил Львов

ИЗ «КНИГИ ЖИЗНИ»

* * *

Снова спешу —
 заказал еще с вечера,—
Мчусь на такси
 мимо —
 вновь! —
 Новодевичьего,
Еду,
 спешу в Шереметьево снова...
Мимо Сельвинского
 и Луговского,
Мимо Луконина
 и Смелякова.

Право имею ль
 на гонку
 на эту —
Чтобы так мчаться
 по этому Свету —
Мимо друзей —
 на таких скоростях,
Чувствуя:
 сам
 на планете —
 в гостях...
...Кто-то
 когда-то,
 машину гоня,

Так же промчится
 и мимо меня
И не попросит прощенья
 хоть мысленно —
Мимо меня
 просвистит
 независимо...

* * *

Не приемлющая
 поражений,
Против вражеского острья,
На особое
 положенье
Переходим душой,
 страна...
Происходят события
 грозные,
И, покамест
 не подорвались,
Мы —
 в ответ
 — на дела серьезные —
Инстинктивно
 подобрались.
Не впервые такое дело...
Каждый воин
 и гражданин
Нынче
 держит
 душу и тело
По готовности
 номер один...

ЗИМА

I

Я многого хочу.

К примеру — зимы морозной.

Чтобы сугроб в сажень.

И чтоб дымок курился паровозный

Над кровлями деревень.

Чтобы трещал мороз

И чтоб Светило,

Погружено в небесный купорос,

Едва светило.

Чтоб были дни короче

Фразы Цезаря

И ледяными литерами врезаны

Посередине ночи.

Чтобы пронзительные очи холода

Смотрели строго,

Чтоб звездочка была приколата

На грудь сугроба.

II

Мороз! Накликал сам! Ведь слово — колдовство!

Пророчества свои произносить не стоит.

А я призвал Мороз. Зачем призвал его?

Теперь, как псы, у нас ночами печи воют.

Мы можем иногда владеть толпой причин

И силою страстей влиять на ход вселенной.

Но следствия темны. И лучше промолчим.

И лучше не дадим свободы воле пленной.

III. ЗИМНИЙ КОМАР

Зима. И вдруг — комар. Он объявился в доме.

Звенит себе, поет, как летнею порой.

Откуда ты, комар? Как уцелел в разгроме?

Ты жив еще, комар? Ты — истинный герой!

А на дворе метель. И ночь зимы ненастной.

В окне сплошная темь. В окно гремят ветра.

А здесь поет комар — уже он безопасный.

И можно уважать упорство комара.

Он с лета присмотрел укромное местечко.

И вот теперь гудит, как малый вертолет.

Слились в единый хор метель, и он, и печка.

Не бейте комара! Пускай себе поет!

А может быть, придут дни поздних сожалений,

И мы сообразим, что в равновесье сил —

Ветров и облаков, животных и растений —
Он жил совсем не зря и пользу приносил.

И станет славен он, зловерный сын болота,

И в Красной книге как редчайший зверь храним,

И будет на него запрещена охота.

И станет браконьер охотиться за ним.

Гудит, поет комар, ликует напоследок,

Он уцелел в щели и рассказал о том.

Не бейте комара, хотя б за то, что редок.

А польза или вред узнаются потом.

IV. ПОСЛЕ СУРОВОЙ ЗИМЫ

Снег все же начал таять. Суть

Победна. И весна хоть робко,

Но начала торить свой путь.

Уже подтаивает тропка.

Уже черны деревья так

В рисунке своего скелета,

Что могут сохранить костяк

В роскошном оперенье лета.

Уже на новом рубеже

Стоят небесные светила.

И время летнее уже

Нам радио провозгласило.

Так побеждает суть. В саду

Вокруг деревьев глубже лунки.

И веселят на холоду

Синиц серебряные струнки.

Суть перемен уже ясна.

Пусть неустойчива погода,

Грядут иные времена

Извечно, как у Гесиода.

Снег начал таять. В этом суть.

И здесь мерило высшей пробы:

Уже весна торит свой путь

И формы тают, как сугробы.





Юрий Гордиенко. 1944 год.



Владимир Жуков. 1944 год.



*Марк Лисянский. 1943 год.
Юго-Западный фронт.*



*Николай Панченко. 1944 год.
Украинский фронт.*



*Руфь Тамарина. 1942 год.
Западный фронт.*



*Виктор Федотов. Зима 1944 года.
Ленинградский фронт.*

* * *

Оставив чѣрту лотерею,
Остановился — не отстал.
Не оттого молчу, что стар,
Но от молчания старею.

Еще столетье — и прозрею:
Прозрение — молчанья дар.

* * *

Осенние листья ложатся
На жухлую зелень травы.
Им хочется здесь задержаться
Хотя бы до новой листвы.

Играют промокшие дети.
Шуршат старики у огня.
Ах, третье,
Ах, тысячелетье
Неужто уже без меня?!

Какое-то утро ли, вечер.
Стена ли, доска на стене.
Ах, если я только не вечен,
То много ли толка во мне?..

* * *

Жизнь прожита,
осталось досказать,
Не сетуя,
Спокойно, как о прошлом.
Но подлинное, тронутое пошлым,
Давно торопит нитку надвязать
И дальше лезть...
Куда нам лезть, мой свет?
Не позабыть того,
Кого уж нет,
Не позабыть того, мой свет, что было,
Что сердце вряд ли сможет сохранить.
Из полных слов сплести живую нить
О том, как я любил,
Как ты любила.

Александр Межиров

* * *

За то, что мной (наперекор природе)
Он сделаться возжаждал, но не смог
(Хотя вначале получалось вроде),
Мне жить всю жизнь взаимы и под залог.

Зачем ему природа помешала
И перевоплотиться не дала?!

Он повторял мои слова сначала,
Потом мои поступки и дела.

И вот за то, что перевоплотиться
Так и не смог, потратив столько сил,
Не хватит жизни мне, чтоб расплатиться
За то, что он однажды натворил.

* * *

Если кто по природе талантлив или даровит,
Но в душе не имеет совсем никакого призванья,
Он заместо того, чтоб творить,—

говорит,

говорит,

говорит,

Завышая свои и чужие ученые званья
И количество взятых и выученных языков,
И покаяться в этом от чистого сердца готов.

Он выслушивать не умеет.

(Многих черта роковая.)

И, собеседника перебивая,

прерывая беседы нить,

О собственном мужестве говорит,

совершенно не сознавая,

Что ниже нельзя унизиться

и достоинство уронить.

И постепенно в нем

начинает меняться что-то,

И волос не только редеет,

но и все более бел.

А где-то маячат сроки итога иль отчета.

О чем?

Да о том, что дерева он посадить не успел.

А он все говорит,

говорит,

говорит, не остановится,

Стоя на голой земле,

на которой даже трава не растет.

И тогда он опасным

для близких и дальних становится,

Чувствуя, что приближается не расплата,

а, как бы сказать,

расчет.

Он живет все неистовой.

Но, по внутренней, тайной сути,

В нем так пустынно и глухо,

когда и живое —

мертво.

И тогда он себя предлагать начинает

в третейские судьи —

И находится кто-нибудь,

кто понимает его.

А он все говорит,
 говорит,
 говорит,
 заговариваясь и шаманя,
Принимая загадочный
 и многозначительный вид,—
Когда человек не имеет в душе
 никакого призванья,
Но между тем
 по природе талантлив
 или даровит.

Юрий Гордиенко

ПОПУТЧИЦА

Вся дорога в воронках и трещинах,
В отгремевшего боя следах,
По бокам,
 на шестах перекрещенных,
Полевые висят провода.
У обочины регулировщик
Шелушит переспевшую рожь...
Я сверну к батареям у роши,
Ты к палаткам санбата свернешь.

Эта встреча померкнет с годами,
Как над полем рассеянный свет.
Разойдется с твоими следами
Мой — случайно сошедшийся — след.
Будет трассами пуль перечеркнут
Этот день с отдаленной пальбой...
Просто шла по дороге девчонка,
Шла, хорошая, рядом с тобой!

А быть может, по старому следу
Через годы сюда я приеду,
В этот край, в эту рожь забреду.
И припомню военное лето,
Путевой разговор на ходу,
Колоски перезревшего хлеба,
Что на землю роняли зерно,
Да в зените высокого неба
«Ястребков» боевое звено.

И, припомнив, пойму с опозданием,—
Будем мы над собой не вольны,—
Что я жил, ожидая свиданья
С той, которую в годы войны
Сквозь хлебов шелестящую путаницу
Ни внимательно, ни горячо
Проводил, как случайную спутницу,
Взглядом,
 брошенным через плечо.

ПРИ ВЗЯТИИ ВИЛЬНЮСА

Еще вчера мы были в жарком деле.
Дома в кварталах города редели.
Но, чудом уцелевший, там, в дыму,
Стоял костел...

 И целую неделю
Не прилетали голуби к нему.

Еще вчера снаряды с воем длинным
На крепостной обрушивались вал;
Бездымный порох пухом голубиным
На батареях землю устилал...

Грубее руки стали в деле бранном,
Сердца не стали жестче и грубей.
Бой отошел...

 Перед костелом Анны
Мы кормим хлебом белых голубей.

ТРОПА САМУРАЯ

Хвалили его генералы,
Пророка победы в пути:
— Ты сможешь дойти до Урала,
До Белого моря дойти!
Иди же, границы стирая,
Послушный сигнальной трубе,
Отвага и меч самурая
Проложат дорогу тебе!

Сбылось...
Ни оркестра, ни флага,
Ни славы походов и сеч.
Не нужен ни меч, ни отвага,
Чтоб русский рубеж пересечь.
Теперь, во главе с генералом,
С колоннами пленных в пути,
Ты сможешь дойти до Урала,
До Белого моря дойти.

Сентябрь 1945

Юрий Воронов

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Эта весть
Ворвалась к нам с рассветом,
Оглушая,
 дурманя,
 пьяня.

И не надо мне
Белого света,
Если б не было
Этого дня.

Он пришел
Не внезапно как будто,
Но, быть может,
Лишь слыша салют,
Мы вдруг поняли:
С этой минуты
Ни тебя, ни других
Не убьют.
И о мертвых —
Далеких и близких —
Боль очнулась,
Ударив в сердца.

...Люди снова
Идут к обелискам:
Сорок лет! —
И не видно конца.

МАТЬ

У ней счастливей не было лица:
Пошел сынишка!..
Женщина готова
Рассказывать об этом
Без конца,
Вот только о себе самой —
Ни слова.

А было так:
Он, что-то лепеча,
Поднялся вдруг,
Качаясь от волнения,
И две ее руки,
Как два луча,
Ему
Определили направленья.

И страх его
Растаял неспроста,
Когда он зашагал,
Круша преграды:
Ведь две ее руки,
Как два щита,
Все это время
Находились рядом.

И он прошел
От стула до стола,
Хоть пол шатало,
Будто на причале;
Ведь две ее руки,
Как два крыла,
Парили
Над сыновними плечами.

Наступит время:
Сын — через порог.
За встречами —
Отъезды и разлуки...

И у начала
Всех его дорог —
Опять ее
Протянутые руки.

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Вошла в вагон,
К окошку села,
Нашла в портфеле письмецо.
И, вспыхнув,
Сразу потеплело
Ее уставшее лицо.

Других
Не видя и не слыша,
Перебирала
Струны строк...
Никто не знал,
О чем ей пишут,
Но не угадывать не мог.

И, постигая
В каждом слове
Его значенье до конца,
Она
То вскидывала брови,
То улыбалась в пол-лица.

И стали тише почему-то
В вагоне
Смех и голоса:
Один припомнил на минуту
Другие —
Грустные глаза.

А тот —
С заметной сединою —
Все думал, продолжая путь:
Послал ли он письмо такое
Кому-нибудь
Когда-нибудь?..

ДОРОГИ

Дорога поет,
Если к дому дорога.
И плачет —
Когда от родного порога.
И если тебе
Эта боль незнакома,
Не жил ты вдали и подолгу от дома.

Я против дорог
Ничего не имею.
Мы с ними
Становимся зорче и крепче.

Безмерен путь. Века неисчислимы.
Медлительно кружение планеты.
Мотают кони гривами седыми.
В Галактику уносятся ракеты.

Дорогу выбирают не случайно.
А что не так — легко поправит вечность.
Неиссякаемы
река Почайна,
и сила духа в нас,
и человечность.

* * *

Вышел за спичками — и десять лет
нет человека.
Только отравный осенний свет
стонет от ветра.

Люди, вокзалы, костер в лесу.
Нет, он не спился.
Вытер однажды в пути слезу
и воротился.

Кашляет хрипло, чужой, больной,
порченный светом.
— Что же случилось с тобой, родной?
— Стал человеком.

* * *

Не беснуйся. Ничего
не изменится на свете.
Те же слезы, тот же ветер,
шутки мужа твоего.

А ведь рядышком идет
чуть заметная дорога,
ах, дороженька-тревога,
ты конечно же не в счет.

Там один туман-обман
и конец — на пепелище,
там в кримпленовый карман
исхудавший ветер свищет.

Гневно шубу запахни,
плюнь в сумятицу прибора,
погляди, какие дни
юг урвал для нас с тобою.

Понимаешь все сама
и давно не веришь в чудо.
Начинается зима.
Уезжать пора отсюда.

Юрий Денисов

* * *

К нам осень пришла,
и, наверно, всерьез:
вон с ветром листве
все труднее бороться!
И падает прозолоть
с тонких берез
на след экскаватора
возле болотца.
Пожухлые травы
приникли к земле...
Но я, как всегда,
прихожу на работу,
раствор приготовлю
в тяжелой бадье
и краном подам
сквозь листья позолоту.
И сам поднимусь
на высокий этаж,
откуда видны
все таежные дали,—
увиду в осенней дали,
как мираж,
весеннюю даль
Магистрали.

Геннадий Гоц

СТЕПНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

Я никогда в салонах не читал —
Гостеприимных пристанях поэтов.
Когда в сугробах тонет самосвал,
Сокровище — степной вагон согретый.

Лишь тот оценит эту благодать,
Кому наш быт дорожный стал привычным.
Хозяин щедр: укажет на кровать
И скажет:
— Чем не «Гранд-отель» столичный?

Склонясь над картой, видит бригадир,
Где трассе газопровода светиться.
И в книги, что зачитаны до дыр,
Уткнули парни бронзовые лица.

Их по утрам не будят петухи.
Здесь трубы в землю — как слова в поэмы!
Давай сперва послушаем стихи,
Ну а потом — все важные проблемы!

Как волны в скалы, ветер бьет в вагон,
Беснуется пурга неудержимо,
И, вздрагивая стеклами окон,
Он, кажется, от натиска пружинит.

Каким словам и место здесь, и честь,
Каким стихам братва внимать готова?
Как хорошо, когда с собою есть
Видавший виды томик Смелякова.

И в час такой сиди, не многословь —
Тут знают цену мастерам на деле.
Читают парни «Строгую любовь»
Под завыванье бешеной метели.

С рассветом руки стиснут рычаги,
Бульдозеры взревет могучим ревом,
И бригадира скорые шаги
Проложат первый след на «нитке» новой.

Когда, простившись, ты прикроешь дверь,
Туда уедешь, где идут премьеры,
Ночами помни, как в земную твердь
Врезаются степные инженеры.

ПЕСНЯ

*Памяти поэта-сибиряка
Бориса Богаткова, героически
погибшего при штурме вы-
соты 233,3 под г. Эльней*

Ты слышишь грохот батарей?
Твоя пора настала:
Читай последний стих скорей,
Бесстрашный запевала!

Последний шаг не так-то прост,
И цепь к земле прижата...

Но с песней он поднялся в рост,
И поднялись солдаты.

Был страшен их священный гнев,
Рванулась песня-пламя,
В атаку грозную запев
Повел бойцов, как знамя...

В суровый час на бой с врагом
Поэт ушел солдатом.

Вернулся песней в отчий дом
В победном сорок пятом.

Елена Крюкова

САЛЮТ

Над крышами грохочут грозы
Старинной пушечной войны.
Салюта розовые косы
В пучок чудес заплетены.

Салют рассыплется на лица,
На слезы, возгласы, глаза.
И по цветным щекам столицы
Москва-рекой течет слеза...

Так радость, чистая, как пламя,
Зажжет ночной и теплый мир,
Когда стреляют огоньками
В войну, пробитую до дыр!

И я стою в толпе, как колос
На поле пепла и любви.
И в гуле пушек слышу голос:
«Я пал
за праздники твои».

Владимир Приходько

ДОРОГА

Вечереют, буреют склоны...
На восток... на восток...
на восток...
Огонек семафора зеленый —
Словно твой зеленый платок.

И луна, как яблоко, спеет
На полуночных сквозняках,
А за поездом не поспеет,
Не догонит его никак.

Что там, что — тишина лесная?
Что там, что там — бремя забот?
Что там, что — я еще не знаю,
Что там, что там — поезд идет.

Он плывет в океане сером
Наподобие корабля.
Как приятно быть пионером
И тебя открывать, земля!

В государстве деревьев сонных
Желтый луч скользит по стволам,
И написано на вагонах:
«СЛАВА ТЕМ, КТО ПОСТРОИЛ БАМ!»

Борис Рябухин

АСТРАХАНЬ

Где разметали ветры в прах
Былую ханскую столицу,
Стоит мой город на буграх
И в зеркало реки глядится.

Здесь от учужных рыбаей
Идут рабочие династии.
У закопченных волгарей
В чести — мозолистое счастье.

Иная жизнь пришла сюда:
Разумнее, богаче, краше,—
А та же волжская вода,
Да и полынь степная та же.

Рябит в глазах от мачт и рей —
Гостей встречают здесь широко.
Для кораблей пяти морей
Стал порт Воротами Востока.

Базары шумные пестры.
Арбузы крупные горою.
Качают прорезь осетры,
Набиты черною икрою.

Ерошит ветер камыши.
И тучами взлетают птицы.
Песок на отмелях шуршит.
Полынь на солнце золотится.

Степной орел несет дозор.
И, вторя ветру, суслик свищет.
На высохших губах озер
Соль выступает от жарыщи.

Дожди песчаные идут.
Штормит каспийская моряна...
А люди счастливо живут
Среди степного океана.

Лидия Белова

* * *

Во мне земли напевы,
Во мне слова любви
Звучат прострельно:— Где вы?
Вы, пращурь мои?

Под знаменем багровым
Зари — молчат холмы.
Мой дед лежит под Львовом,
Другой — у Костромь.

В бою удел твой падать,
Степенная родня.

Метет поземкой память
Назад через меня.

Туда, к полкам стрелковым,
Берущим с ходу Омск
Под знаменем багровым
Необучённых войск.

Туда, в каленье улиц,
В горящий Сталинград,
Откуда не вернулись
Дядья мои назад.

Легла во мгле росистой,
Меня, их дочь, храня,
По всей земле российской,
По всей — моя родня.

От края и до края,
Испытана бедой,
Лежит родня святая
Под красною звездой!

* * *

Посвежело, и стала сиреновой высь.
Стало горло спирать от нахлынувших чувств.
У весеннего неба прошу: «Отзовись!»
Мне в ответ только эхо: «Отзовусь,
отзовусь,
отзовусь...»

А весна взбудоражила рябь облаков,
Разметала их врозь, как горластых грачей,—
Враз ударило сорок тугих сороков
Колокольчиков звездных весны горячей.

И в просвете колодезной стын-чистоты
Вдруг причудился взгляда упрек или боль?
Замирая спрошу у весны я: «Где ты?»
И услышу бесстрастный ответ: «А давно ль

Равнодушной жила! Оставайся одна —
Отзвеневшей капелью у лунок разлук...»
В половодьях больших отгуляла вода,
И остались лишь борозды гроз у излук.

Средь аккордов космических тонок и тих
Голос мой, боязливо прижавшийся к дню.
Я — лишь чуткое эхо у окон больших,
На отчаянной ноте и все же звеню.
Снова взглянешь — тебе я ее уроню...

* * *

Состарилось небо до срока,
И вот по сутулой дали
Над лесом прощальным высоко
Обвилась «курлы-ы-ы» —
Журавли.

«Курлы-ы», иль осенняя скрипка,
Иль скрипнула скрипкая дверь?
Лишь эхо откинулось скрытно
Туда, где стоит журавель...

Отсюда, где дни сентяблятся,
Ему не отправиться в путь,
С усталой земли не подняться,
Простора ее не хлебнуть.

Иль ввысь обессилилась тяга,
Иль крылья о холод обжег —
Криниц безымянных трудяга
Спустился на утлый лужок.

Он машет крылом им с тоскою.
А птицы плывут и плывут
И криком — вослед за собою —
В высокое небо зовут...

Валентин Сорокин

СИНЬ ОЗЕРНАЯ

Синь озерная, скальный гранит.
Облаков серебристые спины.
И на взгорье недалеом горит
Пламя красное старой рябины.

К ней стремятся рассвет и закат,
Солнце клонится, падают звезды.
А вон там, на лугу, Салават
Метит стрелами буйные версты.

И в башкирский разбуженный быт
С-под руки, окаймленной парчово,
Залетает, как цокот копыт,
Беркутиная речь Пугачева.

Слава краю, героям его,
Слава братству и грохоту боя!
На высотах пути моего
Голос прошлого — шумы прибоя...

Это — ветры и волны озер.
Это — гроздь рябины в просторе.
Все берет понимающий взор,
С грозной волею предков не споря.

О, свобода, царица огня,
Не ржавеет отважное время —
Я и сам оседлал бы коня,
Вскинул меч
и привстал бы на стремя!

Среди африк, америк, европ
Есть у каждого память-судьбина,
Где из тысяч обстуканных троп
На одной — полыхает рябина.

В РОДНОМ КРАЮ

*Памяти
И. В. Курчатова*

Здесь названий
Отдана краса,
А не драгоценности
В наследство.
Слово «Юрюзань» —
Как бирюза, —
Имя это я запомнил
С детства.

Юрюзань — река
И Сим — река.
Сколько скал
Гранитных не почато!
Плыли в небе
Те же облака,
Кликал их рукой
Малыш Курчатова.

Много бурь
Железных протрещит
И сирот во мгле
Порастворится.
Вскинет он
Над Родиною щит,
Атомный, —
И воров отрезвится.

К подвигу
От юности готов,
Укрощая пламень
Смертоносный,
Мудрости учился
У хребтов,
Красоте — в долине
Стоголозной.

Дождь звенит,
И поезда кричат.
Золотые лилии
На плесе.
В струях — рыб,
А в травах — дергачат,
И луна запуталась
В березе!..

Вырасти бы,
Только поскорей.
В жизнь тропа
Ведет его из просек.
И в чужой Отчизне
Якорей
Русский витязь
Никогда не бросит.

Лихорадки ядерной
Транзит —

Мясники войны
Кипят заботой.
И стрела реактора
Пронзит
Сердце,
Изнуренное работой.

Слово «Юрюзань» —
Как бирюза.
Слово «Сим» —
И вьюга в нем, и росы.
...Смотрят в мир
Доверчиво глаза,
Презирая
Наглые угрозы.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

Отплакали солдатки, оттерпели
Тоску и одиночество невзгод.
Жизнь уплыла, как журавли в апреле,
И опустел родимый небосвод.

Они в заботе, трудной и нескорой,
Любовь сожгли и молодость сожгли.
И вот ложатся в землю, по которой
Мужья на смерть через огонь ушли.

О память вдов, торжественно и грустно
Горит луна. Проснулся день в лесу.
А вдоль дорог России густо, густо
Цветет полынь, похожа на слезу.

А ветер плачет и поет на воле.
А по ночам светло от звездных глаз.
На каждый стебель — по сиротской доле,
На каждый куст — по холмику у нас...

Умру, и затеряется меж ними
Мой, небогатый, зарастет травой.
В туманных даях растворится имя
И прошумит березовой листвою.

Истории пути витиеваты.
И глыбу лет не подпереть плечом.
Ну, перед кем те вдовы виноваты,
Где оступились иль солгали в чем?

В раздумии, тревожном и мятежном,
Я замолчу и заново пойму:
Я должен быть неодолимо нежным
И не прощать обиды никому!..

Юрий Мезенко

ТРЕВОГА

Сирена завоет окрест,
натянется гулом дорога,
динамики рывкнут сквозь треск,
застонут спросонья: тревога!..

И вот уже к полю бегут,
холодной заваркой согреты,
пилоты — сквозь темень и гуд,—
придерживая планшеты.

Морозный рассвет, синева!
Ракеты ведут на подвеску...
И черная «Волга», едва
шурша, подлетает к подъезду.

И к ней, будто вовсе не спал,
папаху надвинув по чину,
спокойно идет генерал,
заранее зная причину.

Да стая грачей в вышине,
роняя на снег оперенье,
кричит и кричит о войне,
не веря, что это — ученье!..

Николай Мартынов

ТАКАЯ РАБОТА

Такая работа,
Такая привычка.
Минута сгорает
Быстрее, чем спичка.
И день пролетает
Быстрее, чем птица...

Заданий, заданий —
И ночью не спится.
И ноченькой целой,
Как будто в тумане,—
Все «цели» и «цели»
На телеэкране...

Срываюсь с постели
И, пряча зевоту,—
Скорее, скорее
Туда, на работу.
Зачем же до срока?
Зачем же так рано?..

Ах, эти глядящие
В душу экраны!

Как будто их метки
Встревожены чем-то:
А вдруг — не учебно?
А вдруг — не учебно?..

Горят на экранах
Спокойно квадраты.
И смотрят в глаза мне
И верят солдаты.

СОЛДАТЫ

Шинель шероховата.
Тяжелый автомат.
С того
 и грубоваты
Солдаты, говорят.
Стоят в строю —
Ни слова,
По струнке —
Каждый ряд.
С того они суровы,
Солдаты, говорят.
Топочут, не тихони,
И ночи им — как дни...

Зато всегда спокойней,
Когда вблизи
 они.

Владимир Лазарев

СИНИЕ КАМНИ

Синие камни,
 скрытые камни
В русском Подстепье
 дремлют веками.

Древние камни, синие камни —
Чудятся всадники,
 чудятся кони
В их очертаньях...
 Синие камни —
В сини веков
 разветвленные корни.

Камни... Чуть плещется воздух проточный.
В засуху цвет их обычно песочный.
Дождь их окатит в гулком сверканье —
Медля, становятся синими камни.
Стрелами солнца светятся капли,
Приоткрываются синие камни...
«Синие» после грозы-непогоды —
Так их отметило зренье народа.

Желоб, отверстие —
 исповеданье,
Древней культуры живое дыханье,
Эхо преданий, отблеск историй,
Таинства древних обсерваторий.
Так и мерещится: в звездные ночи
Вдруг открываются древние очи,
Смотрятся в зеркало — в небо ночное:
Видится в нем отражение земное
Мифов и воображаемых стартов
Золоторунных времен аргонавтов...

Взглядом касаюсь... Трону руками
Звездные камни, синие камни...
Мысли порыв — и в чертах долговечных
Пульс возникает живой, бесконечный.

* * *

Выхожу, стою под небом
Светлой свежей глубины,
Под мерцающим посевом
Звезд вселенской тишины.

В остывающих громадах
Камня — светятся огни,
Овеваемы прохладой,
Чуть туманятся они.

Чуть туманится дорога.
Чуть звенит, колеблясь, мрак.
Замираю у порога
И не в силах сделать шаг.

И такая непостижность
Всех утрат в душе моей,
Что живая неподвижность
Сердцу в этот миг милей.

* * *

Сиротство и родство —
Два имени, два знака —
Наш век объединил
В жестоком естестве.
Так длится этот путь!
Но ты нашел, однако,
Спокойствия запас,
Счастливый звук в молве.
Тот звук пророс в душе
Печально-светлой песней
И сердце разорвал
В порыве вешних сил.
И корни жизней всех,
И грады все и веси,
И души дальних звезд,
И все соединил.

Людмила Копылова

* * *

Не новости, не песни, не слезу —
я только лист бумаги привезу.
Пускай все как в начале — чистота.

Пусть пишет ночь на близне листа,
кто мы такие на гряде земли,
кто мы такие и к чему пришли.

* * *

Шла я как-то через сад,
чтобы взять мотыгу;
вижу, дикий виноград
оплетает ригу.

Птицы свищут в холодке
в диком винограде.
И, с мотыгою в руке,
прислонясь к ограде,

я уснула наяву,
позабыв о деле:
к ситцевому рукаву
птицы подлетели!

И теперь — через века —
стоит позабыться, —
прилетают на рукав
ситцевые птицы.

* * *

Тощий календарь листая,
время движется скорей.
Таю, таю да истаю —
горстка снега у дверей.

Стану стылью надо рвами.
Безъязыкой. Никакой.
А хотела б стать словами.
Незабытою строкой.

Этой строчкою вцепиться,
точно клювом, в небеса
и несатым зреньем птицы
оглянуться на леса.

Николай Берендгоф

* * *

У простой колыбели
Наши женщины пели,
И от глаз их горячих
Небеса голубели.

Били в окна метели,
Говоря о Сибири,
О войне, о младенцах,
Живших в горестном мире.

А земля расцветала —
По степи исполинской
Солнце свет рассыпало,
Свет любви материнской.

Людмила Олзоева

* * *

Учусь у сада брать и отдавать,
и странствовать во времени обычном,
и с ним учусь томительно читать
вновь книгу превращений и обличий.

С ним уходить учусь — навек, совсем,
все отдавая — и плоды, и листья,
учусь быть скромной — быть уже ничем:
кто я? — всего лишь ствол, сухой,
ветвистый.

Кто я? — спрошу у неба, и оно
слетит на плечи ветки звездным цветом,
зашелестит, откроет в сад окно —
и жизни смысл откроет мне при этом.

Как яркие звезды в августе ночном,
и как молчанье сада непомерно.
Там, в небе, лепестков весенних дом —
они о саде помнят там, наверно...

* * *

Млечный Путь — новогодняя елка
с мириадами ярких шаров.
Я на празднике этом надолго ль
и надолго ли радость без слов?

И опять — предвкушение чуда,
словно в детстве, под небом большим.

Кто мы, дети природы, откуда
и куда неизбежно спешим?

Ярче, чем новогодняя елка,
августовское небо горит.
И летящею хвойной иголкой
росчерк гаснувший — метеорит.

* * *

Наше небо — голубая чашка,
опрокинутая кверху дном.
Туча — белокрылая ромашка,
там, в лугах, ее зеленый дом.

Воздух теплый и благоуханный
там, внизу. И плачет в вышине
мраморная туча — и стеклянно
дождь звенит, спускаясь по струне,

припадая вмиг к шершавым камням,
окунаясь в пыль, шурша листвою,
и найдет тропу, счастливо канет
оземь, став ромашкой полевой.

Звезды упадут на землю снегом.
От тоски истлеет лист пустой.
И ромашка, став меж тьмой и светом,
в омут неба упадет звездой.

На волшебной грани превращений
все живое нас переживает,
если невесомое мгновенье
продолжает жизни давний счет.

* * *

Открылся мне источник ваших слов.
Глазам не верю, но родник струится
и мир преображает от основ
и делает значительными лица.

И поднялись из праха, из земли
невидимо посеянные всходы.
И сдвинулись во мне и расцвели
пространства, что светились лишь поодаль.



Владимир Гордейчев

* * *

Словно дитя, приведенное за руку
думать, учиться, — еще бы не честь, —
толща земли понадвинута на реку
и обрывается кручами здесь.

К ним и принес ты печаль о товарище,
в вечность ушедшем — за свой перевал,
спутнике милом, который вчера еще
здесь говорил, ликовал, воспарял...

Чайкой взвиваясь над плесом и островом,
от состраданья неотъединим,
вдруг захлебнешься пронзительно-
родственным
чувством ко всем дорогим и родным.

Твердь, что горбатится из чернобыла,
в эти мгновения горько-мила
тем, что друзей тебе все же дарила
и милосердную тем и была...

* * *

Силушку на старость побережь
выгодно бывает:
хорошо натопленная печь
дольше остывает.
Кажется, что не из кирпича
сложена лежанка, —
словно бы касание плеча
ощущаешь жарко.
Будто возле друга своего
вдался в бестревожность,
доброе присутствия его
чувствуя надежность.
Есть такие люди на Руси,
редкой силы, право.
Чем они особо хороши —
добротою нрава.
Это все равнинная река,
мать народных песен,
формула иного земляка,
нрав уравновесив.
К доброму такому силачу,
к свойской с ним беседе,
словно бы к целителю-врачу,
тянутся соседи.
Крепость в них поддерживает он
мягкостью своею...
Доблесть силы, если ты силен, —
не кичиться ею.

МАТЕРИНСКИЙ ЛЕС

Этот лес молодой
Превратила в заказник война.
И года
И следы — стороной
Все обходят его,
Чтобы на
Мину не набрести,
Не разгневался б только Перун,
Тишина в забвении —
Вдоль коварно натянутых струн.

Лес железный насквозь,
Ни цветов,
Ни грибов
Не собрать.
Только елкам дичать —
Надвигаются на сенокос.

Дуб в осколках — сухой,
И гудят, как антенны,
Стволы.
Раны их заплывают смолой.
Не хватает смолы.
И не стукнет топор.
Разве дятел
Ударит порой.

Лес молчит как укор...
Бездорожный.
Замшелый.
Глухой.
Он не чует ветвей,
Полный страха с утра дотемна.
Словно тут для людей
Призрак свой затаила война.

* * *

Озера Ушаччины —
как журавлиный клин,
Что тянется в край,
где каждый полег четвертый...
Благодарности карта
не помнит ложбин.
Могилы, пригорки —
души печальные взлеты.
Я глазами летел
за горизонт искривленный.
За ним начинаются
партизанские зоны.
Отец со мной попроцался
и не пришел домой.

Блокада стонала.
Эхо выло вдовой.
Я надеждой летел
в неизведанный край,
Где все не такое,
как в материнской хате.
Пресным был каравай.
Темным — солнечный май.
Снились озера ушацкие
на партизанской карте.
Я душою летел
за единственной той,
Не такой, чтоб невинностью торговала.
Долго в снах,
словно узник,
скованный немотой,
В заветную дверь стучался.
Она молчала.
Озерам Ушаччины —
им не взлететь с земли.
Их любовью связала-опутала
речка Діва.
Как бы метель ни студила,
снега ни мели,
Облаком в небо
восходит последняя льдина.
Годы курлычут,
устало лечу домой.
Отчизна синих озер
уже под крылами,
Так я и лягу
на вечный покой —
К ушацким озерам — глазами.

*Перевел с белорусского
Игорь Шкляревский*

Любовь Воропаева

СОСЕДИ

Две семьи по соседству жили,
Две семьи много лет дружили:
Дети, внуки, родня, работа,
Магазины, врачи, заботы...
Две семьи по соседству жили...
И однажды они решили
Вместе праздник Победы встретить,
По-соседски его отметить.
Женский пол — как всегда — наряды...
А мужской — на пиджак — награды,
О военных днях вспоминают,
Песни давние запевают.

«Тяжело, ничего не скажешь...
Сам не знаю, как выжил даже...
Вспоминать не могу без кома
В горле...» — начал хозяин дома.

«Воевал-то ты где, Василий?» —
Тут соседи его спросили.
«Воевал я совсем недолго,
Был я ранен в живот осколком,
Умирал... А меня, поверьте,
Спас один лейтенант от смерти —
Сутки нес, дотащил с трудом...
Мне в санбате сказали потом...»

Было это в одной деревне,
С очень русским названием древним,
Только я тяжело был ранен,
Позабыл я ее название:
То ли Фокино, то ли Фенино
Под Смоленском...» —

«А может, Сенино?» —

Осторожно жена спросила.
А сосед прошептал: «Да, было...
Так деревня та и звалась...
Лейтенантом тем я был, Вася...»

...Две семьи по соседству жили.
Две семьи много лет дружили...

Владимир Трофименко

КРОВЕЛЬЩИК

Залез на крышу рано утром.
Так разошелся, что до трех
все крышу крыл при солнце лютном,
и вот ослеп, и вот оглох.

На сгибе вспыхивая резко,
лист громышал под молотком.
И блеск пришел по зову блеска,
и отозвался грому гром.

И грянул, грянул ливень летний!
Под гром его, при вспышках брызг,
закончил мастер шов последний
и не спеша спустился вниз.

Покинув горние высоты,
стоит счастливый человек
и на плоды своей работы
глядит, робея, снизу вверх.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕЛИКИХ ПОБЕДАХ

Мать платье светлое надела,
красой внезапной расцвела.
Москва и плакала и пела
и вся на улицах была.
Свет зеленел вокруг березы,
и навсегда запомнил я,
как ослепительно сквозь слезы
сверкает счастье бытия...

Обожествляли дым пекарен,
полено дров, кусок угля.
Но все равно взлетел Гагарин
послом мечты, послом Кремля.
Мать платье лучшее надела,
красой былою расцвела.
Москва и плакала и пела
и вся на улицах была...

Анатолий Вершинский

УРОК

Деревня Магдебургерфорт
отрадно памятна
зеленой
лесничьей шляпою. Дареной.
И мне — к лицу. Я в этом — тверд.

Из-под ее полей
видней
лесная школа. И застолье
на встрече дружбы в скромной школе,
в кругу подтянутых парней.

Свежей листвы их кителя.
А знак отличья — спелый желудь.
Они растят лесную молодь.
И дуб, и вепря, и шмеля

хотят для правнуков сберечь,—
охотоведы, лесоводы.
И внятен им язык природы.
И тем ясней людская речь.

Словарь, залистанный до дыр,
был нам не нужен. Два народа,
постигли мы без перевода
значение слов «der Friede» — «мир».

Насущней слов не назову,
когда Земле вселенский хаос
сулит «презент», что Санта Клаус
прислал Европе к рождеству!

Непостижимое уму
творится въявь
и тихой сапой.
И мой сюжет с лесничьей шляпой —
к чему бы он? Да все к тому.

На весь — несытый — шар земной
достанет воздуха и корма,
пока в почете э т а форма.
И век бы нам не знать иной...

Анатолий Жигулин

ВАЖНЕЕ МЕДАЛИ...

1

Я мальчишкой вытаскивал мины
Из тяжелой весенней земли.
А вдали розовели руины.
И подснежники рядом цвели.

Три взрывателя в каждой «кастрюле».
Три чеки, три стальных проводка.
И стальные — как шарики — пули.
Чуть приплюснуты, сжаты бока.

Надо в землю спокойно взглядеться,
Каждый стебель проверить не раз.
Вот и мина. Куда же ей деться
От моих настороженных глаз?

Как легко я тогда рисковал!
Нынче вспомнишь — и сердце сожмется.
Я стальные коробки вскрывал,
И сияло на шариках солнце.

Был я в метре от вечного сна.
И цветы наклонялись прощально.
Но была моя жизнь изначально
Для чего-то иного нужна.

2

Если я не участник войны,
Это, граждане, вовсе не значит,
Что страдания мне не больны,
От которых и взрослый заплачет.

Я участник большого огня,
Когда стены родные пылали.
«Мессершмитты» стреляли в меня,
Злые «Юнкерсы» бомбы бросали.

Я родился в тридцатом году.
И годами для фронта не вышел.
Но хлебнул фронтовую беду
Среди белых воронежских вишен.

Я частенько в больницах лежу —
Крепко голову пуля задела.
Я стихи о дорогах пишу.
Впрочем, это особое дело...

Не смущайте вопросом меня,
Почему мне медали не дали.
Я участник большого огня.
Это, может, важнее медали.

* * *

Когда снится раннее детство,
Думаю 'во сне по-украински.
Когда вспоминается север,
Слышится волынский диалект.

Мови мої рідні!
Як я між вами хвилююся
Вже п'ятдесят п'ять років.
Уже пятьдесят пять лет!

А еще мне запомнилась песня —
Старинная, горькая —
Про якихсь стрільців.
Що с ворогами боролись колись.
И была эта песня
Протяжная, гордая —
Всі стрільці полягли —
Не здались.

В Софии, в братском
славянском застолье,
В прекрасном и древнем
Многострадальном краю,
Когда кончились все
Болгарские и русские песни,
Я запел по-украински.
И лучшей народной песней
Признали — мою.

* * *

Лебеда под Сухуми,
В краю винограда и пальм,
Сиротой одинокой
Тоскует в тени кипариса.
И на тонкие листики
Солнечный зайчик упал.
И горючие строки
Невольню в душе родились...

Ах, какие жестокие,
Лютые были года!
И была лебеда
Не травой, а пищей,

Ах, какая большая,
Густая росла лебеда
Между черных камней
На родном пепелище!

Лебеда под Сухуми,
Примета российских полей...
Если в здешнем краю
Ненароком уснуть мне придется,
То и здесь для меня,
Для безвестной могилы моей,
Этот кустик родимый
Найдется.

Татьяна Реброва

* * *

Уж пора подвести бы и жизни итог.
Отчего ж я всплеснула руками
Так,
что звезды шарахнулись враз от дорог,
Над которыми стыли веками.

Да сквозь шелку-то в ставнях
в детальку лубка
Я вцепилась до судорог взглядом.
И, ее потянув,
словно нить из клубка,
Время я размотала над садом.

Не имела я этаких яблок и груш,
За которые нынче на рынках
С бабки в шали убогой
содрали бы куш
Бабы с люреksom в пошлых косынках.

Но с седлом окровавленным
лошадь в поту
На плечо положила мне морду.
Наконец-то нашла она женщину ту,
Что за ней запирала щеколду.

То,
что вяжет рябиной обветренный рот,
Где всю ночь студит кровь голос волчий,
Память милостыней подала у ворот,
Хоть и было все это край отчий.

Да оконце мерцает, как будто маяк,
Там, в избушке у ягодных кочек,
Чтоб отцу,
пока жив он,
привез ты пиджак,
Ну а матери — ситцу в цветочек.

ПРОСЬБА

Ну что ты упрекаешь: не пою, мол,
Не причитаю,
не пророчу власть
Проверенными притчами,
иль думал,
Что это лучший способ не пропасть?

Высокие и тонкие березы
Граненый круг сомкнут над омутком,
Как будто я стакан беру...

И грозы
Над недопитым громыхнут глотком.
Коль только за себя и отхлебнешь,
То в лошадиный череп,
что разубран
Степной травой,
все так же будет нож
Ронять спокойно кровушку с зазубрин.

Но откушу я так от черной корки,
Что ты увидишь,
как я загребу,
Отбросив серп,
цветастые оборки,
И выпрямлюсь, и вытру пот на лбу.

При свете семи звезд и на ветру
Лью зелье слез,
и ежели я в раны
Своей земли его не зря вотру,
То поцелуй и ты глаза Татьяны.

Андрей Дементьев

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

В. Севастьянову

В Мозамбике, в просторном посольском саду,
Посадили березку влюбленные люди.
И под солнцем чужим набирал высоту,
Словно к дому тянулся,
Тот маленький пруттик.

Поливали его, от жары берегли.
И однажды под осень, в середине апреля,
В память русской весны, в честь родимой
земли
Появилась на прутике первая зелень.

И теперь, когда осень спешит в Мозамбик,
Через желтые листья березы российской

Она в кувшине взбалтывает время
И каждому в узорной пиале
Подносит, чтобы властвовать над теми,
Кто ищет счастья на ее земле.

Сидят безмолвно старцы у дороги,
Идут навстречу, тонки и прямы,
Похоже, зная то, что знают боги,
И впрямь не зная то, что знаем мы.

Тревога здесь бредет за мной по следу,
Как бедуин, завернутый в бурнус...
Какая радость —
Навсегда уеду!
Какая жалость —
Больше не вернусь.

А ЕСЛИ ЗАДАЧНИК?

Миновала годов череда —
Было много, да мало осталось...
«Я не помню, ошибся когда!» —
Размышляет бухгалтер под старость.

Милых женщин прошла череда —
День последнего счастья — далекий...
«Я не помню, ошибся когда!» —
Говорит человек одинокий.

Славных пиршеств прошла череда,
Как чужая прочитана книга...
«Я не помню ошибся когда!» —
Говорит забубенный ханыга.

Пролетела удач череда —
Будет волосы рвать неудачник:
«Я не помню, ошибся когда!»
Нет ответа.
Ведь жизнь — не задачник...

Ну, а если задачник, простак,
То напрасная времени трата:
Глянь в ответы!
Увидишь — не так.
А ошибку искать поздноватю.

Евгений Юшин

* * *

Дом бревенчатый заколочен, глух.
Дремлет, на изгородь опершись черным боком,
Как заплатка цветастая, хромой петух
Изучает камешки у водостока.

Душно встает крапива в гуденье мух.
Запах полыни вздрагивает, клубится.

Я растворяю дому глаза: пух
Или же пыль в струйке луча роится.

Я растворяю дому глаза. Взгляд
Светится тускло, как облака в луже.
Долго-предолго — тысячу лет подряд —
Взгляд этот память мою все кружит, кружит.

О, золоченый, наивный туман зари!
Дед сахарку принесет из чулана — праздник.
«Хочешь кусочек?» — он спросит. Ответу: «Три —
Бабушке, мне и Дружку — он такой проказник!»

А вечерами, когда воробьи молчат
И пчела на окне не жужжит — устала,
Выйдем с дедом и смотрим, как в небе кричат
Красные облака одичало.

И потом уж (за звездами, что ли, следя?)
Дед поет полупешотом уныло, долго.
Тьма ползет, а не страшно совсем, хотя
Куст смородины сильно похож на волка.

Вот он, мир окунишек в речной тени,
Яблок с хлебом да хора грачей сутулых.
Что мне оставили сказок медовых дни:
Млечную, легкую, звездную пыль на стульях?

Или ту песню, которую дед пропел?..
Дерутся воробьи в повители под самой крышей.
Мусор сжигаю. Пепел, как память, бел.
Ветер в трубе, а все чудится — деда слышу.

Николай Тряпкин

* * *

А птички пели, птички пели
И все рвались к тебе на плуг...
А ты в разорванной шинели
Сновал у пушечных подпруг.

И рвались вихри над окопом,
Валился прах ночных светил.
И ты греющим телескопом
С горящим небом говорил.

А птички все же пели, пели
И все рвались к тебе на плуг.
И звезды зернами летели
На весь окопный полукруг.

И разрывались снова, снова,
Фугасной силою визжа.
А где-то там, в твоих основах,
Жила крестьянская дрожжа.

Ревел огонь из-под наката,
И все свивалось под огнем.
А ты пред смертью лишь — солдатом,
А перед жизнью — плугарем.

Какие прядки или нитки
Ты принимал в свою ладонь?
И дергал ты за шнур зенитки,
А шнур был — конская супонь.

И потому-то в той шинели
Ты был у пушечных подпруг...
А птички пели, птички пели
И все рвались к тебе на плуг.

* * *

Я пройду тебя, мой родимый край,
Из конца в конец пройду пешею.
Я пройду тебя под вороний грай
Там, где жгли тебя и где вешали.

Я пройду тебя да по тем местам,
Где рвалась земля под снарядами,
Припаду, прижмусь к тем сырым буграм,
Где герои спят за оградами.

Ой, цветут хлеба да у тех могил,
Голосит кулик над озерами!
А герои спят средь корней и жил
Глубоко в земле, под сугорами...

И пускай звенит да под вешний грай
Золотистый дождь над равниною...
Я пройду тебя, мой родимый край,
И спою тебе журавлиную.

ДЫМ

Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым безотрадный, бесконечный
дым!

Ф. Тютчев

Я в мир пришел — не свянуть, не смириться,
Не утонуть во тьме людских болот.
Я жить хочу, но только вольной птицей —
И совершать свой радостный полет.

А между тем —
куда рванется песня?
В какую даль?

В какие времена?
Зарылись в дым земные поднебесья,
Зарылись в дым земные племена.

Горчайший дым —
по всем лесам и водам,
Горчайший дым — по всем концам Земли.

Куда лететь?
Пробрезжите, восходы!
Зачем лететь?
Прокличьте, журавли!

Исходит век вселенской дымной гарью.
Дымятся рвы.

Грядущее в дыму.
И вся планета, вздыбив полушарья,
Летит туда — в дымящуюся тьму,

Туда, туда —
сквозь вывихи сознания!
Туда, туда —
в густой кромешный дым!

Горит Земля.
Хоть тигель возгоранья
Покуда скрыт в узилищах земных...

И где-то там проходят эскадрильи
Весенних птиц, взволнованных навек.
И я сквозь дым распахиваю крылья —
И, задохнувшись, делаю разбег.

И вот кричу — сквозь тьму огня и моха:
Развейся дым!

Рассмейся небосвод!
Я жить хочу, но только — полным вздохом,
И уходить —
в ликующий полет!

ТО ЛИ БЫЛО, НЕ ЗНАЮ...

То ли было, не знаю,
То ли снилось давно.
Только вновь открываю
Слуховое окно.

Снова утренник сизый,
Снова дальний овин.
И над отчим карнизом
Голубой мезонин.

Убегает дорожка
В загуменную гать.
И золотое окошко
Открываю опять.

Не с того ли окошка —
До последнего дня —
Этой песни лукошко
За плечом у меня?

У зари вырываю
Огневое руно —
И над миром швыряю
Золотое зерно

Этой полною горстью,
Этим взмахом крутым —
Над всемирною злостью
И над прахом людским.

Убегает дорожка
В запредельную гать.
И взлетает окошко
Над землею опять.

И взлетает со мною
Этот песельный свет.
И опять над землею
Никого со мной нет —

Только вешняя брага,
Да веселый почин,
Да под радостным флагом
Голубой мезонин,

Да залетные птахи,
Да сквозной ветерок,
Да горсти этой взмахи
На закат и восток.

Елена Николаевская

ТО ВРЕМЯ

То время, прошлое, бывшее,
Не миновало — в нас оно,
Надеждой, верою, бедою,
Тревогою осенено.

Все мерило особой мерой —
Отчаянье и торжество.
И принимало все на веру,
Предугадав сердце родство.

Не прикрывало нас от ветра,
Бросало и в огонь и в тьму,
То время называют «ретро» —
Не понимаю почему...

То время не было стоящим
На месте, или преходящим,
Или ушедшим без следа:
То время было н а с т о я щ и м —
Таким осталось навсегда...

И милосердно, и сурово,
И простодушно, без прикрас,
Оно — и сущность и основа
Всего заложенного в нас.

* * *

Век соткан из мгновений,
Всему назначен срок:
Есть мера перемене,
И вычислен урок.

Мы знаем безупречно,
Дотошно, наперед,
Что — временно,
Что — вечно
И что за чем грядет...

За летом ждем ненастья,
А за дождем — зимы...
И только срока счастья
Не знаем, к счастью, мы.

* * *

Тайна старых фотографий,
Памяти пайковый хлеб...
Беззащитность биографий
Перед волею судеб.

Кто-то там глаза таращит,
Кто-то веселится всласть,
Кто-то табуретку тащит,
Чтобы в объектив попасть.

В объективе «Фотокора»
Уместились все как есть —
Те, кого разлучит скоро
Неминуемая весть.

Эти стрижки, эти челки
Светом дня озарены...
Здесь — мальчишки и девчонки
За неделю до войны.

И в глазах у них — сиянье,
Ожидание дорог,
И в глазах у них — незнанье,
Счастья истинный залог...

Ту серьезность, ту беспечность,
Веру ту в душе храня,
Я смотрю на них сквозь вечность
Из сегодняшнего дня.

Вот — мы вместе сняты,
Снова соединены
В ателье, в проезде МХАТа,
На четвертый день войны.

Эти косы и зачесы,
И значки БГТО...

Здесь ответов на вопросы
Не нашел еще никто:

Где прервется путь их долгий,
Путь смертельный, напролом,—
В Черном море, иль у Волги,
Или в небе над Орлом?..

Где повторят, заклиная,
Веря: «...только очень жди...»
...Как мы ждем их!.. Но иная
Доля ждет их впереди.

Ни могил, ни монографий,
Ни планшеток не найти...
Я от старых фотографий
Глаз не в силах отвести.

Станислав Куняев

* * *

Тишина. Даже ломит в ушах
от потока стремительной крови,
да какие-то твари шуршат
в травяном загустевшем покрове.
Золотая болотная ржавь,
золотые цветы зверобоя...
Как бы мне все, что вижу, прижать
прямо к чреву, чтоб сделать собою.
Как бы мне этой синьку зашить
износившейся жизни прорехи,
как бы мне на мгновенье забыть,
что живу на прекрасной планете,
где, насупившись, зло и добро
спор ведут до последней победы,
где невзрачное птичье перо
совершенней громадной ракеты...
Распрощаться — никак не могу,
раствориться — и страшно и рано...
А кукушка все стонет: ку-ку,
а душа — словно свежая рана.

* * *

Ты помнишь, как тѣк холодок,
сгущаясь в измученном теле,
хрустел под ногою ледок
и листовницы шелестели?

А я словно бредил слегка,
считая тот бред за прозренье,
но слышали лишь облака
столь странное благодаренье:

— Спасибо за вечную синь,
которая в сумерках тает,
спасибо за вечную жизнь,
которой по горло хватает.

Куда ни посмотришь — везде
она шелестит и струится:
в протоке, в тумане, в листе —
то шепот, то звуки, то лица!

Но мне разобраться невмочь
в причинах такого разлада,
наверное, белая ночь
во всех чудесах виновата.

Глядишь, как плывут облака,
и сам себя ловишь на чувстве,
что вся эта жизнь, как река,
впадает в Великое Устье.

СЕВЕРНАЯ БАЛЛАДА

Вдоль по Тунгуске
с ружьем, с мешком
по молодому черному льду
небезопасно идти пешком,
лед, ощупывая, иду.

Слышу, сзади ревет «Буран».
— Стой! — поглядел метис в упор,
вижу, что молод, силен, не пьян
и не желает глушить мотор.

Крикнул: — В прицеп на брезент ложись!
Ящик железный на полозах... —
Газу прибавил — и понеслись!
Я — как в гробу, и небо в глазах...

С визгом железо режет лед...
— Эй, на торосы не налети!
Твой бронированный вездеход
как бы вдребезги не разнести!

Полугуран, полуэвэнк,
полугонщик, полуямщик...
А под полозьями белый снег
плавится и, как живой, пищит.

Фары — как очи северных сов,
ветер простреливает брезент...
Птица-тройка! — и нету слов...
А над хребтами внезапный свет!

Полоз железный кромсает ширь.
Что там на забереге как стог?
Не Святогорский ли монастырь?
Не Аввакумовский ли острог?

Иль буровая, где плещет нефть,
прямо на снег выплескиваясь...
Снова в небе северный свет
вспыхнул, рвущий радиосвязь!

Бок от «мелкашки» заледенел,
не потерять бы нам колею!
Эй, ты от скорости захмелел —
режешь по наледи — мать твою!..

Он усмехнулся: — На скоростях
Мы не провалимся, пролетим! —
...Изморозь выросла на бровях,
а изо рта — пар или дым?

Нет, не Пегас заездил меня,
душу не тройка мне растрясла...
Желтый закат тунгусского дня,
в тьму преходящая желтизна...

Ох, разогнались — притормози!
Что там чернеет — не полынья?!
... Волчий треух весь в изморози,
в руль вцепился, не слышит меня...

Алексей Марков

* * *

Жизнь весам подобна наша:
Слева — прожитые дни,
Справа — дней грядущих чаша,
И колеблются они.

Если груз воспоминаний
Тяги к жизни тяжелей,
Ты сойди с опасной грани
И вперед рванись скорей!

* * *

Горжусь сединами,
Горжусь морщинами —
И даже в горести
Есть доля гордости.

Как пчелы сотами,
Горжусь я взлетами,
Всей жизнью яростной
До самой старости...

* * *

Глаза закрою — прошлое увижу.
И сна и яви золотая смесь...
Как будто на заоблачную крышу
Взобрался я, и виден город весь.

Далекой юностью запахнут стены,
Знакомо белый тополь заснежит,
Как будто мир не ведал перемены:
На тех же лицах — тот же свет лежит...

* * *

Пробивши беспросветность туч
И обогрев в дороге малость,
Любовь мне нежно улыбалась,
А я твердил: «Последний луч...»

Но понял я через года:
Есть первый луч, а вот последний
Не отсияет никогда,
Он лишь бывает безответней...



НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Борис Пастернак
1890—1960

ЗАРЕВО

Черновые материалы. Стадии работы

Широко известен цикл Б. Пастернака «Стихи о войне». Первые пять стихотворений цикла («Страшная сказка», «Бобыль», «Застава», «Смелость», «Старый парк») были написаны в Переделкине и Москве в первые месяцы войны.

В конце августа 1943 года после многочисленных просьб Пастернак в составе писательской бригады был послан на фронт, в расположение Третьей армии. Бригада побывала на месте недавних боев, познакомилась с героями Орловской операции. Поездке посвящены два очерка Пастернака — «Освобожденный город» и «Поездка в армию».

Увиденное на фронте наполнило стихи Пастернака о войне живыми подробностями и фактами. Так родились последующие вещи цикла, так возник замысел большой поэмы «Зарево».

15 октября 1943 года в «Правде» было напечатано «Вступление в поэму». Поэма осталась незавершенной. Написанная часть ее, вместе со «Вступлением», была впервые опубликована в томе «Библиотеки поэта» в 1965 году.

Среди бумаг Пастернака мы находим наброски эпизодов, дающих представление о работе над поэмой «Зарево».

Своеобразна интонация поэмы — интонация «армейского рассказа», вынесенная из знакомства и разговоров с героями недавнего наступления и жителями освобожденных областей.

Сочетание отваги и иронии, а порой — и юмора по отношению к своим поступкам и обстоятельствам отчасти сближает героя поэмы Володю с Василием Теркиным Твардовского. «Василия Теркина» Пастернак всегда считал высшим достижением нашей литературы о войне.

В черновых набросках мы нашли рассказ «отпускника» (таково одно из предполагавшихся названий поэмы), который, засмотревшись на зарево салюта, вспоминает недавние подробности той операции, которую теперь чувствует Москва.

Зажженный проблесками высшими
И забываясь постепенно,
Заводит он беседу с крышами,
Как шепчут грозы и антенны...

О крыши, крыши, я изведаю
Все то когда-нибудь под вами,
Что я в крови купил победою
И загадал в блиндажной яме.

Я помню в выступе конюшенном
Снарядом выбитое ложе,
К позициям его разрушенным
Мы подползали спелой рожью.

Минутным делом было, вырезав
Все уцелевшее из пушки,
Мыть руки средь болотных ирисов
В близпротекающей речушке.

Теперь не помню, поздно ль, рано ли
На транспорт их автомобильный
Мы разом с двух сторон нагрянули
И пленных партию отбили...

Под обгорелою поленицей
Лежал мой друг, от ран умерший.
Двойное прозвище селеньица —
Мне кажется, Вяжи-Завершье.

Когда из тел мы груды дыбили,
Как он, не замечал я смерти.
Меня навел на мысль о гибели
Убитый друг Филиппов Третий.

Перед палаткой в коноплянике
Валялся лом аэропланной.
От гленья квашеной механики
Воняло гарью конопляной.

От трупов пахнет рыбной ворванью,
Когда в июле ночи жарки.
Но жизнь не может быть изорванной,
Бездарно свернутой сигаркой...

Дубовый лес в тени и холоде
Терялся в общем беспорядке,
Как мелкие проныры, желуди
Заглядывали к нам в палатки.

Мы помирали от веселости,
Когда по полотняной крыше
За светлую двойною полостью
Теньями пробегали мыши.

Вились, как по экрану, хвостики
И пропадали под соломой
И, по народной диагностике,
Несчастье предвещали дому.

Но так как я вояка липовый,
То я не верую в приметы,
И, как и Тертию Филиппову,
Мне было наплевать на это.

Он разбирался в психологии
И голосах немецких пушек.
В десятилетке, как и многие,
Понахватали мы верхушек.

Он знал все их — по имени
И всех дивизий их названья,
Как не собьется поп в прокимене
Или в апостольском посланье.

(Кстати, другу своего героя — Тертию Филиппову — Пастернак дал имя, известное историкам литературы: так звали литератора прошлого века, единомышленника Ап. Григорьева и А. Островского.)

В более раннем варианте этого эпизода отчетливее видны реальные приметы боя у деревни Вяжи, где немцы устроили узел сопротивления в конюшенном дворе. В сборнике «В боях за Орел» (1944) говорится, что писательская бригада встречалась и беседовала с участниками этого боя.

Узлом у них был двор конюшенный
И служб кирпичное подножье.
К их крепости полуразрушенной
Ползли мы как-то спелой рожью.

И, как во времена кулачные,
Поднявши крик «Ура, ребята»,
Все завершили врукопашную
Штыком, прикладом и гранатой.

Переколовши всех и вырезав
И задом повернувши пушки,
В пруду мы наломали ирисов
И смыли кровь и пот в речушке.

Расправа дело сущей малости.
В войне противник — дичь в ягдташе.
И тут я не нашел бы жалости
Ни к тетке вашей, ни к мамаше.

Эти строфы тесно связывают «Зарево» со стихотворениями Пастернака о героях Орловской операции — «Смерть сапера», «Разведчики», «Преследование». Они все написаны одним размером и тоном, от лица прямого участника событий. Очевидно, что стихотворения эти родились из набросков поэмы после того, как работа над ней была оборвана. Можно предположить даже, что сержант, возглавивший группу саперов, от лица которого ведется рассказ в стихотворении «Смерть сапера», и есть герой поэмы Володя, который «служит в младшем комсоставе».

Победы, добытые тяжелыми потерями и высоким героизмом, одухотворяют людей, их не страшат новые трудности и страдания, герой поэмы думает об устройстве новой жизни на отвоеванной у врага земле. В своем обращении к будущему, встающему ему навстречу в виде озаренного салютом города и крыш московских домов, он говорит:



Борис Пастернак в расположении Третьей армии. 1943 год.

Бессмертно, верно, мысли зодчества,
И честный труд, идущий в гору,
И чистой совести пророчество,
И тяга к выси и простору.

И, крыши, мы не успокоимся,
Пока с сознанием этим вещим
Воистину мы не отстроимся
И в подлинности не заблещем.

Пусть судьбы нам работу задали,
Мы оправдали наши корни...

Противопоставление героизма, не останавливающегося перед испытаниями, «презренной падали» — трусости, предательству — центральный мотив начала поэмы. Переоженный огнем и смертельным риском герой поэмы в мечтах о достойной жизни отказывает в жалости и понимании своему двойнику. «Его двойник смешон и жалок», — пишет автор и называет его «придорожной нежитью». В черновиках и первоначальной белой рукописи этот эпизод еще более резок и жесток.

На жалобы своего собеседника:

Ни пил, ни ведер, ни учебников,
А плохи прачки, педагоги.
С нас спрашивают, как с волшебников,
А разве служащие — боги? —

герой поэмы отвечает:

Да, боги, сирота казанская,
Да, либо боги, либо слякоть.
Своею песнью арестантскою
Меня ты не заставишь плакать.

Несчастные меня пресытили.
Что задолжал тебе я, трусу?
Сквозь жизнь пробейся в победители
И волю ей диктуй по вкусу.

Вертись, как бес перед заутреней,
Перед душою сердобольной,
Ты обольщал мой голос внутренний.
Я больше не хочу. Довольно.

Не хнычь и носом не посапывай,
Не распускай слюнями жижу.
Ты власовец, паршивец драповый,
Я вас насквозь, мерзавцев, вижу.

Мне вас стрелять, поганых идолищ,
По совести велит присяга.
Я за угол с тобою выйду лишь,
Вернусь и долго спать не лягу...

Наблюдения, сделанные Пастернаком на фронте, дали ему возможность увидеть и понять реальные черты героя войны без ложных прикрас и литературных условностей. Он подчеркивает резкие крайности характера, воспитанного жестокими условиями войны. «В нынешней войне налицо ожесточенье и продуманная бесчеловечность, не ведомые на прошлой. Фашизм воюет не с армиями, а с народами и

историческими привычками. Каждому брошен личный вызов», — писал об этом Пастернак. Победа на такой войне, утверждает он, может быть достигнута лишь людьми, работавшими в себе беспредельную смелость и бескомпромиссную суровость по отношению к врагам.

Бессмертие героев, по мысли Пастернака, создается благодарной памятью оставшихся в живых, и в этих условиях безмерно вырастают нравственные требования, налагаемые на себя художником.

Зло будет отмщено, наказано,
А родственникам жертв и вдовам
Мы горе облегчить обязаны
Еще каким-то новым словом.

Клянемся им всем русским гением,
Что мученикам и героям
Победы одухотворением
Мы вечный памятник построим.

Публикация и комментарий Елены Вл. Пастернак

Семен Гудзенко 1922—1953

Девятнадцати лет, в июле 1941 года, Семен Гудзенко, второкурсник Института философии, литературы и истории имени Чернышевского (ИФЛИ), пошел добровольцем в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Подразделение, где он служил, — «комсомольская рота», как называл ее Гудзенко, — совершало рейды по Калужской, Смоленской, Калининской областям, взрывая шоссе и мосты, минируя отходные пути наших войск, чтобы преградить наступление по ним противника. Не раз рота попадала в окружение, прорывалась с боями к своим и — снова шла на задание.

В феврале 1942 года С. Гудзенко был тяжело ранен в живот осколком мины и на длительное время выбыл из строя. Возвратившись по излечению в полк, он до конца войны был прикомандирован к редакции бригадной многотиражки «Победа за нами». Оттуда его командировали в Сталинград с бригадой «Комсомольской правды» (май — октябрь 1943 г.), а позднее — на 1-й и 2-й Украинские фронты.

Солдатским поэтом Семен Гудзенко стал, побывав на войне, на собственном опыте испытав тяжесть ратного труда, хотя, по признанию поэта, он «стал солдатом» еще в 1937 году, когда, играя с друзьями в бесстрашных испанских республиканцев, вставших на защиту революции, мечтал стать в один с ними строй. Так, в стихотворении «Испанское начало», написанном в 1947 году, шахматный дебют подается как исходное начало судьбы. Предлагаем читателям несколько неопубликованных стихотворений из архива поэта.

* * *

Так пишут музыку...
Одним порывом.
Не перечеркивая,
не меняя рифм.
Так дух захватывает
над обрывом,

когда помотришь
вниз.

В обрыв.
Потом случайно
перечтешь стихи —
и вспомнишь все,
и вздрогнешь: это было.
Наверно, так приходит слух к глухим.
И блудный сын —
опять родной и милый.

Апрель 1942 г.

* * *

Когда мы бродим по Москве
В шинелях, стянутых ремнями,
И посидеть заходим в сквер
Или любуемся домами,

Мы вспоминаем тишину,
И неумный гомон парка,
И в окнах свет уютно-яркий,
Небес июльских глубину.

Пусть отвыкаем от привычек,
Рожденных мирной тишиной.
Ведь мы за мир идем на бой,
За нами песни и обычай
Свободно жить.

Погибнуть лучше,
Чем на коленях прозябать.
...Война. И вся земля опять
Обвита проволокой колючей.

1942

* * *

Луна. Шоссе. Тяжелый шаг.
(Долбит шоссе колун.)
Стоит густой трезвон в ушах.
(Тяжелый шаг — колун.)
Мы шли, и мы валились с ног
(Не в силах сдвинуть их).
Кто шел дорогой на восток,
Тот в памяти сберег:
И тишину ночей густых,
Тяжелый шаг — валун.
Шоссе. Луну. И грузный стук
(Печатаем шаги — колун).
Ты помнишь это, друг?

Апрель 1942 г.

ИСПАНЦЫ

В сумерках серых-серых
Месяц лимонной коркой.
«Санчо, прочти романсеро
Федерико Гарсия Лорки».
И подмосковный вечер
Тихий в траве прилег,
И на испанском наречье
Читает стихи паренек.
Здесь, на полях России,
Дерутся они за Мадрид.
Березы совсем седые
Ветер чуть шевелит.
Испанская песня над ними.
Молчит — удивлен — соловей.
Друзья, автоматы поднимем
За дружбу свободных людей.

Апрель 1942 г.

ИСПАНСКОЕ НАЧАЛО

Испанское начало —
шахматный дебют —
на короля идет лавина пешек:
кастильцев конных,
андалузцев пеших,—
и королевских офицеров бьют.
И не спасет их древняя тура,—
за крепостной стеной не отсидеться!

...Над шахматной доской
склонилось детство
в зеленых зарослях двора.

И, возраста
еще непризывного,
мальчишки разглядели за игрой
тугие тучи залпа навесного,
республиканцев поредевший строй.

Не до игры
и не до разговора —
притихли в непролазных лопухах.
А пешки
поворачивают в горы
и отвечают залпами на шах.
И раненые,
кровью истекая,
задерживают немцев у реки.

Испания!
Так вот она какая!
Уходят безоружные полки...

И я тогда,
наверно, стал солдатом.

И до сих пор
горластый гул в ушах:
у Гвадаррамы
беспощадным матом
мы недругам ответили на шах.

(А время шло,
и мальчики мужали,
и над Днепром кружили «мессера»,
и все-таки мы Гитлера прижали,
и к шахматам вернулась детвора.)

...Когда теперь
испанское начало
разыгрываем с другом фронтовым,
уже нам слов многоэтажных мало —
мы ждем,
когда всерьез поговорим.
И хлопцам,
отработавшим по чести
четыре полных года на войне,
мерещится мадридское предместье
и женщина в пылающем окне.

1947

Публикация Светланы Ярославцевой

Дмитрий Ковалев 1915—1977

«Дмитрий Ковалев,— писал Василий Федоров,— принадлежит к поколению, которое вынесло на своих плечах всю физическую и нравственную тяжесть войны... В годы испытаний Дмитрий Ковалев был моряком-подводником, испытал глубочайшую тишину подводного мира, а потому чуток ко всякому повышению голоса, ко всякому повышению интонации. Внешне кажется, что он разговаривает в своих стихах спокойно, но вслушаешься и почувствуешь их напряжение, их нервность и горячность».

В этом убеждают и неопубликованные стихи Дмитрия Ковалева.

* * *

Был схвачен. Не ушел из-под расстрела.
Из партизан во сне приходит к ней:
— На мне рубаха, мама, вся ислела,
Смени рубаху мне, дай поновой...—
Еще почти мальчишка, худ, небритый,
Измученный, прерывисто дыша,
Лишь видно по губам, что говорит он.
Сквозь гимнастерку светится душа.
Она сундук старинный открывает —
И береженую на спинку, на кровать
Кладет... Его от сердца отрывает —
И все никак не может оторвать...
Перебралась из старого барака
Недавно в новый дом. Снесли барак.

Забеспокоилась и стала плакать:
Сменился адресок. Отыщет как?..
А он,
Хоть и не жил еще,—
Из умниц:
По занавеске вышитой в окне
Узнал — и вот нашел,
Не зная улиц:
— Ислела вся... Смени рубаху мне...

В ХЛЕБАХ

Опять во всем душа заговорила,
Запело сердцу близкое во всем,
Кому что дорого,
Кому что мило...
Шумит безмолвье гречкой и овсом.
Кузнечики куют неутомимо.
И перепел всего не перепел.
И человеческое все не мимо.
Насушный хлеб мой колосист и спел.
Нетерпеливая моя дорога к стану.
Зазывные над нею провода.
И кажется,
Что старым я не стану
И не расстанусь с жизнью никогда.

Публикация А. Ковалевой

Иван Молчанов 1903—1984

* * *

За окном и дождь, и ветер,
За окном бушует ночь.
Буря все на белом свете
В эту ночь снести не прочь.

Ливень хлопает по тыну,
Хлещет, клены теребя...
Скучно, грустно, Антонина,
Одиноко без тебя.

Я сiju, себя ругая,
Над бумагой за столом.
Хоть бы весточка какая
Заглянула мельком в дом:

Что и как? Какие думы
У тебя вот в этот миг?
На меня глядят угрюмо
Переплеты старых книг.

Ничего они не скажут,
Не ответят на вопрос...
Ветер спать, наверно, ляжет,
Прекратив свой дикий кросс,

Перестанет ливень литься
За глухим моим окном...
Только мне опять томиться
В ссоре с сердцем и со сном!

Нет на сердце карантина —
Вьется, нервы теребя...
Скучно, грустно, Антонина,
Одиноко без тебя!

Леонид Мартынов
1905—1980

НЕОБРАТИМОСТЬ

И лес как лес —
Как будто все отлично:
Шуршанье, родниковая струя...
Но почему же как-то необычна,
На что похожа песня соловья?

...Все было пусто
На лесной опушке
В благословенном девственном краю,
Где мелодично вторили лягушки
Их передразнивавшему соловью.

Но вот война —
Вторая, мировая —
Вмешалась в песнопенья к соловьям,
Колочей проволокой обвивая
Стволы деревьев среди кровавых ям.

Попавшая
Под яростные ноги,
Визжа, рвалась зеленая трава;
На дереве, растущем у дороги,
Пожухла опаленная листва.

Весь лес
Оброс пороховым налетом,
И, конвульсируя среди ветвей,
Бредово подражавший пулеметам,
Как автомат зацокал соловей.

...Все кончилось.
Вновь посвежела зелень,
Но все ж не засияло так светло,
Как древле, без морщин и без расщелин
Природы безмятежное чело.

Нет!
Этого уже не будет снова.
Лес не увидит безмятежных снов!
Не то чтобы подрублена основа —
Она цела, основа из основ,

Но
Древнее сцепление молекул
Перевернул необратимый взрыв
И вся природа вместе с человеком
Иною стала, это пережив.

И соловей,
Когда его спросонок
Воспоминанья смутные томят,
То вдруг заквакает, как лягушонок,
То вдруг затокает, как автомат.

Публикация Г. Суховой-Мартыновой

Марк Шехтер
1911—1963

* * *

Скоро скажут — пора домой,
отслужили, отвоевали!
И откроется путь прямой
В голубые родные дали.

Если нет у тебя жены,
Если дома не ждет невеста —
Попроси ты хоть тишины
В первый день своего приезда.

1944

КАПЛИ

Распаленный жизни жаждой,
Я спешу не упустить
Капельку минуты каждой,
В праздности боюсь остыть.

Подставляя ладони счастью,
Капли светлые лови,
Вековечный соучастник
Человеческой любви!

Если ж капля роковая
Твоего коснется лба

И травинка полевая
Вдруг поблекнет, как судьба,

Пред последней каплей этой
Не сплошай, не задрожь —
Стой лишь насмерть (а не сетуй)
За бесстрашья рубежи!

1962

Публикация В. А. Шехтер

Варлам Шаламов

1907—1982

* * *

Где жизнь? Хоть шелестом листа
Проговорилась бы она.
Но за спиною — пустота,
Но за спиною — тишина.

И страшно мне шагнуть вперед,
Шагнуть, как в яму, в черный лес,
Где память за руку берет
И — нет небес.

ВОРОБЕЙ

Чирикай, веселая птица,
Над этой затянутой льдом,
Пустой, одинокой страницей,
Заснеженным белым листом.

Обманутый ли на мякине,
Доверчивый ли навсегда,
Ты, как подобает мужчине,
Не бойся проклятого льда.

* * *

Мигрени. Головокруженья,
И лба и шеи напряженья,
И недоверчивого рта
Горизонтальная черта.

Из-за плеча на лист бумажный
Так неестественно отважно
Ложатся тени прошлых лет,
И им конца и счета нет...

* * *

Я разорву кустов кольцо,
Уйду с поляны,
Слепые ветки бьют в лицо,
Наносят раны.

Роса холодная течет
По жаркой коже,
Но остудить горячий рот
Она не может.

Всю жизнь шагал я без тропы,
Почти без света.
В лесу пути мои слепы
И неприметны.

Заплакать? Но такой вопрос
Решать не надо —
Текут потоком горьких слез
Все реки ада.

Публикация И. Сиротинской

Василий Федоров

1918—1983

* * *

Замеченный в людских рядах,
Осенней славою согретый,
Поэт, подвинутый в летах,
Я часто слушаю советы:
— Дерзай!..
— Зачем себя ершить?..
— Молчи, моя-де хата с краю...—
Все знают, как мне надо жить,
И только я один — не знаю!

ОЛИМПИЙСКИЙ МОТИВ

Куда спешим?
Зачем?
Застать ли новый век
Или поспеть в беде
К ковчегу Ноеву?
У каждого из нас —
Свой олимпийский бег,
И каждый спотыкается
По-своему.

Казалось бы,
И вовсе не отстал,
А лишний раз вздохнул,
Зоя остуду,—
И вот второй
Встает на пьедестал,
На этом вздохе
Выиграв секунду.

Но ты, поэт,
Не бойся опоздать!
Любя Отчизну,
Как свою невесту,

Успей, мой друг,
Ей новый мир создать,
Чтоб не пришла она
К пустому месту.

Но ты, поэт,
В бряцанье ложных лир
Иль в ярких красках,
Отданных химерам,
Ты, в горестях
Зачавший новый мир,
Каким измеришься
секундомером?

Публикация Л. Ф. Федоровой

Герман Валиков
1927—1981

ПАМЯТКА 1978 г.

Дáрушка, голубушка, не трогай
Мин противотанковых, гранат,
Если на полянке за дорогой
Под ногой железки загремят.

А заметишь — прóволочка возникла
В путанице травок, — не шали,
Даже если рядом земляника,
Обойди ее, не шевели...

Дарушка, голубушка, не надо
Выходить с мальчишками на спор, —
Ржавого бризантного снаряда
Не клади, пожалуйста, в костер.

В глубине лесной, где нету солнца,
Мох лишь да коряги впереди,
В ямину забытого колодца,
Солнышко мое, не упади...

Публикация Д. Валиковой



Илья Фейнберг
1905—1979

В первые дни Великой Отечественной войны ушел добровольцем на флот пушкинист Илья Фейнберг. В качестве военного корреспондента он был в осажденных Одессе и Севастополе, участвовал в боевых походах кораблей Черноморской эскадры, был на конвоируемых транспортах и на участке, где действует морская пехота.

«Я думал, — говорил в одном из своих выступлений в конце войны Илья Львович, — что на войне надо будет отложить в сторону такую тему, как Пушкин, и писать очерки и военные корреспонденции в газеты. Я сейчас же стал это делать».

Его очерки о защитниках Одессы и Севастополя печатались в «Правде» и других центральных газетах, а также в маленьких газетах боевых кораблей.

Много лет спустя И. Л. Фейнберг вспоминал: «...после того как с конвоем мы прошли на прорыв блокады в Севастополь, возвращались мы, и я в том числе, на крейсере «Красный Крым». И я до сих пор помню и не позабуду. Мы могли выйти только в определенный час, потому что немцы простреливали артиллерией военный порт и, чтобы замаскироваться, пустили облако маскировочное, белое (бывает черное), плохо пахнущее, химией пахнет.

Это как у Гомера, знаете, когда Паллада прикрывала облаком героя, которого хотела спасти от смерти в бою.

Вот мы прошли это облако, затем стемнело. Я увидел, что обстановка такая, что зенитчики, которые должны идти спать свои там четыре часа, не уходят, а на бушлатах лежат около зениток, рядом со сменой, которая дежурит. Подошел — один читает Лермонтова, другой читает Пушкина. Тогда я пошел к комиссару — начальнику политотдела Петру Васильевичу Спирыкову — и говорю: вот видите, у вас на пушках написано «Пермь» (они были отлиты в Перми). Идем мы из Крыма, из Тавриды, идем в Поти, в Колхиду. Вот у Пушкина и было сказано:

Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды...

Вот они читают Пушкина. Дайте я им прочту слово о Пушкине. Тот сказал — пожалуйста, но мы в боевом походе. Идите, продиктуйте на машинку, мы это завизируем, вы пойдете в радиорубку (их нельзя было собрать) и оттуда прочтете».

Позже, находясь уже на Северном флоте, И. Л. Фейнберг, продолжая выполнять обязанности военного корреспондента, стал читать такие лекции постоянно. Эти лекции вошли составной частью в пропагандистскую работу, которая велась на флоте. В статье «Воспитание патриотизма», напечатанной в «Красном флоте» 8 июля 1943 года, подполковник Е. М. Сливин писал:

«В соединении подводных лодок состоялся недавно вечер, посвященный А. С. Пушкину. С докладом о великом поэте-патриоте выступил секретарь пушкинской комиссии т. Фейнберг. Доклад, сопровождавшийся демонстрацией диафильма, вызвал исключительный интерес у командиров и краснофлотцев».

К. М. Симонов вспоминал об этих лекциях И. Л. Фейнберга: «Ездил на корабли, на катера, на батареи, на полевые аэродромы и на разные другие отдаленные полярные военно-морские точки и читал там лекции о Пушкине. И читал так, что там, где один раз прочел, его просили приехать еще раз. И моряки просили, и начальство просило, потому что лекции, по словам начальства, были боевые, поднимающие дух личного состава. Вот ведь как бывает! Лекции о классической литературе и вдруг — боевые, необходимые воюющим людям!»

А было дело в том, что... Фейнберг очень любил Пушкина, хорошо знал его и прекрасно читал не только лекции о Пушкине, но и прозу его, и стихи. И еще — и это,

может быть, в данном случае самое важное — он очень остро чувствовал всю силу связи Пушкина с историей России и всю пушкинскую влюбленность в эту историю».

На Северном флоте выпускались и пригласительные билеты на пушкинские вечера.

В архиве И. Л. Фейнберга сохранился текст его первого выступления на крейсере «Красный Крым», прочитанный 20 марта 1942 года в 16 часов, переход Севастополь — Потти.

Публикуем этот текст с некоторыми сокращениями.

ПУШКИН И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Пушкин с отроческих лет связывал свою судьбу с судьбой России. А эта судьба решалась Отечественной войной 1812 года.

Большая дорога, по которой русские войска выступили на войну с армией Наполеона, шла мимо лица, где учился 13-летний Пушкин. Вспоминая это время, Пушкин незадолго до смерти писал:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

«Завидуя тому, кто умирать шел мимо нас...» — вот как провожал Пушкин и товарищи Пушкина старших братьев, идущих на Отечественную войну.

Россия победила. Армия Наполеона была разгромлена. Прошло более 100 лет. Мы ведем Великую Отечественную войну против фашистской Германии. Недавно я видел, как на палубе боевого корабля в боевом походе у орудий моряки-черноморцы читали Пушкина. Фашисты топчут еще могилу Пушкина, она недалеко от Пскова. Близко течет река Ловать, о которой мы читали в сводках с фронта. Туда идет Красная Армия, и близок день, когда мы освободим Пушкинские горы, как освободили уже Ясную Поляну — дом и могилу Льва Толстого.

«Экое прекрасное лицо», — сказал Толстой, глядя на портрет Пушкина. Фашисты стреляют в портрет Пушкина, мы читали об этом в сводке Советского информбюро. Пушкин с нами — фашисты стреляют в него!

На фронтах Отечественной войны снят документальный фильм о разгроме немцев под Москвой. Я видел в Севастополе этот фильм. Красная Армия идет по заснеженному Бородинскому полю на запад, мимо памятника Кутузову. Она идет к Смоленску через русские города, сожженные немцами, и печи сожженных городов торчат над снегом как памятники, зовущие к мести и победе.

Глядя на экран, видишь дороги, по которым наступали, а теперь отступают немцы, и дымящуюся кровью землю, пылающие села и города...

Пятнадцатилетний Пушкин писал о нашествии армии Наполеона:

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И селы мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделось вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг...

Идут — их силе нет препоны,
Все рушат, все свергают в прах...

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад, летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу
сраженья...

Они победили. Москва была освобождена, враг изгнан. Сегодня мы повторяем эти стихи.

Через двенадцать лет после того, как Пушкин написал эти стихи, взрослый, испытавший много перемен, он возвращался из ссылки в Москву.

Он писал:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Недавно еще Гитлер хвалился, что Москва уже видна ему в полевой бинокль.

Нет, не пошла Москва моя
к нему с повинной головою,—

может сегодня повторить слова Пушкина русский боец.

В оде на смерть Наполеона Пушкин писал о судьбе его нашествия и о судьбе России. Пушкин писал, обращаясь к Наполеону:

Настали времена другие,
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор...

И все, как буря, закипело:
Европа свой расторгла плен;
Во след тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

Пушкин писал в этих стихах о народной Немезиде, о народном возмездии, которое сокрушило тиранию Наполеона и освободило Европу...

Но тяжко будет им похмелье;
Но долгоден будет сон гостей,
На тесном, хладном новоселье,
Под злагом северных полей!

Пушкин напоминал врагам России о бесславной гибели армии Наполеона...

Пушкин жил в самодержавной России Николая I, который душил его, но Пушкин гордился своим народом, русской историей. Он писал, отвечая философу Чаадаеву: «Я далеко не восхищаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...»

Отступая, Наполеон пытался взорвать башни Кремля. Башни, потрясенные взрывом, устояли. Они и сейчас стоят. А корабли Черноморского флота защищают Крым и Кавказ. Крым назывался когда-то Тавридой, Грузия — Колхидой.

Пушкин любил Россию, Крым, Грузию — великую страну.

Он, обращаясь к врагам своей Родины, писал:

Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?..

Вспоминая Пушкина, Гоголь сказал, что однажды он только видел на глазах Пушкина слезы. Это было тогда, когда Пушкин в первый раз прочел стихи Языкова, обращенные к поэту-партизану, герою Отечественной войны Денису Давыдову.

Вот эти стихи:

Чу! Труба прогребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови из стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

Сегодня мы знаем, резервы врага иссякают — наши силы растут.

Живой голос Пушкина с нами. Мы победим.

*Вступительная заметка
и публикация М. Фейнберг*



Уважаемый товарищ.....

11 марта 1943 года в Базовом клубе начсостава Северного флота состоится пушкинский вечер.

Доклад на тему:

ПУШКИН И РОССИЯ

прочтет секретарь Пушкинской комиссии
Союза советских писателей И. Фейнберг.

Начало в 21 час



Герман Флоров

ТВАРДОВСКИЙ В БРАТСКЕ

В этот день
Не беспричинно
Сопки выстроились чинно,
И, прижатый к их бокам,
Ветер Братска стих,
пока
Шла вдоль берега машина
По струне бечевника.
Шла она в пыли и зное,
В ржавой осыпи,
в дожде
Осыпающейся хвои,
В оглушительной страде.
Невысокая посадка
В пыльный кипень большаков.
Да усталая приглядка
Зорких, пристальных зрачков.
Он в машине,
Гость московский,
Словно в лодочке плывет,
Курит злые папироски,
Метит строчками блокнот.
Деловито-сдержан речью,
Грузен, хмурится слегка,
Перекрыт вокзальной встречей,
Как строптивая река.
Честь оказана поэту,
Но не этим жив поэт —
Хвойным ливнем,
Знойным ветром,
Терпким дымом сигарет,
Бесконечной панорамой,
Называемой тайгой...

Вот — девчонка
С легкой травмой,
С забинтованной рукой.
Из тайги,
С расчистки трассы,
Как со счастьем — так с бедой!
Создавался мир прекрасный,
Сотворялся молодой.
Шла машина в лад запева
Быстрых волн, замшелых скал.
Улыбнулся берег левый,
Правый берег просиял.
И Падун не слишком строго
Посмотрел со стороны.
Будто канула дорога
В холод вспененной волны,
В жизнь другого поколения,
Начинающего путь...
Бились насмерть
свет и тени,
Мчались волны — грудь на грудь.
Пыль. Мошка. Но было ясно:
На земле и над водой
Создавался мир прекрасный,
Утверждался молодой.
Мир знакомый, смелый, стойкий —
На скалистом рубеже!
Будто сам Василий Теркин
Или сын его уже
В пыльном кузове трясется,—
Ветер Братска,
вот он — влет!
И Твардовский улыбнется,
И машина развернется
И пойдет на ЛЭП-500 —
Под высотные опоры,
К талым тропкам, валунам —

В ту весну, сроднясь с которой
Разродниться трудно нам.

А пока за валунами
Спеют ягоды огней,
Даль другая плещет льнами
Все дороже, все синей.
Затопила сердце, полнит
Душу всю — прорана нет!
Он-то знает,
Он-то помнит,
Как деревне нужен свет.
Как без света вся округа
Долго паялилась в года.
Как потом в стихах у друга
Заиграли провода.
Пламя жизни не потухло,
Не погас девичий смех, —
Провода в соломе жухлой —
Словно ласточки у стрех!

Дорога́
Доро́га света.
Дальний берег — не чужой.
Мчит под проводом планета,
Как кобыла под вожжой.
Даль — за далью,
Сутки — в сутки!
Опаленному войной
Дорог этот берег чуткий,
Запах стройки смоляной,
Перевитый пыльным зноем,
Охлажденный вечным льдом.

Поглядит. Глаза закроет.
И опять — немолчный гром
Падуна. И путь неведом
Новых песен, новых дум...
Не люблю ходить по следу,
А за вами все ж иду.
Воздух стройки, злой, ершистый,
Льется в душу, как в омет.
По землячеству, старшинству,
По вершинству вам почет.
А еще — по вере страстной,
Что в бессчете дел и доль
Мир рождается прекрасный,
Создается молодой.

Григорий Левин

* * *

А. Недогонову

Вот, воспоминаньем сердце тронув,
Мысль остановивши на лету,
Русский мальчик Леша Недогонов
Дуется отчаянно в лапту.

Вот его отваги горделивость
Увлекает всех ребят вокруг.
Вот дерется он за справедливость,
С детских лет — обиженному друг.

И поздней, не дрогнув, не заплавав,
Хоть опасность Родине грозит,
Ту же справедливость он в атаках
Собственную кровью отстоит.

Верен тем же фронтовым законам,
Был и позже он и добр, и строг,
Был и позже в споре непреклонным,
Подлость не пускал и на порог.

Чуток к ледоходу, ледоставу,
Не солгал он в жизни никому,
Воздадим хоть ныне честь и славу
Мы по справедливости ему.

Владимир Матвеев

СВИДАНИЕ С ФАТЬЯНОВЫМ

Опять пути нацелены на Вязники,
На русский край, который сердцу мил, —
Я полюбил Фатьяновские праздники,
Как самого Фатьянова любил.

Бежит дорога. Зелень у канав густа,
Стекает солнце с вязовых вершин...
В последней золотой декаде августа
Я снова здесь.

Да разве я один?!

Людей зовут баянов звонких планочки
Обитель песнопевца навестить —
Скамейки, что на «Солнечной поляночке»,
Не могут всех друзей его вместить.

Я каждый раз,
переступая заново
Какую-то незримую межу,
Не просто на свидание с Фатьяновым —
Во фронтовую юность прихожу.

Смеюсь, грущу...

И, может быть, поэтому,
Немало повидавший на веку,
Полнее раскрываю мысль поэтову,
Переживаю каждую строку.

Со мной Алеша говорит доверчиво —
В ответ моя распахнута душа.
Опять брожу по Вязникам до вечера,
Наш разговор окончить не спеша.

Александр Юдахин

УЧИТЕЛЬ

Мой учитель,
Сергей Николаевич Марков,
на войне и на Севере был одинаков:
сам себя по суровым законам судил,
в людях совесть будил и за жизнью следил.

Не следил, горемычный ее очевидец,—
терпеливо любил, дополнял, как провидец,
знал Завет, изучал для свободы санскрит.
Про него говорили: «Когда же он спит?»

Он себя не жалел и болел бесконечно —
и хворает, наверно, в обители вечной.
На траве-мураве, к валуну прислонясь,
через лупу читает славянскую вязь.

Мой учитель, Сергей Николаевич Марков,
знал не хуже поляков, чем славился Краков,
в Костроме не объехать его по кривой,
по Сибири с котомкой своей полевой

походил. Назовите поэта другого,
кто не хуже Брокгауза и Соловьева
мог ответить на самый дотошный вопрос?
А Сергей Николаич смеялся до слез.

Он смеялся до слез, а теперь его нету,
стосковался зенит по большому поэту.
Перед судьями с кружкой чифира стоит
молодой, синеглазый, лобастый старик.

СУХОЙ КОСТЕР

Сухой костер навряд ли удивит.
В нем мало треску и не видно искры.
Он, как свеча, горит и не дымит
на крутояре полуночной Истры.

Сухой костер готовят наперед
вдали болота на кремнистом месте.
Заранее охотник наберет
вязанку дров по совести по чести.

Костер сложить — как будто жизнь прожить:
не так положишь — и не загорится,
а запалишь — не надо сторожить,
живой огонь на лицах отразится.

Вадим Сикорский

НАУКА

Давно уже услышал я про это:
есть в мире инфракрасные лучи,
источники невидимого света,
как те цветы, что запах льют в ночи!

Всё формулы, хоть я и не ученый,
как математизированный бред...
Но мне обжег воображенье черный —
как ночью черный лебедь — черный свет.

Летит он черной ночью, черный лебедь,
не слышно даже, как свистят крыла...
Пылает черный свет на черном небе,
а для меня — зияющая мгла.

Сияет черный свет — ни зги не видно!
Сияет свет — хоть выколи глаза!
Мир ослепителен. А мне так стыдно.
Я ль слеп — или такая полоса?..

Над белым светом — черный есть на свете,
незримый свет, а мне и невдомек.
Не свет ли вечности, не время ль светит?
...В любимой — тот же ль черный огонек?..

СЛЕЗА

Я утешал вдову, из кожи лез,
я воспевал искусство, солнце, лес,
твердил: прошла военная гроза...
С ее ресниц упала все ж слеза.
Вселенную, что расцвел мой смех,
и все слова — души моей старанья
насквозь прожгла, как пуля, без помех,
артезианская слеза страданья.

РАНА

Жизнь ранена, у жизни
не затихает боль.
И ныне боль, и присно
здесь и в стране любой.

Боль эта неустанна.
В миг сна и в миг борьбы
не затихает рана
у жизни и судьбы.

Нанесена ли словом?
Уж лучше бы свинцом:

грядущему — здоровым,
а книге быть — с концом.

Страданье ль смыть слезами?
И тьмы опасен рост.
Но блики есть в бальзаме
от падающих звезд.

ВETERАН

Вновь за окном сраженья дым,
в атаке гибнут роты...
Сраженье смолкло. Перед ним
бухгалтерские счета.

То вновь он слышит дробь копыт,
ум спит, ликует тело,
то вновь над цифрами корпит —
бухгалтерское дело.

Нет, пятен крови век не смыл...
Представлен он к награде...
Вот пятна бледные чернил
в бухгалтерской тетради.

Так жизнью он и жил двойной,
дни метя как пунктиром:
здоровый, полный сил — войной,
больной и старый — миром.



Борис Рахманин

СЫН ПОБЕДИВШЕГО СОЛДАТА

(Тетрастих)

1

Прости меня, прошу тебя, прости
за дни Земли, исполненные гнева,
за то, что реактивные персты
с угрозой показывают в небо.
Поверь, перевернула душу мне
твоя, без слов, немая укоризна
за то, что раздастся в тишине
биенье часового механизма.
Неужто истекает наша жизнь,
уйдем внезапно, даже не состарясь?
Отсчитывает время механизм:
тик-так, тик-так...
Так сколько же осталось?!

2

Нет, за такое не прощай меня!
Быть трусом мне без совести, без чести,
коль не спасу тебя я из огня.
Тебя

со всей Вселенной нашей вместе.
Спасу... Что б ни случилось впереди —
в отца я, в победившего солдата.
А ты, ты жди, любимая, ты жди,
как матушка моя ждала когда-то.
Ждала, тоскливый подавляя вой.
И вот... Пришел он, костыли роняя.
И выбили на мраморе: «Живой!»
А твой отец... А твой... Прости, родная!
Я знаю — он пропал сперва, исчез.
И вы писали с мамой командиру:
коль нет в живых — живой оставьте честь,
найдите на Земле его могилу!
Нашли...
Попробуй горе то измерь,
тот скорбный дар, страданья искупавший.
Ведь муж ее
и твой отец
теперь
не без вести пропавший был —
а павший!
Бессмертьем можно павшего спасти,
чтоб в благодарной памяти он ожил,
чтоб жил..
Поплачь, родная, и прости,
прости, что сердце сердцем растревожил.

3

Давненько я кукушки не слышал,
считавшей наши годы монотонно,
а ворон — впрочем, может быть, ворона? —
на форточке сидит, вещая: «Кар-р-р!..»

Сгинь, вестник черный!
Сбивчиво, не в такт
то ухнет в пропасть сердце, то взвывается.
Бьет веко века нервный тик... Тик-так!
Вот-вот будильник дьявольский взорвется,
вот-вот наступит этот жуткий миг —
планета лопнет, словно мяч бейсбольный...
Мы мира жаждем, мы лелеем мир —
там
яд скупают, чтоб уйти без боли.
Там
дефицит смирительных рубах,
там
бум бомбоубежищ-общежитий.
«В бетонных комфортабельных гробах,—
твердит там пресса,— смерти избежите!»
Там глухо звеня брякают оков,
там «Хайлы» кричать подростков заставляют,
там в спины с пыльных черных чердаков
по-снайперски, с глушителем стреляют.
Раздолье там бандиту, палачу,
напалмом выжгут за собой улики,
Джоконду в Лувре — бритвой по лицу,
крест-накрест по загадочной улыбке.
Весь ум на то, чтоб мир с ума свести.
Так увлеклись, что хоть самим в пучину,
в тартарары, в небытие...

Прости
за эту слишком страшную картину.
Я прям с тобой, но ты должна простить.
Когда б светлей, благополучней вышло,
ты не смогла бы, может быть, постичь
моей любви возвышенного смысла.

4

Да, я в отца, такой же я солдат,
но не война —
дал мир мне это званье.
Возьми в подарок майский звездопад,
любое — слышишь? — загадай желание,
И я их разгадаю все, поверь,
у нас с тобою общие секреты.
Мы так хотим, чтоб злой секундомер
успели люди вынуть из ракеты,
чтоб тикал он, обученный добру,
забыв про предыдущее задание;
кукушка чтоб в торжественном бору
года бы нам гадала за годами;
чтоб в нежном свете выжившей зари
земля вдвойне нам показалась краше...
Все сбудется, сбывается —
смотри:
Джоконда улыбается, как раньше!
Исполнятся все добрые мечты,
тому залогом главная причина:
нет, не погибнет мир, пока есть ты,
пока есть ты — я рыцарь, я мужчина.

Тебя лишить хотят весенних звезд,
день погасить твой, лучезарносветлый...
Ну, как, скажи, не встать тут
в полный рост,
ну, как не ошестиниться ответно?!
Я не позволю совершиться злу!
Я томагавк, беду несущий миру,
по адресу обратному пошлю,
на полпути перехватив секиру.
Нет, не взорвут лазоревую ширь
над рыжею твоею головою...
Я мира жажду, но готов и к бою.
Готов я к бою,
но —
да будет
МИР!

Хулио Матеу

ПЕРВЫЙ БОЙ

Это было в порту Барселоны,
Это было начало борьбы:
Я, в плавучей тюрьме заключенный,
Как Колумб, не страшился судьбы.
Это было в порту Барселоны.

Да, любой приговор трибунала
Мог бестрепетно выслушать я,
Лишь бы наша Испания знала,
Что не гнутся ее сыновья.

У фашистских зверей на прицеле
Не склонялся, не прятал лица,
Как в рабочем театре на сцене,
Там, где слово сильнее свинца.

Приговор — тридцать лет заключения,
Беспощадный, как выстрел в упор,
Но какое имеет значение
Суд несправедный и приговор?!

Первый бой не принес поражения —
Надо верить в победу свою.
Бой с фашизмом — такое сражение,
Что не может кончаться вничью!

Через ночь, в ожиданье рассвета,
Как Колумб на борту корабля,
Я готовился крикнуть: «Победа!»
Как когда-то он крикнул: «Земля!»

*Перевел с испанского
Виктор Забелышинский*

Булат Окуджава

ОТРАДА

В будни нашего отряда
в нашу окопную семью
девочка по имени Отрада
принесла улыбку свою.
И откуда на переднем крае,
где даже трава сожжена,
теплых рук доверчивость такая
и улыбки такая тишина?
Пусть, пока мы шагом тяжелым
проходим по улице в бой,
редкие счастливые жены
над ее злословят судьбой.
Ты клянись, клянись, моя рота,
самой высшей клятвой войны:
перед девочкой с южного фронта
нет в нас ни грамма вины,
а всяких разговоров отрава
заливайся воронками вслед..
Мы идем на Запад, Отрада,
а греха перед пулями нет.

* * *

Поздравьте меня, дорогая,
я рад, что остался в живых,
сгорая в преддверии рая
среди маршалов и рядовых,
когда они шумной толпою
в сиянии огненных стрел
влекли и меня за собою..
Я счастлив, что там не сгорел.
Из хроник, читаемых мною,
в которых — судьба и душа,
где теплится пламя былое
условно, почти не дыша,
являются мне не впервые,
как будто из чаши густой,
то флаги любви роковые,
то знаки надежды пустой,
то пепел, то кровь, а то слезы —
житейская наша река.
Лишь редкие красные розы
ее украшают слегка.
И так эта реченька катит
и так не устала катить,
что слез никаких и не хватит,
чтоб горечь утрат оплатить.
Судьба ли меня защитила,
собой укрыв от огня?
Какая-то тайная сила
всю жизнь охраняла меня.

И так все сошлось, дорогая,
наверно, я там не сгорел,
чтоб выкрикнуть здесь, догорая,
все то, что другой не успел.

* * *

Я умел не обольщаться
даже в юные года,
но когда пришлось прощаться,
и, быть может, навсегда,
тут уж не до обольщений
в эти несколько минут..
Хоть бы вымолить прощенье —
знать бы, где его дают.
Не скажу, чтоб стал слезливей
с возрастом, но всякий раз
кажется, что мог счастливей
жребий выпросить у вас.
Впрочем, среди великолепий,
нам дарованных судьбой,
знать, и вам не выпал жребий
быть счастливее со мной.

Яков Козловский

КОМЕНДАНТ ПЕРЕПРАВЫ

Злой рок осилен был державой,
Отхода кончились пути,
Нам дан приказ на берег правый
Для наступленья перейти.

И сталь была как в переплаве,
Но вы не покидали пост.
Я видел вас на переправе,
Когда враги бомбили мост.

Такие дни, как годы, долги,
И, уставной являя толк,
Не размышляли вы о долге,
А просто исполняли долг.

Глаза, запавшие от муки,
И помню ваши, лейтенант,
Я указующие руки
И нежелезный хрип команд.

Вы торопили пехотинцев,
Как понукали лошадей.
И вот проследовал Родимцев
В главе дивизии своей.

Мы пригибаться были вправе,
А вы стояли в полный рост.

А кругом продолжала реветь канонада,
беспощадна, слепа и дика.

И кобыле уйти бы, куда-нибудь скрыться.
Но у каждого дни сочтены.
И случилось, чему надлежало случиться,
без чего не бывает войны.

И на мокрую землю,
которую плугом
поднимала кобыла весной,
повалилась она,
и отпрыгнул с испугом
от нее жеребенок смешной.

А потом, передернувши кожей со страху,
незнакомый со смертью пока,
подошел
и к еще не остывшему паху
притулился, ища молока...

Перестали стрелять.
И давно свечерело,
и поля погрузились во тьму.
Но не грело его материнское тело,
и не мог он понять — почему.

Светлана Соложенкина

* * *

«Ты знаешь ли тот край, где апельсины
зреют?»

Нет. Я о том и думать не могу.
Я родилась и выросла в снегу.
И пальцы в варежках двойных немеют.

Привычный холод я зову судьбой.
Здесь небо в лужах превратилось в камень,
как будто это — мрамор голубой...
Опасно тронуть голыми руками...

Мороз — Роден российской мастерской.
И «лишнего» из твердой глыбы неба
ты устранить не пробуй и не требуй:
нет лишнего при скудости такой.

* * *

Гроза грохочет над лесами,
над гулкой пропастью пустой,
и небо движется над нами,
как полоз черно-золотой.

Вся жизнь куда-то ускользает.
Кто всех слепит, а сам не слеп,

и зыбкий воздух разрезает,
как перед трапезою — хлеб?

То — пир для званых, для немногих!
То — вызов: «Есть ли кто живой?»
Но малый домик у дороги —
светлей от вспышки грозовой.

И взрослые, и дети дома.
Хозяйка ужинать зовет...
На близкие раскаты грома
котенок ухом не ведет.

...Такие ли бывали грозы?
Война прошла когда-то тут...
Ну, разве страшно, что березы —
простоволосые — бегут?

Что мимолетный гнев природы?
Другой знавали гнев и риск!
Куда ни глянь — громоотводом
стоит солдатский обелиск.

Владимир Портнов

* * *

«Была война.
Мне минул пятый год.
Мать умерла.
Отец ушел на фронт».
Мне этот стих
Поставили в вину:
Мол, у Рубцова
Есть такие строки.
Но в этом
Надо бы винить войну:
Сиротства розного —
Одни истоки.

«Не повтори других»,—
Согласен с вами.
Я это знал
И знаю наперед.
Но как,
Какими заменить словами:
«Мать умерла.
Отец ушел на фронт»?

Здесь нет метафор,
Нет определений,
У этих слов
Проста и гола суть.
Мальчишки из грядущих поколений,
Не повторите их когда-нибудь.
Пусть болью вам не перехватит рот:
«Мать умерла.
Отец ушел на фронт».

Роберт Винонен

ПИСКАРЕВЦЫ: 470 000

Их без фамилий,
Имен, чинов
Вокаменили
Сюда, в Число.

Шеренги в камне
Тесней живых.
И полшага мне
До голых цифр.

На всех дыханьях
С безвестных губ
Взлетает камень —
Гранитный куб,

Но цепью с камня
Звенят нули,
Не отпуская
От всей земли.

Незарываема
И черна
На всех окраинах
Тень Числа.

Чем отогреться
Родной земле?
Ступнями детства
И я в Числе.

Мерцать увязла
В песке Числа,
В корнях славянства
Моя чухна.

Мы одолеем
В бою честном
Не лишь уменьем,
Но и Числом.

Звезда над крышей
Чистым-чиста,
И ты не выше
Сего Числа,

Где вой голодных
Тревог ночных
Ведет на отдых
Моих родных.

Михаил Фильштейн

ВОЕНРУК

А военрук наш весел был,
И юн, и ростом мал.
И боевой мальчиший пыл
Душою понимал.

Он выводил в метельный двор
Ребячий непокой.
И ловко пробовал затвор
Единственной рукой.

Он был для нас еще бойцом.
Привычно с нами пел.
Но задыхался. И лицом
Вдруг становился бел.

Он замолкал, белей зимы,
В искрящейся пыли —
Не то что мы, не то что мы,
Когда колонной шли.

Та белизна в зрачках росла,
Текла по синеве,
Как будто это смерть жила
В зашитом рукаве.

Николай Флёров

СНЫ

Мне снятся войны...
Вот я вижу вновь,
Как мы ползем по снежно-серым скалам,
И залпы осыпаются обвалом,
И льется кровь,
И в жилах стынет кровь...

Вот в море бой: подлодка вдруг — со дна,
Другая, третья — «волчья стая» лодок.
Как стал наш путь в небытие короток!..
Мне часто снится прошлая война.

Но атомная адская война
Не снится мне:
Не в силах, видно, это
Вообразить, какой придет она
И как тогда расколется планета.

Пусть отраженье яви наши сны,
Но разум, верю я, всего превыше.
Не потому ли атомной войны
Я в самых страшных снах моих не вижу?!

Он выбрал тактику такую:
Ни ночью отдыха, ни днем —
Идем все время под огнем,
Не оторвемся ни в какую.

И люди сильно притомились.
Как только крикнул я: «Привал!» —
Солдаты так и повалились —
Сон-снайпер бил их наповал.

Лишь Иванов сел под ветлою
И, хоть не меньше всех устал,
Свой пулемет готовил к бою,
Как это требует устав.

Вот так всегда, когда привал,
Когда спала уже пехота,
Он или диски набивал,
Иль с «дегтярем» мудрил чего-то.

Он был в шинели, как зимой,
Его тряс приступ малярии,
А тут у медсестры Марии
Нет даже хины никакой.

Он мерз, а нас всюю пекло:
Язык от зноя стал как терка,
Противно по спине текло,
Насквозь промокла гимнастерка.

И у меня шальная мысль:
Неплохо бы помыться в бане.
И вдруг, откуда ни возьмись,
Семейство на арбе — цыгане.

Глава семьи — на передке,
Серьга сияла в левом ухе,
Цыганка с ним в цветном платке,
А сзади дети и старухи.

Тут Иванов внезапно встал,
Махру нашарил по карманам,
Свернул сигарку, трут достал
И, закурив, пошел к цыганам...

Иван Иванович Иванов
Был полным тезкою России.
Когда б меня о нем спросили —
Не пожалел бы добрых слов.

Я видел многих на веку,
И все же утверждаю снова,
Что не было у нас в полку
Сержанта лучше Иванова.

Он показал себя на деле —
Сражался очень хорошо.

...В пробитой, латаной шинели
Сержант к цыганам подошел.

Тошавый сидор на горбу,
В руке дымящая сигарка:
— А ну-ка, погадай, цыганка,—
Прикинь солдатскую судьбу...

Его судьба в тот самый миг
Была не дымкою повита:
Она была в руках моих,
Верней, в моих и замполита.

Я знал, что мы пошлем его
Прикрыть отход наш у болотца.
И точно знал,— он не вернется.
Чего уж тут гадать? Чего?!

Но та цыганка, зная, была
Бабенкой мудрой, башковитой
И дело ловко повела:
— Ты будешь ранен — не убитый.

Зря, милый, смерти не бойсь,
Знай крепче бей фашистских гадин,
По картам — вскорости, кажись,—
Тебе и орден будет даден.

Все будет ладно, золотой,—
Вот — дом, вот — дальняя дорога:
Еще помаешься немного
И возвратишься домой...

Без фальши карты говорят —
И дети, и жена здоровы,
И хлеб, как летось в аккурат
И сена вдоволь у коровы...

И понял я: от этих слов
Размяк солдат — война забыта.
— Ко мне, товарищ Иванов!..—
Я крикнул громко и сердито.

Застыв с ладонью у виска,
Смотрел он преданно и строго.
И жутко стало мне, ей-богу,—
Такая вдруг взяла тоска.

Я что-то бормотал про ветер,
Мол, скоро дождь притащит к нам,
А сам глядел по сторонам,
Чтоб слёз он, часом, не заметил.

Был лес за зеркалом речным,
И я подумал: «Полк пробьется».
А вслух сказал ему: — Ручным
Ты нас прикроешь у болотца...

Юрий Панкратов

БАЛЛАДА ОБ АРМЕЙСКОМ РАЗВЕДЧИКЕ

Ведь ведал, зачем он пошел на рожон,
таимый родными снегами,
армейский разведчик... И вот — окружен,
что волками пеший, врагами.

Он видел, как рдеет алей уголька
живой огонек бересклета,
затем что мерцало в груди перенька
щемящее сердце поэта.

— Сдавайся! — хрипел маскхалат в мегафон,
и возглас замерз на пределе.
Тот понял отчетливо: он обречен —
тут каждый квадрат на прицеле.

Взблеснула над сумрачным полем звезда,
И лег на простреленный ватник,
на глину в осколках зеленого льда
к отчизне прижавшийся ратник.

Искусан до крови мальчишеский рот —
все ближе за подвиг расплата.
Но жив он — и бьет, как ночной пулемет,
морзянка его аппарата.

Ответную очередь резко стучат
стволы, пристрелявшие сектор,
но сердце и рация все же частят,
открытым радируя текстом.

Решают мгновенья — не шифр и не код.
Укрывшись в окопчике тесном,
он сводку последнюю передает
открытым — как родина — текстом,

что светит вдали, за зарей, впереди,
за алым кустом бересклета...
Морзянка замолкла... Споткнулось в груди
упрямое сердце поэта.

Но, прежде чем рухнуть в распадок тот, вниз,
расплывшийся глиняным тестом,
он выбил: да... здравствует... коммунизм...
грядущему клятвенным текстом.

...Звезда над землей молодая поет
о нем, возлетевшем в последний полет,
предвестница утра встающего.
Не с этой ли страстью родится поэт —
армейский разведчик грядущего?

Сравненья условны. Но в дни, когда мир
и все, чем мы славны и живы,

опять на прицеле надевших мундир
жестокое зла и наживы,—

не нужен поэзии шифр или код
условностей суетных, скудных красот.
Пусть смерти и мраку протестом
она в утверждении духовных высот
открытым сражается текстом.

Олег Родионов

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА

Тихо вошел он
В родимые сени,
Бросил под лавку
Свои костыли,
Дверь распахнул
И упал на колени,
Чтоб поклониться жене —
До земли!..

Владимир Савельев

ВРЕМЯ

Не от печки честь по чести
я плясал, а от крыльца.
И с того, знать, против шерсти
время гладило мальчика.

Свет на мне сводило дерзко
клином всех военных дней.
Боль была, я помню, в детстве
боли нынешней больней.

Жизнь была худого хуже:
время, к гибели клоня,
было хворью, било стужей,
было голодом меня.

Прямо в душу много раз мне
было без обиняков
страшной памятью о казни
партизанских связников.

Било адресной оплатой
за примерного бойца:
серой, узенькой, измятой
похоронкой на отца.

Било, насмерть забывая,
падал — скручивая в жгут,
в бок пинало, забывая,
что лежачего не бьют.

Било...

Но, поджав коленки,
чтоб не врезало под дых,
я вставал на четвереньки,
улучив какой-то миг.

Я, закутанный в лохмотья,
поднимался, словно дым:
дескать, вот я, время, вот я —
жив пока и невредим.

Жив, почесывая темя
и звеня, что воробей:
жив, мол, я — и значит, время,
бей меня да не робей!

Бей, как у пустых амбаров
било встарь меня и мать.
Бей и не смягчай ударов,
мягко стелют — жестко спать.

Бей и помни: на орбитах
и в страде земных дорог
битый стоит двух небитых,
а тобою битый — трех.

Стоит целых трех во имя
совмещенья с их судьбой:
бит тобой одним — любим я
Русью, женщиной, тобой.

БРИГАДИР

Что ж не вышла под окошко, Серафима?

Б. Корнилов

Глаза мои слезились не от дыма,
а оттого, что ты была любима.
Соседка в дверь стучала:
— Серафима! —

И застали собою внешний мир
соседкин стук да силосная яма.
Та яма, где работала ты, мама.
Та яма, где не искоса, а прямо
сверлил тебя глазами бригадир.

Нашептывал тайком, что, мол, не кисни,
что знает цену бабе, мол, и жизни,
поскольку честно послужил отчизне,
а не в тылу нагуливал, мол, жир.
И привирал, что робко ждет ответа —
ответа в то засушливое лето...

Ты помнишь, мама, был я плох — и это
учел, наверно, ушлый бригадир.

Но я в то лето выжил на макухе
и вышел под окошко — руки в брюки —
в ботинках (память об одной старухе...)
да в стеганке, затасканной до дыр.
Да с гирькой, что в ларе была хранима.
Соседка, торопившаяся мимо,
шумнула заполошно:
— Серафима-а!.. —

А он молчал, колхозный бригадир.

Молчал: тут был я сам себе советчик.
Молчал не как истец, а как ответчик.
Молчал недавний полковой разведчик,
а ныне многих вдовушек кумир.
Молчал, хоть расшиби его в лепешку.
Молчал, в культе сжимая козью ножку:
не Серафима вышла под окошко,
где ждал ее он, бойкий бригадир.

Я вышел. Я под то окошко вышел,
хоть силою в отца еще не вышел.
Нет, я из бригадира дух не вышиб,
невольно изменив ориентир.

Я понял: ты как мама мной любима,
а этим мужиком — как Серафима.
Мужчину, друга или побратима
тогда во мне почуял бригадир?

И вот лежишь ты, мама, на погосте.
К родной сестре нагрянувшему в гости,
здесь душу греет солнце мне и кости,
как бы беря мой возраст на буксир.
Кресты из дуба. Звездочки из жести.
И на погосте тоже честь по чести
давно уже вы рядом, да не вместе:
тут Серафима, тут вот — бригадир.

Дина Терещенко

* * *

Кончается май. То жара. То дожди.
Кончается май. Я июня боюсь.
Кончается май. «Подожди. Подожди».
Кончается май. «Я вернусь. Я вернусь!»
Я вернусь, а сейчас мне пора, мне пора
по ступенькам моим со двора, со двора».
«Да куда ж ты уйдешь? Где твой дом, твой
ночлег?

Да куда ж ты уйдешь, милый мой
человек?» —
«Я уйду в Никуда. Растворюсь в синей мгле,
мною станут вода и трава на земле».

Я июня боюсь! С сорок первого он
сотней молний врагов все врывается в сон.
Он врывается в сон диким воем сирен.
Я июня боюсь, искалеченных стен,
почтальонов и тех до сих пор я боюсь!

Сколько лет я боюсь за бесстрашную Русь!

* * *

Судьба старалась! Полной мерой
она отмеривала груз.
Так что ж? Подсчитывать потери?
О, я их знаю наизусть!
И все ж судьба старалась зря!
Пережила. И вот могу
увидеть песню на снегу,
как снегиря.

* * *

Иззябну без тебя, иззябну,
как не согретый нами зяблик,
как этот лист, что сорван был тобой,
как слово в глухоту бессонья: «Мой!»
Но будут листья, будешь ты, и зяблик,
и женщина, которую ты любишь,
и крепкий чай, который ты пригубишь,
и астры белые, как первое признание
в то утро раннее.
Все будет без меня!
Другие женщины мой праздник заслонят.
И будет осень. Будет Подмосковьё
и тень моя над этой тихой кровлей.
Все будет! А пока, пока —
иззябну я, как берега
реки в декабрьскую стужу.

Аркадий Канькин

ЗВЕЗДОЮ ВЕДОМ

Крутыми страстями гонимый,
прореженным хвойным леском
он шел на свиданье к любимой,
призывной звездой вedom.

На звездочку глядя густую,
пружинящий чувствуя мох,
он песню составил простую,
земную, как выдох и вдох.

Слова без зазора плечами
сомкнулись и вдруг, осмелев,

друг дружкой озвучены, сами
собою сложились в напев.

Звучала так мощно, так ясно
та песня, но стихла, когда
над будничным домом погасла
в рассветных соцветьях звезда.

Проснулся, а песня забылась.
В иное ушла бытиё?
Лишь смутно под ребрами, мнилось,
маячило эхо ее.

И, лекарь и пекарь отменный,
шло время, света и темня.
Он тщетно искал во вселенной
ту искру живого огня.

Как только найдет ее — снова,
сквозь плоть его твердь и зенит
связау, от слова до слова
желанный напев прозвучит.

И если о творческих муках,
о тайнах, кошмарным трудом
проявленных в красках и звуках,
борзо лопотали при нем,—

припомнив иное движенье
мелодии к свету сквозь мрак,
он молча кричал в раздраженье:
— Не так все бывает! Не так...

Светлана Кузнецова

* * *

Вереском поросшие предгорья,
В розоватых отсветах земля...
Так всегда перед приходом горя
Ощущаешь цветность бытия.

Дорожа простым соцветьем мака,
Ты глядишь мечтам своим вослед...
Так всегда перед приходом мрака
Ощущаешь предпоследний свет.

На закате или на рассвете
Нас дороги приведут во тьму.
...А последний свет на этом свете
Не дано увидеть никому.

* * *

Пахнет сыростью, синюю ягодой,
И под первую сирой звездой
Ощущаю я первую надобой —
Никогда не бывать молодой.

А второю — навек покориться
Подведенной однажды черте.
Ничему не дано повториться
Ни в покое и ни в суете.

Жизнь творя терпеливой и плавной,
Повинуюсь во всем уступать.
Ну, а третьей, четвертой и главной
Ощущаю я надобу спать.

Чтоб спокойно под лиственный рокот
Собирать золотые грибы,
Понимая, что сны мои — роскошь
Потерпевшей крушенье судьбы.

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА

Память моя, будь ревнивой и строгой,
Только не трогай
Черную бабочку по-над дорогой,
По-над дорогой.

Черную бабочку, облачко черное,
Тварь беззаботную,
Тело любимым дуновеньям покорное,
Жизнь мимолетную.

Пусть над дорогой вечно качается
Бабочка эта,
Пусть молодыми крылами касается
Жадного лета...

Владимир Ведякин

* * *

Поедемте на поезде
По полверсты да по версте,
Хороший человек.
От полустанка к станции,
От пригорода к городу
Прокатим мимо старости
В негаданную сторону.
А по вагонам, чаю я,
Ходить все будут парюю
Гармошка одичала
С покинутой гитарою
Под песню столь знакомую,
Такою нам понятную,
Что никогда нельзя ее
Дослушать до конца.



К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХОВА

Борис Примеров

ВОСПОМИНАНИЯ О «ТИХОМ ДОНЕ»

Существует великое множество характеристик поэзии. Едва ли не каждый, прикасавшийся к ней, пытался выразить суть этого таинственного явления. Казалось бы, уже можно было и обобщить опыт, создав единую, универсальную формулировку. Но в том-то и дело, что единого ответа на вопрос, что же такое поэзия, нет и быть не может. Каждый говорящий вкладывает в предмет разговора свое, каждый перетягивает канат на свою сторону. И, пожалуй, в рассуждении о поэтике того или иного автора следует исходить прежде всего из его собственных определений. Тем более когда речь идет о поэте, никогда не писавшем стихов. Имя поэта — Михаил Шолохов.

В третьей книге «Тихого Дона» есть неожиданное авторское замечание: «...эти дни одолевала его поэзия, чужая певучая боль». Стоп! Вот и определение. Никакой лингвистической, никакой литературоведческой основы в нем нет — одно только ощущение, одно утверждение: поэзия — это живое человеческое чувство, *певучая боль*. Скажу честно, заметил я эту фразу совсем недавно, при сотом, может быть, чтении любимого романа. Заметил и возликовал — настолько она соответствовала моему понятию поэзии, ее внутренней, содержательной стороны, так же как поэтика Шолохова, его ощущение с самого первого прочтения совпали с моим мироощущением.

Я жил в краю крылатого ястребиного неба и галопом несущегося вдаль вольного простора, называемого степью. Я рос в краю, где дерево, как гостинец на праздник, было редкостью. Даже о березе я знал из песен и книжек. Сторона моя сладко пахла голубой полынью, улыбалась во все лицо веснушчатыми подсолнушками, мерцала темно-глазыми звездами пасленов, цеплялась за платье беззлобными колючками и сухим, к осени невесомым репьем. Шустрые, юркие тропки гнались за моими шагами. Эхо росы, эхо солнечного света разливалось над моим еще беспокойным чубом. Я всем существом впитывал в себя чудный рассол прибрежной, слегка увядшей лебеды и сотканный из ветра янтарный мед летнего высокого полдня.

В тот год, помню, мне исполнилось тринадцать счастливых лет. Тайком от родителей, схоронившись в лопухах за огородами, раскрыл я их «взрослую» книгу «Тихий Дон» и залпом прочел несколько первых глав. Теперь, читая и перечитывая роман, я многого не понимаю, многому удивляюсь, многое для себя расшифровываю. Но тогда мне было все

понятно, все до донышка ясно, захватывающе, цельно. Я не знал, что такое образ, мне были неведомы слова «метафора» и «эпитет», но угаданные, как я теперь понимаю, шолоховским вдохновением слова входили в душу, окружали меня, как воздух, будоражили воображение. «Неяркое солнце встало в полдуба»; «в кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки»; «конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой»; «На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не осознавая отчего, вспоминала: «Нынче есть что-то радостное. Что же? Григорий... Гриша...» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ошупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду»; «Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след»; «Евгений спешил, путаясь в незримой сети слов»; «Грязные пальцы деда Сашки коснулись ширинки, пробежали по длинному ряду ядерных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки»; «Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бессочным вялым огурцом»... Какая-то органическая связь слова со словом, какое-то нерукотворное их соединение до сих пор кажется мне необъяснимым и чудесным. Слова в прозе Шолохова встречаются друг с другом как бы впервые, высвечивают друг в друге какой-то забытый первоначальный смысл, возвращают какой-то утраченный со временем цвет и запах. «Боязнь забыть слово родила поэзию» — прочел я когда-то давным-давно в одной умной книге поразившую меня чужую догадку. Да, конечно же такова истинная природа поэтического слова. И точь-в-точь такова же природа шолоховской прозы. Не в лирических отступлениях и не в описаниях только, как у многих других прозаиков, раскрывается сильная лирическая струя этого подлинного поэта. Она помогает Шолохову детализировать характеры героев, делать их более выпуклыми, рельефными, сквозь призму поэтического видения мы смотрим на многочисленных персонажей романа, как сквозь увеличительное стекло. «Твердым, во всю ступню, волчьим шагом прошел чуть сутулый Каледин» — и больше ничего о нем здесь не сказано, а мы видим крупно всего человека, ибо метафора «волчьим шагом», легко уместившаяся бы и в поэтический размер, делает свое дело. Легко представить, как похоже написал бы этот портрет, скажем, такой поэт, как Павел Васильев.

Помню, как до головокружения и шума в голове во мне, никогда не видевшем, как я уже сказал, березы, вспенились однажды горячие и жаркие сло-



И. С. Конев, М. А. Шолохов, А. А. Фадеев. Осень 1941 года.

ва: «В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху и березово-белые ноги». Лишь спустя несколько лет прочел я знаменитые есенинские строки:

Тот, кто видел хоть однажды
Эту воду и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Родственность ощущения здесь налицо. Но не только в этом дело. Применительно к Шолохову можно говорить о единой и цельной образной системе, весьма близкой, а порою даже и перекликающейся с системами таких поэтов, как Пушкин, Есенин, Павел Васильев. Примеры? Да их сколько угодно! Вот, скажем, такое разительное совпадение: «За ветряком, в сухих кукурузных будылях, спотыкаясь, сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица», — читаем мы в первой книге «Тихого Дона» и тотчас вспоминаем стихи Есенина:

Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Кому-то может прийти мысль о заимствовании. Тем более что стихотворение «Русь советская», откуда взяты процитированные выше строки, написано и опубликовано в 1924 году, а Шолохов начал свою эпопею годом позже. Но охладим пыл заранее указанием на «первоисточник» — русскую народную загадку, опубликованную еще в прошлом веке известным собирателем фольклора Дмитрием Николаевичем Садовниковым (заметим в скобках, что загадка эта восходит к еще более ранней загадке, записанной в XVIII веке В. Левшиным):

Птица-юстрица
На девяти ногах стоит,
На ветер глядит,
Крыльями машет,
А улететь не может.

И напомним, что для выходцев из села фольклор не был мертвым, книжным грузом. В народном языке жили пословицы и песни, широко бытовали поговорки и загадки. Загадка — это поэзия по преимуществу, ибо она обладает не только поэтической формой, но само содержание ее поэтично, это художественное, метафорическое восприятие мира. И отражение его в творчестве и одного и другого художника — явление закономерное, подтверждающее основной посыл этих заметок: Шолохов родился поэтом, ибо его мироощущение уходит корнями в глубь родного языка, в даль живой, разговорной речи.

«Над канавой сорили пышный багрянец бог весть откуда занесенные листья яблони» — конечно же эта фраза пришла к Шолохову независимо от пушкинского:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.

И вместе с тем какое-то влияние, какое-то едва уловимое веяние, какая-то перекличка вдохновений — несомненны.

Я уже заканчивал эти краткие свои воспоминания, когда заметил, что по радио передают инсценировку пушкинской «Полтавы». Отложил в сторону ручку, заслушался и вдруг в сцене казни Кочубея и Искры явно «услышал»... Шолохова. Ну да, конечно же, как я мог забыть такой колоритный пример. Вот как Пушкин видит стекающийся к месту казни народ:

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки.
В строях равняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеинный хвост,
Полна народу, шевелится.

А теперь обратимся к шолоховскому тексту. В самом конце первой книги одна из главок начинается так: «Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой». Опять-таки и здесь в основе этого «совпадения» лежит родственность, поэтическая *вещественность* мировосприятия.

Впрочем, не одними только совпадениями и перекличкой с известными стихами подтверждается теза «Шолохов — поэт». Среди прозаиков таким же изначально поэтом был Гоголь. Недаром отрывки из его «Вечеров» или «Мертвых душ» мы еще в школьные годы легко запоминаем наизусть и храним их в памяти долго, как стихотворные строки.

Внезапностью души, вдохновением находит Шолохов свои слова, особенного художественного эффекта он достигает тогда, когда слова, как уже было сказано выше, встречаются друг с другом впервые. «День стекал к исходу», «полновесный блеск», «выметываясь из русла», «цедились дни», «зарезо, принакрытое черной полою тучи», «догорали песни», «они столкнулись глазами», «пушистый завиток снега», «по небу, сморщенному седой облачной рябью, колесило осеннее солнце», «в ноябре в обним жали морозы», «зеленые камышовые глаза», «томленные запахи травяного глена», «лед, трупно синее, вздувался», «время заплетало дни, как ветер конскую гриву», «ворон, древний, как степь», «казакует по родимой степи восточный ветер», «пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка», «и сейчас же лопнула дремная тишина», «чай с густым, тянким, как клей, медом», «губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и незахвачанным запахом свежести», «он видел только, что голова казачки в белом платке тихо поворачивается, следя глазами за ним. Так поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдающего за медлительным, кружным походом солнца», — но вот тут, пожалуй, уже и стоит остановиться. Иначе придется переписывать едва ли не весь роман, пестреющий, как многоцветная и пестроцветная донская степь, горячими цветастыми поэтическими строчками и полустрочками, разбросанными среди могучих скалистых глыб созданных Шолоховым эпических характеров и картин, среди чужой, такой певучей, такой щемящей, людской боли, придвинутой художником к нам вплотную, на расстояние песни.



Людмила Шикина

КОГДА МОЯ МАТЬ БЫЛА ПОЛЕМ

Когда моя мать
Была полем,
А я — лишь меньшей
И никчемной,
Она уходила,
Я помню,
Бороздкой горячей
И черной.
Она не просилась под крышу,
Воды не просила
И хлеба.
Казалось,
Не мать моя дышит,
А черное поле
Под небом.
Она становилась загоном,
А я —
Сиротой на припеке,
Бессильной, безродной, бездомной,
Чужой и ежу и сороке...
Потом конопушками проса
Мой плач,
Порассеянный в вёсну,
В ладонь мою сыпался прошлым
С метелки — по пояс мне ростом.
Потом мои слезы порушат...
«Когда моя мать
Была полем,
Ты помнишь?» —
Спрошу я подружку.
Она мне ответит:
«Не помню».

И мать мне ответит:
«Забыла...»
И помнит себя человеком.
Когда же,
Когда это было —
В каком нескончаемом веке?..

ЗЕМНОЕ СЛОВО

При голубом сиянье звезд
Ночь голубеет.
И голубой вокруг мороз,
И, голубея,
Летят олени на луну.
Каюр жалеет
Все с детства близкое ему.
И голубеют
Его печальные глаза.
Он вспоминает:
Он на прощанье не сказал,
Что улетает,
Что улетает от земли
С упряжкой синей.
Зачем он слово не сказал
Жене и сыну,
Зачем он слово не сказал —
Земное слово!
А вдруг ему не предстоит
Вернуться снова?..
И что он знает наконец
О сердце сына...
Чем дальше ветер от земли,
Тем больше стынет,
Стукаясь, синяя пурга.
Вот-вот вонзится
В чужие, мертвые снега
Упряжка-птица.

Но вот на розовых снегах,
Как в солнце белом,
Она в искрящихся мехах —
И меркнут беды.
Спокойно, ласково жена
С рогов оленя
Снимает синюю луну,
И в то мгновенье —
Теплеют чистые снега.
И я жалею,
И я жалею —
Что не я
Из лунной стужи
В такие светлые края
Вернула мужа.

ТИШИНА — ПАМЯТЬ

Принимают зайчики-
Глупыши
Сабли казачьи
За камыши.
Солнечные зайчики,
Где же ваша мать,
Или она мачеха?!
Вам несдобровать.

На эфесы искры
Осыпает звон.
Холодок риска,
С берега — в Дон,
С берега-обрыва,
Чтоб со дна
Не кругами рыба —
Тишина.
Тишина — память...
Пока плыть буду,
Отгорит пламя
Незабудок
И взойдут пашни,
Золотым хлебом,
Над могилой павших
Встанет солнце в небе.

Я из Дона в Волгу,
А из Волги в Белую
Буду плыть долго
К моему берегу,
Где казак старый,
Вперекор печали,
На свой стол ставит
Сыновьям чарки.

Сыновьям, павшим
За Россию,—
Алексею,
Павлу
И Василию.

Анатолий Поперечный

ДОРОГА ВОЙНЫ

Ее среди множества дорог
Забыть мы не вольны.
Она ведет, как вел нас долг,
Вновь в самый ад войны.
От хаты отчей,
От села,
От черных пепелищ
Она сквозь память пролегла —
Меж рытвин и кладбищ,
Мостов сожженных и полей,
Дорога из дорог,
Собрав и женщин и детей
В один сплошной поток,
И стариков, и тех старух,
Что двигаться могли,
Их в том содоме вырвав вдруг,
Как корни из земли.

Войны дорога —
Страшный шлях...
О память, не щади!
Хотел бы я за шагом шаг
Вновь этот путь пройти —
Среди беженцев, под вой фугас
И свист свинцовых пчел.
Я был меж них, когда тот «ас»
На «бреющем» прошел...

Стопкадром в памяти опять —
У черной той гряды
Кормящая застыла мать
С ребенком на груди.
Его, живого, оторвать
От мертвой, боже мой,
Как будто от нее спасать —
От матери родной!..

Войны дорога...
За холмом —
В огне, в дыму, в чаду...
И вот уже в сорок втором
Я вновь по ней иду.
А впереди — победный год,
Тот, сорок пятый, ОН!
Рубеж... И вот уже ведет
Дорога в глубь времен...

О, эти памяти пути
Забыть мы не вольны.
Покуда жив,
Мне все идти
Дорогою войны.

ПАРОМ ПОД КОСТРОМОЙ

Паром отчалил.
На нем — участник,
Войны участник,
Весь в орденах.
А на пароме — возы соломы
И бабы в черных сидят платках.
А на возу-то
Чудак Тимошка,
В руках гармошка,
Та, дедова.
Что он играет?
О чем вздыхает?
Кому мигает? —
Не ведаю —
Сей отрок рыжий.
Сажусь поближе.
В глазах — затишье,
Черт знает что.
Он — допризывник.
До яблок зимних
Охоч,
Он справит к весне пальто...
А на возу-то еще девчонка,
Вся в модном в чем-то,
И чемодан.
Куда-то едет,
Кому-то верит.
Тимошка этот
Ей что? — пацан.
Учились в школе
Одной, тем более
Неинтересен ей Тимофей.
И мне понятно, —
Он словно брат ей...
И пахнет мятой
С лугов, с полей...

Паром-Паромыч —
Рек русских помощь,
Пльви тихонько
К тем берегам, .
Где ждет нас встреча
С обычным, вечным
И бесконечно
Так милым нам...



Евгений Антошкин

* * *

Ты память мою не трогай...
Я берегом детства иду.
Припрятанной в сено остройгой
Себе добываю еду.

Ты память мою не трогай...
Чем дальше,
Тем горе видней:
Бредут по январским дорогам
Бездомные толпы людей.

Ты память мою не трогай...
Не знал я страшнее дорог.
В клок сена уткнувшись,
На дрогах
Я в смертном ознобе продрог

Ты память мою не трогай...
На мне ее мета видна.
Вставать по воздушной тревоге
Чуть свет научила она.

И клубни замерзшей картошки,
И поздней поры колоски,
И черные взрывы бомбежки
Ложатся еще на виски.
Ты память мою не трогай...

Олег Кочетков

КОЕ-ЧТО О СТАРОСТИ...

С внуком гуляет задумчивым парком.
Ходит за хлебом и молоком.
Жизнь ощущает — бесценным подарком
И с ощущеньем другим незнаком.
А застенает нога к непогоде
(Рана осколочная — вдоль кости!) —
Вновь он в своем молодом разведвзводе...
Нынешний день и прощай, и прости!
Крепко запахнет махрой фронтовою,
Отсвет коптилки мигнет в блиндаже...
Вновь предстают чередою живою
Те, кто остался на том рубеже.
Братья, товарищи, верные други...
Как же ему их недостает
В буднях рабочих и на досуге!
Годы сменяются — память живет!

Их не вернуть... И пытаться — напрасно!
Но перед хлебом и молоком
Космос распахнут огромно и ясно.
Как это — стать на земле стариком?

Василий Казанцев

* * *

Крутой кривулиной в полях
Искрится смоченный проселок,
Вода в оплывших колеях
Дымится — мягкая, как щелок.

Грозой насыщенная грязь
Мои ступни сжимает плотно.
И, между пальцев ног теснясь,
Подошвы гладит мне щекотно.

Бреду по блещущим полям.
Бреду по вязким колеям.
И так легко входить ступням
Во тьму родную, земляную.
Как в земляную тьму родную —
Крутым, витым, слепым корням...

* * *

Клевер красный, полевой,
Светлый, жаркий, огневой,
Все равно бы пламень твой
Я в душе лелеял.
Даже если б не снега.
Даже если б не года.
...Даже если б никогда
Я тебя не сеял.

* * *

Поздней осени уют.
Свет. Прохлада. Свист нерезкий.
Это рябчики поют
В поревшем перелеске.

Уловить хочу «прощай».
Но ни тени мук. Странанья.
Только радость. Только май!
Только чистый вздох свиданья!

* * *

И облаков погасла пена.
И стихли, смолкли голоса.
И зной утих. И постепенно
Исчезли в сумраке леса.

И ночь неслышно подступила.
И глянул свет из темноты.
И вспыхнул свод! И проступила
Сама основа красоты!

НОЧЬЮ В ПОЛЕ

Ясна, просторна высь. И плавно вправо-влево
Как бы качается далекий свет звезды.
Вознесшихся небес величественно древо.
В туманной мгле ветвей бесчисленны плоды.

Высокий, твердый ствол восходит к небу
стройно,
И легкая листва возвышенно поет.
И вечный сад велик. И красота спокойна.
И мощен бой в груди! И вечен звезд полет!

* * *

Это травы свистят? Или листья шумят?
Или мелкие крылья шуршат?
То не травы свистят. И не листья шумят.
И не мелкие крылья шуршат.

Это птица звенит. Это ветер поет,
Прилетевший от дальних болот.
Это маленький-маленький дождик идет.
Это родина тихо зовет.

* * *

Где трава молодая прохладна,
И бескраен глубокий покой,
И рассветная ширь неоглядна —
Две дороги лежат предо мной.

Берегут они свежесть ночную.
И овены дымкой ночной.
И похожи одна на другую.
И ведут они к цели одной.

И вздымается отсвет восхода,
Будто пламя огня, в вышину.
И ласкает мне сердце свобода
Из распахнутых выбрать одну.

* * *

Забота уходит в тревогу,
Тревога уводит в печаль,
Как тропка уходит в дорогу,
А та — в бесконечную даль.

...И радостью станет любая,
Любая, любая печаль.
...Хватило бы сил не мигая
Смотреть в беспощадную даль.

Андрей Вознесенский

ДОМИК ОХОТЫ

В доме охоты — гости, рога.
Смотрит спросонок
солнечным зайчиком сентября
льняноголовый сын лесника —
поздний ребенок.

Крестится гирей отец-богатырь.
В сбруе походной
мать. А в лесах совершается тир,
хохот охоты.

Лес, погляди на осенних гостей!
Мы, каждый третий —
поздние дети свободы своей,
поздние дети!

Плечи откинута в синяках
поздних прикладов.
Ранние судьбы свистят в небесах
крестной расплаты.

Поздние шубки наших подруг,
позднее счастье.
Поздние промахи наших подлюг,
пошлые страсти.
Мы победили. Не пропадем.
Мы не бездарны.
Но опоздали в главном своем,
жить опоздали!

Как прошумело над озерком!
Боже, как низко...
Прыгают в озеро кверху дымком
поздние гильзы.

Больше, чем дети, зная в себе,
мальчик смеется.
Как, виноватое, в сентябре
ласково солнце.

МЕТА

Читаю небо, став душою зорче.
«Я + Ты» — написано окрест.
Окончив труд, неграмотные зодчие
ставили в небе крест.

«Ястреб + облако» — написано над
местностью.

Гора + город. Даль + даль.
+ золотая неизвестность,
+ просветленная печаль.

А к вечеру луна + солнце,
подчеркнутые линией хлебов.
«Я + Ты» — стоит над горизонтом.
«Небо + я» = любовь.

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «СУХАРЕВА ВСАДНИЦА»

Дай мне, Москва, по максимуму
удачи, ударов, горестей.
Белого камня мячковского,
голоса вместо логоса.

Дай мне, Москва, по максимуму
на пару жизней, как минимум,
соборов — твоих помазанников
и плахи правее Минина.

Дай мне, Москва, по максимуму
растопчинского твоего дара,—
сжигая себя, помалкивать,
стать краше после пожара.

Родина моя малая,
замоскворецкий дворик,
учил ты меня по максимуму
жить, не подтирая двоек.

Люблю, когда мост твой Крымский
на ниточках, словно кукольник,
фигурки в салютных брызгах
держит над ночью угольной.
Это наш Бруклинский.

А вечером к нам, питомцам,
по вантам, как по перилам,
съезжало веселое солнце —
ни разу не занозилось!

Здесь видели далеко вы
в Москве-реке убеждений —
купающегося Третьякова
с мальчишками Рубинштейнами.

И люстры консерватории,
и врубелевское масло —
все в искрах реки касторовой
рождалось по максимуму.

Соседствует в наших улицах,
в отличие, скажем, от Питера,
по максимуму безвкусицы
с максимум наития.

Здесь не доверяют плаксе,
рисковое чтут начало.
Блаженный стоял на плахе,
но жив как ни в чем не бывало.

Прости, что порою, родина,
в защите мы немобильны
и хулитель статейкой-рвотиной
оскверняет твои могилы.

Дай мне максимализма
московских интеллигентов!
Не только по магазинам
к тебе ездят Ельцы и Генуи.

Заслуживают возраженья
взяточников малины,
но главное — в возрожденье
духовного максимализма!

Возьми с нас, Москва, по максимуму.
Счеты твои не мелочны.
Могилы отца и матери
гудят в твоём Новодевичьем.

Не чтобы жить задами,
в историю я ударился.
Чем современной зданье —
тем глубже глядит фундамент.

Все оси фундаментов точно —
Нью-Йорка, Коломны, Шартра —
пересекаются в точке
центра земного шара.

Растрелли и Растиньяки.
Демоны и Данаи.
Ракеты разъединяют,
фундаменты соединяют.

Там встретится шпиль алюминиевый
с нашими маковками.
Жизни отпущено — минимум.
Живите — по максимуму!

СУХАРЕВА ВСАДНИЦА

Сердце хватится Сухаревой всадницы!
Есть у всех народов добрый истукан.
Всадница-заступница верхом на фасаде,
опустив поводья, бродит по векам.

В годы изумрудные, отстав от свиты,
ты, бело-зеленая, вся в отца,
Сухарева всадница малахитовая,
возглавляла липы Садового кольца.

Взвейся, революция, огнем сплошным!
Оголяй, доносчик, для порки задницу...
На народной площади осадит лошадь
огненная всадница, огненная всадница!

Где сейчас те липы? Спросите кумушек.
За тобой последовали, говорят.

Из кольца Садового выпал камушек —
изумруд, по слухам, или гранат.

Над автомобилями слышу топот.
О невероятном расскажет Кáпица.
Это архитекторы камень долбят.
Видно, возвращается в город всадница.

ПОРТРЕТ

Я так долго тебя не писал —
лоб и дом, что никак не наладишь,
запрокинутых зубок печаль —
каждый снизу зазубрен как ландыш.

Как я долго тебе не писал!
По чащобам, свершая порубки,
я на ландыши наступал —
на твои задышавшие зубки.

ПИСЬМО АКТЕРУ

Обалдевшие цветы —
дань талантливости.
Любят голос твой. Но ты
всем до лампочки.

Пара падает в траву,
сломав лавочку,
под мелодию твою.
Ты ж — до лампочки.

Друг на исповедь пришел —
«пополам» почти.
Ну, а что с твоей душой —
ему до лампочки.

Муза в местной простыне
ждет лавандово
твой автограф на спине.
Ты — до лампочки.

Телефонят пол-Руси
клубы, лабухи,
хоть бы кто-нибудь спросил:
«Как ты, лапочка?»

Лишь врагу в тоске ножа
в страстной срочности ради торжища
голова твоя нужна,
а не творчество...

Но искусство есть комедь,
смысл ламанческий.
Прежде чем перегореть —
ярче лампочка.

Вячеслав Куприянов

ПЕСНЬ О ЛЮБВИ

Пятеро
переполняют лифт
Пятьдесят
переполняют автобус
Один
переполняет
душу

Многие
занимают деньги
Многие
занимают сказками
Один
занимает
сердце

Шестьдесят
на один час
Двенадцать
на один год
Один
на одну
жизнь

* * *

1
Моя родина среди земель
Моя родина среди людей

2
На моей родине ветры
со всех сторон света
На моей родине свет
со всех высот

3
Из глубин моя родина
и мой дом —
гнездо
на дереве мира

4
И есть с кем остановиться под деревом
Есть кому подарить цветок
Есть с кем разделить плод
Есть кому послать в письме осенний лист

5
Качайте меня ветви
Держите меня корни

Лариса Сушкова

* * *

Наш месяц смотрит своенравно
На лес, на пруд и на песок,
Юпитер заслонив: он главный —
Он, ослепительно державный,
Повернутый наискосок.

Где отражения огней,
Слышны гребки пловца ночного.
На берегу она — готова
Ждать, отогреть его скорей —
Касанием, дыханьем, словом.

На завтра вот какие вести:
Погожий день рассеет мрак,
И двое снова будут вместе.
На крюк сверкающий повесьте
Ведро: удержит — значит, так.

* * *

На летнем раздолье Суздаля,
Где людно без суматохи,
Снилось твое отсутствие,
Сдавлившее ребра на вдохе.

Ослепла в то утро волглое
Без видимой я причины.
А ныне под белым облаком
Кольшется зной гречишный.

И спрашивать, видно, не с кого:
Утаиваньем правды
Ветры горячими всплесками
Ходят в сон и обратно.

* * *

То неправда, что лучшие годы
Откричало в полях воронье:
Я боялась любой несвободы,
А теперь призываю ее.

Небывалая бьет лихорадка,
Или хлещет жестокий самум —
Обессиленная, украдкой
Обращаюсь к тебе самому:

Воротись!
Если с огненной жадой
К влаге путник усталый приник —
Так, дразня его каплею каждой,
На глазах исчезает родник.

Сергей Крыжановский

ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛЕТО

Для пацанов любая даль желанна,
Загнать домой нас было мудрено,
А тут еще на нескольких экранах
По вечерам бесплатное кино.

Я жду и верю детской душою,
Что тот возникнет долгожданный свет
И что страстей, дублируемых мною,
Сильнее в мире не было и нет.

Там королеву славят мушкетеры,
И по Клошмерлю катится скандал,
И сам шериф, красивый и матерый,
Коварный план гуронов разгадал.

Какие там события и люди!
И я стою, стою разинув рот...
А завтра мать чуть свет меня разбудит
И в очередь за сахаром возьмет.

Владимир Сергеев

ТОВАРИЩ МАРШАЛ

Какие счета между нами?
Все так, как Родина велела:
Одни — командуют фронтами,
Другие — сектором обстрела...
Был недосуг «взирать на лица» —
«Держать!

И ни на шаг!

Ни с места!».

Для вас — сто двадцать верст землицы,
А для меня окопчик тесный...

Вам в наступлении по праву
Дана на круг вся ширь земная.
А мне — плечо соседа справа
Да под ногой трава степная...

Не зря войны тугие жилы
Гудят в сердцах и перепонках:
Ошибка Ваша — много жизней.
Моя оплошность — похоронка.

Но общим был и труд, и роздых
Для тех, кто смерть и кровь изведал,

И радость общая, как воздух,
Одна была у нас — Победа!

И мы до гроба друг за дружку!
Товарищ маршал,
без стеснения
Идите к нам. Наполним кружки
За тот последний день
весенний...

Борис Куликов

УМИРАЮТ СТАРЫЕ ОРЛЫ

*Памяти поэта Якова Шведова, автора
знаменитых «Орленка» и «Смуглянки».*

Орел смотрит на солнце.

Поговорка-истина

Умирают старые орлы,
Бывшие бесстрашные орлята.
Как они, не ради похвалы,
К солнцу устремлялись когда-то!
Как они парили высоко,
Степи и тайгу обозревая,
Как глядели дерзко и легко
Прямо в око солнца, не мигая.
Клекот их, веселых, молодых,
Разносился гулко по планете.
Кумачовой песней красный стих
Вел в бои за лучшее на свете.
Нам бы тот же голос, тот же глаз,
Дерзость — пролететь по поднебесью,
Нам бы хоть когда-то в жизни раз
Спеть такую яростную песню,
Чтоб потомки не для похвалы
Заявили чистыми сердцами:
Умирают старые орлы,
Песни их пребудут вечно с нами!

НАРОДНАЯ ДУША

В известной антологии Ежова и Шамурина «Русская поэзия XX века» — в разделе «Пролетарские поэты» — многими стихами представлен Яков Захарович Шведов. В первом же стихотворении читаем:

В темном небе — облако плакучее,
За оврагом кличут петухи.
Всю я радость и тоску певучую
Положу в цветистые мехи.

Этими строчками о гармонике и о себе Яков Шведов словно бы предопределил собственный путь. Он, ро-

дившийся в начале века в тверской деревеньке Пенья, был семилетним мальчишкой привезен отцом в Москву. К одиннадцати годам став круглым сиротой, беспризорным, «исколесил всю Россию на крышах теплушек». Не пропал он в силу подлинно народной смекалки, душевного оптимизма да еще в силу случая. А насмотрелся и наслушался многого — как говорится, на всю жизнь хватило. Его увлекательные и неисчерпаемые устные рассказы были пронизаны этим ветром невольных странствий. Стихия крестьянской речи, врезавшаяся в детскую память, встретила в его сознании с говором московского рабочего люда: Шведов стал рабочим «Гужона», впоследствии завода «Серп и молот». К этому надо прибавить страсть к чтению, к собирательству редких книг. Шведовская библиотека — предмет его гордости — была под стать его колоссальной памяти и здравому смыслу. Такую библиотеку мог бы иметь Кола Брюньон — разумеется, Кола в русском варианте. Книжная мудрость у Якова Захаровича счастливо сочеталась с лукавством тверского крестьянина, московского мастерового. Такой он был народный человек и по хватке, и по слову, и по тому кругу людей, к которому тяготел.

Он знал Есенина, Фурманова, Олешу, Шолохова... Любо-дорого было слушать, когда собирались в писательском клубе старики побеседовать о литературе: Яков Шведов, Михаил Рудерман, Иван Дремов, Иван Молчанов. Во время таких бесед, не уставая, светило образное слово. Нескончаем был родник шведовских рассказов из народной жизни, освещенных народным толкованием имен и названий... (сейчас уже мало кто знает, что Якову Захаровичу принадлежала интересная повесть «Юр-Базар», опубликованная по рекомендации А. Фадеева в «Роман-газете»). Неожиданные острые реплики Ивана Афанасьевича Дремова дополняли шведовские разноцветные рассказы, по существу не противореча им. А с каким, помнится, интересом слушалась так и не законченная, утерянная, вероятно, сказка в стихах Михаила Исааковича Рудермана «Дед Мороз и бабушка Жара»... Более всего в этих беседах ценилось неожиданно найденное, своеобразное, незаимствованное: сюжет, метафора, определение. Но и при этом многое — надо сказать откровенно — не доводилось до конца, утрачивалось, существовало иной раз в черновых набросках, а то и просто лишь в устной форме.

В прошлом году троих из них — Шведова, Рудермана, Молчанова — не стало. За каждым из этих имен слышится своя особая песня: «Орленок», «Тачанка», «Прокати нас, Петруша, на тракторе»... Это не просто песни — это песни, воспринятые народной памятью, живущие, можно сказать, на ее глубине. На долю их создателей выпало редкое счастье в жизни.

Шведову первую известность принесла еще в самом начале тридцатых годов «Качка» («Чайки плачут, но моряк не плачет никогда!..»). Самоцветны, распевны его «Проводы партизан» (как проникновенно ис-

полнял эту песню Сергей Лемешев!), «Смуглянка», «Рос на опушке леса клен»... «Орленок» же вошел не только в историю литературы, но и в историю народной жизни. Что принес Шведов этой своей песней в общее литературное дело? В центре ее — не огненный поток событий, но человек, героическая личность, живая душа:

Орленок, орленок,
Блесни опереньем,
Собой затми белый свет!
Не хочется думать о смерти,
поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.

И эти пронзительные, вызывающие всенародную жалость и отклик слова: «Лети на станицу, родимой расскажешь, как сына вели на расстрел». Искорки этой песенной поэзии запали в миллионы и миллионы молодых душ.

Яков Шведов не посрамил своей песни. Он всю жизнь был честен и прям, необыкновенно лично скромнен, храбр. Среди многих его боевых наград была и медаль «За отвагу», так хорошо выражавшая сущность его натуры.

Владимир Лазарев

Лев Смирнов

СТАРИННЫЙ ВЗВОЗ

По старинному идет он взвозу,
По камням, не знающим износу,
По едва пробившейся траве,
● И плывут, качая куполами,
Вровень с молодыми облаками
Киевские горы в синеве.

Ничего душа не позабыла:
Помнит сквозь горящие стропила,
Сквозь кресты в безумном вираже,
Как когда-то солнце спозаранку
Здесь одну будило киевлянку
В старом доме, в пятом этаже.

Оживали ниши, окна, двери,
И на кровле каменные звери,
И фасада темная стена —
А напротив, полный восхищенья,
На живые эти превращенья
Юноша дивился из окна.

Киевлянка песни распевала
И цветы из лейки поливала.
Как такое вычитать из книг?
И казалось юноше, что это
Лишь игра обманчивого света,
Длящаяся вечность или миг.

Юноша, задумчивый и странный,
С болью и тревогой непрестанной
Вспоминал об этом на войне.
Где бы ни тащился он устало,
Все четыре года распевала
Киевлянка юная в окне.

Как она жила все эти годы?
Обошли ли дом ее невзгоды,
Не нарушив здешней тишины?
Или, сея смертную угрозу,
По старинному скатилась взвозу
Колесница страшная войны?

Ничего душа не позабыла!
Сорок лет назад все это было.
Сорок лет мелькнули, как во сне,
И все годы песни распевала
И цветы из лейки поливала
Киевлянка юная в окне.

По старинному идет он взвозу.
Нет, уж не поднять того, что с возу
Давнею обронено судьбой!
Только снова, снова спозаранку
Юную он видит киевлянку
В том окне над крышей голубой.

АВВАКУМ

Руки его грубы и стары́,
Но глаза — один острей другого:
— Ничего глупее нет горы,—
Вид один, а проку никакого!

Осужденым тронут старый дух,
И слова — одно другого строже:
— Это что за невидаль — лопух?
Не еда, не книга, не одежда.

Клок седой, но жесткой бороды
На ветру как вызов полыхает:
— Что за речка — столько в ней воды
Понапрасну в море утекает.

То ль сидит в нем странная болезнь.
То ль избыток сил кипит напрасно:
— Вон петух — и крылья вроде есть,
А взлететь не может выше прясла.

Как он строг, возвышен и угрюм,
Сколько мощи в старом человеке!
Может, это гибнет Аввакум,
Не найдя призванья в нашем веке?
Может, это в гуще дел людских
Мощь свою природа утверждает:
Равно и апостолов своих,
И своих хулителей рождает?

* * *

Шел я полем — и в душу мою
Холодком от погоста тянуло...
И я видел, как бабка в раю
Над квашнею склонялась сутуло.
Смутно в памяти я воскрешал
Дорогие и древние лики
И о судьбах земли вопрошал
У простого цветка повилики.
На рассвете пройти бороздой
Я молил журавля золотого —
И страшился мой дед молодой,
И шептал от погибели слово.
А в просторах бескрайних земных
Неземные пропеллеры пели,
И от мертвых — далеких — родных
В мою сторону вздохи летели.
Завывал надо мною металл.
Жаждал мук человеческих и крови.
Я пророчествам древним внимал
И себя к испытаниям готовил.
Я стоял возле древней звезды,
И во мне моя брезжила сила...
Дед мне слово шептал от беды,
Бабка тесто в раздумье месила.

* * *

Затерялась береза в столице
На людском хитроумном пути...
Может в небе гроза разразиться,
Но березу в толпе не найти.

Слишком ствол ее нежен и тонок,
И листва обгорела в огне...
Только малый и видел ребенок
Золотистую ветку в окне.

Затерялась она, как наперсток,
Средь машин и диковинных плит.
Ее помнит людской перекресток,
Но судьбу ее в тайне хранит.

А береза не сгнула в нетях,
При угле не пошла на дрова.
Превратилась при птицах и детях
В золотые, как осень, слова.

Десятилетий протяженность
Вместил отрывистый дневник.
В пережитое погруженность,
Чередование дат былых.

Я стал взыскательней и строже.
Не все страницы хороши,
Но вникнешь — и порою все же
Блеснет свидетельство души.

* * *

Федя Глебов — русский пейзажист,
Незабвенный мой однополчанин,
Сквозь разрывы и осколков свист
Слышал он листвы и трав молчанье.

Различал он средь кромешной мглы,
Привыкая к дымовым завесам,
Сосен красноватые стволы,
Стайку птиц над опаленным лесом.

Горожанин, был я слеп и глух.
Федя Глебов тем проникновенней
Погружал меня, как добрый друг,
В мир пернатых, в общество растений.

Он листал альбом походный свой
В Новоржеве, средь сожженных улиц:
— Вот, привез набросочки... Усвой —
Аисты в Петровское вернулись!

Чем точней изображал войну
Фронтовой редакции художник,
Тем сильнее любил он тишину,
Совершенство далее бестревожных.

И, когда вернулась тишина,
Возвестив о щедрых переменах,
Он ее запечатлел сполна
На холстах своих послевоенных.

Он, шинель и гимнастерку сняв,
Оставаясь в боевом запасе,
Воспевал цветенье, ледостав,
Блики солнца, благолепье пасек.

Посещал знакомые места,
Снова постигая свет и горе
Там, где открывалась высота
Оживающего Святогорья.

В громоносный реактивный век
Воскрешал он мирное звучанье
Подмосковных ручейков и рек,
Пушкинского озера Кучане.

Федя Глебов — однокашник мой,
На своем последнем вернисаже,
На Кузнецком, раннею зимой
Выставивший поздние пейзажи,—

Взмахом кисти он провозглашал:
— Не пишу баталий, не взыщите.
Лик земли — начало всех начал.
Наш исток нуждается в защите.

Он свои творенья, словно полк,
Выстроил повзводно и поротно.
И теперь, когда он сам умолк,
Тихо говорят его полотна.

Владимир Фирсов

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Поэма

В детстве дед казался старым.
Говорил и сам, что стар.
— Я, внучок, иду с базара,
Ты шагаешь — на базар...

Дед говаривал умело,
Емким словом дорожил.
Под базаром разумел он
Жизнь, которую прожил.

Это я потом лишь понял...
Славной жизнь его была.
Он за власть Советов поднял
В дни гражданской полсела.

Ранен был случайной пулей.
А печалиться не стал:
— Ну, подумаешь, пальнули!
Что я — пули не видал?..

Дед говаривал умело,
Емким словом дорожил.
Под базаром разумел он
Жизнь, которую прожил.

Он, как все, пахал и сеял.
Плуги, бороны ковал.
Сыновей растил, лелеял.
Весел в праздники бывал.

Лапти плел на всю округу.
Рад был радости чужой.
Был товарищем и другом
Всем, кто светел был душой.

Отличался дед стараньем.
Фантазируя, не врал.
Травы знал. За врачеванье
Денег ни с кого не брал.

В доме чисто, глянуть любо.
Тщаньем бабушки — тепло.
Дед был стойким однолюбом,
Это знало все село.

Вдовы ахали бедово,
Их томил телесный пыл.
Понапрасну сохли вдовы! —
Дед мой бабушку любил.

Их весною каждый вечер
В роще видели вдвоем.
Дед водил ее на встречу
С постаревшим соловьем.

Так и жили.
Не тужили.
Жили дружною семьей.
Мирным делом дорожили,
Дорожа родной землей...

В день, когда худые вести
Подтвердились — про войну,
Дед ушел с сынами вместе
Защищать свою страну.

Он, как истовый родитель,
Сыновьям в пути твердил:
— Вы меня не подведите,
Я ведь вас не подводил...

Смертью храбрых двое старших
На чужих полях легли.
От отцовских слов уставши,
Молвил дед:
— Не подвели...

Дед дожил до Дня Победы.
И рейхстаг был дедом взят.

А всего-то было деду
Лет, должно быть,
Пятьдесят...

Помню деда возвращенье.
Вот ступил он на порог.
— Мать! — кричит.—
Прошу прощенья!
Сыновей не уберег!

Гимнастерку рвет на теле,
Неутешно плачет дед.
— Все! — кричит.— Осиротели,
Снохи — вдовы с юных лет...

Помню — аж мороз по коже! —
Дед, прошедший полземли,
Все твердит одно и то же:
— Ах, ребята,
Подвели!..

Громко бабка голосила,
Голосило все село,
Голосила вся Россия —
Всей России тяжело!..

Помню, как запахло в хате
Малосольным огурцом...
Дед меня стыдливо гладит:
— Жди, родной, вернется батя...
Веселей оно с... отцом.

А глаза — размыты кровью.
Сизый дым под потолком...
— За помин!
И за здоровье!
За победу над врагом!..

Пели, плача, половицы,
И, оправившись от слез,
Хрипло дед сказал:
— Гостинцы
Я вам с бабушкой привез.

А привез он из Берлина
На солдатские гроши
Бабке — швейную машину,
Ну а мне — карандаши.

Дед ласкал меня. И старым
Вновь казался мне тогда.
— Все, внучок!
Пришел с базара!
А тебе судьба — туда.

Помню деда слез прогорклых
Вкус
И дедову постель.
Горьким порохом, махоркой
Пахла дедова шинель...

Утром
Кузница запела,
Повстречалась
С кузнецом!..

Дед в те годы
Между делом
Был мне дедом
И отцом...

Много лет уже минуло
С тех победно-славных дней.

Ветром времени не сдуло
Память
С памяти моей...

Вечным будет День Победы,
Вечным алый шум знамен!..
Я — почти ровесник деду
Тех всепамятных времен.

И порою я устало
Сам себе вопрос твержу:
— То ли я иду с базара,
То ли путь к нему держу?..

Я не многое изведал
В жизни той, что жизнь дала.
Мне дала она — Победу.
И твержу я: «Вот у деда,
Вот у деда — жизнь была!»

Да, была кристально чистой!

И припомнил я о ней —
Пусть не очень-то речисто —
Для себя, для сыновей.

Я, как любящий родитель,
Им с рождения твержу:
— Вы меня
Не подведите,
Я ведь вас не подвожу... —
Совесть Родины желанной
Надо жизнью подтвердить!..

Да и мне с базара рано,
Ах, как рано уходить!

Мы еще свое доскажем,
Поживем в трудах восласть.
Мы еще не раз докажем —
Что такое наша Власть.

И не раз мы вспомним деда
Добрым словом в добрый час.
И священный День Победы
Мы отпразднуем не раз!



Лев Котюков

ПОЕДИНОК

Черный снайпер бьет на шорох,
Я лежу, к земле прижат.
Чертов снайпер бьет на шепот,
Черный снайпер бьет на взгляд.

Головы поднять не смея,
Сохрани, земля.. — молю.
Черный снайпер, сатаня,
Выжидает жизнь мою.

В землю черную вжимаюсь,
Онемевший и слепой,
В землю теплую вживаюсь,
Становлюсь землей самой.

Вглубь, системой корневою
Кровь пульсирует моя,
Рот забит сырой землей,
В сердце — гулкая земля.

Я встаю над горизонтом,
Вся Земля со мной встает.
Где ты,

где ты,

снайпер чертов?!

Кто кого теперь убьет?

Татьяна Глушкова

* * *

И. Р.

И выпало нам дивное богатство —
все, что любили, разом потерять,
и в чистом поле беженцами зваться,
и в теплом пепле — родину искать.

Вдоль всей огромной да по всей священной
брести, зажав победу в кулаке, —
как будто окруженец или пленный
с последней пулей в мокнушем виске...

Ведь что ни смерть, то мысль о новой
встрече

с отчизной, где опять цветет сирень,
как в тех руинах, гаснущих далече,
где над крылечком — ласточкина тень;

она навек приклеена к карнизу,
как к бездомовью — память о гнезде.

А я смотрю еще пока что снизу
на куст, на луч, скользящий по воде,

на огонь свечи и на разбитый кафель,
на сытый гуд гневливого шмеля...
А век — он мне подарками потрафил,
когда взметнул над крышей журавля.

Когда — какие вольные подарки! —
печалями печали утоля,
смотрела в синь сквозной Софийской арки,
а дале были минные поля.

Я так всегда смотрю на эти вещи,
как будто впереди еще — внимать
тебе, раскат полуденный, зловещий,
что даже мертвых мог бы растолкать,

что в землю вбил мой лучезарный город,
чтоб дух бессмертный из земли восстал,—
и оттого-то вечно будет молод,
кто был так гол, и голоден, и мал.

И оттого-то вечно молодыми
сойдем туда, где плавится закат,
где веет гарью, травами степными
и журавли возвратные летят...

НА ПОЛУСТАНКЕ

А детство пахло запахом платформ,
влекущих дымовую поволоку...
Здесь даже чайки находили корм
озерные — вода неподалёку.

Здесь даже русский чистенький малец
казался вам чумазым или смуглым.
Здесь пахнет гарью вика и чебрец,
песок зернится синеватым углем.

И львиный зев иссушенную пасть
раскрыл, глотая раскаленный воздух.
А паровозам — без вести пропасть,
лоснящимся, в широких алых звездах.

А поездам — по-прежнему слепить,
пугая на безлюдном переезде.
И сизой сталью вспыхивает нить,
летающая в забвеньи и в безвестье.

Как будто натекая из лесов,
взяв серебра из озера лесного,
мешая уголь с запахом цветов
и гарь — с дыханьем холода ночного.

И берег детства — в осыпях седых,
курится пылью и мигает шлаком.

А ты опять взволнованно затих
пред беспризорным, одичалым злаком.

Пред низкорослой пчелкой, что сюда,
бесстрашная, с гречихи прилетела.
Клепал кузнечик эти поезда.
Здесь ласточка транзитная звенела.

Здесь бабочка капустною душой
на золотой ромашке трепетала,
здесь клевер кормовую головой
вздыхался над обломками металла.

И здешней почвы пламенный изъян
переходил на детские рисунки.
Ты ведал, сколько вызрело семян
в укромных закромах пастушьей сумки.

Ты ведал, сколько выгонят коров
на выпас и которой — отелиться...
Вон Зорька — все-то тело из углов —
идет понуро, смотрит как вдовица.

Ты ей навечно предан — и слепней
ольховой веткой прогоняешь в поле.
А на закате тащишься за ней
задумчиво и точно мимо воли...

И вот уже остались за спиной
молочный луг, и колея на круче,
и выхлоп, и горячий, навесной,
широкий дым — как будто хлеб пахучий...

* * *

М. и А. Василевским

Я никуда не уезжаю,
ничуть не уезжаю я.
И он вполне подобен раю,
вокзал, где плач и толчея.

И вот уж тянется предместье
за пыльным солнечным окном;
худой подсолнух на разъезде;
барак, назначенный на слом.

Утиный пруд; муравный дворик;
на клумбе жгучие цветы;
и дым — он сладок или горек,
опять не понимаешь ты...

И женщина в обвислом платье
проходит с тяпкой в огород.
Гармошка вспыхнула некстати
у вечеряющих ворот.

И голубеет рубашонка,
и, озираясь по пути,
фигурка малая ребенка
бредет — с котенком позади.

И отрывается от нивы
и резво движется к селу
комбайн, а сумрачные ивы
плывут в тумане, как в мелу...

И никуда ты не уедешь
от этих трав, от этих шпал.
В разлуку яростную метишь —
в любовь бескрайнюю попал.

И научил себя забвенью,
и не глядишь уже окрест,
а все ж, по щучьему веленью,
ты сам — пылинка этих мест.

Ты сам — та сизая поляна,
та голубая колея,
и в волнах дымного бурьяна
кружит крапивница твоя.

В безлюдье, думаешь, безвестье
да в нети вольные уйти...
А все ж на солнечном разбеге
очнешься — мысли посреди.

И о тебе взметнется щебет,
и о тебе рокошет лес:
— Гляди, и впрямь куда-то едет.
Сюда! И только что в объезд...

Иван Николюкин

ДА ПОГОНЯЙ!

Подручный бык не слушает меня.
Налыгачем истер, издергал руки.
Я понимаю: оводы и мухи,
Я понимаю: клекая земля.
Я до ярма не дотянусь рукой,
И мы шагаем медленно, но в ногу.
Друг к другу привыкаем понемногу.
И пот с меня, и пот с него — рекой.
А за чапыги держится мой друг.
Ему сигарка обжигает губы.
— Да погоняй! —
Кричит он зло и грубо.
Опять из борозды скользнул наш плуг.
А вслед за нами шествуют грачи.
Уж переждали б там, где зимовали,
Нет, фронтное небо штурмовали,
И днем рискуя жизнью, и в ночи.

— Да погоняй! —
И я гоню быков
И висну на налыгаче без силы.
Последний клин вытягивает жилы.
— Да погоняй! —
Нас двое «мужиков».
Придет под вечер Фрося-бригадир
Измерить сажнем адскую работу.
— Давай, давай,
давай, давай, пехота!
Не ордена, так премии дадим!

Олег Алексеев

* * *

Предание живо в моей стороне —
Деревня пропала в военном огне.
Пропала, как будто под землю ушла.
Лишь пепел курился, кружила зола.

Но слышат донныне в ненастье леса
Подземные, смутные голоса.
Доносят глубокие чаши озер
В весеннюю ночь несмолкающий хор.

Послушай, услышишь в гуденье ветров
Мальчишеский смех и мычанье коров.
А только заря над холмами взошла,
Ударят глубинные колокола.

Наслушался я осторожных речей,
То, дескать, бушует подземный ручей,
А звон — это гулкое эхо в холмах.
Иные живут и при солнце впотьмах!

Я верю, я знаю: и я не умру.
Я к ним, несгоревшим, сойду поутру.
Спущусь по крутой потаенной тропе,
И с прадедом рядом я встану в толпе.

И девочка молча прижмется ко мне,
Что снилась так долго в плескучем огне.
Лишь корни столетние над головой...
И люди услышат мой голос живой.

* * *

У черного леса, в лошине,
Где летом по пояс трава,
В соседстве с моей на Псковщине
Живет деревушка Москва.

Шли танки, амфибии плыли,
Патроны желтели во рву...
Фашисты нахально острили,
Что взяли без боя Москву.

Нашествие было внезапным,
Но парни у нас горячи —
На конях верхом — к партизанам.
— Откуда вы, кто?
— Москвичи...

И край наш не встал на колени,
Те гордые вспомнил слова,
Когда поднялась в наступленье.
Как буря, большая Москва.

* * *

Пусть память меня остужает
Предчувствием новой грозы,
Пусть вечер — без слез — нагружает
Былыми мечтами возы.
Уходят они, воз за возом,
К незримой черте бытия...
По-прежнему пахнет навозом
Любимая мною земля.
По-прежнему белая птица
Клюет на поляне росу
И чьи-то забытые лица
Мерещатся в смутном лесу.
Как прежде, усталая мама
Полощет печаль на реке,

А света осталось так мало,
Что взвесишь его на руке.
И вечер уходит по крышам,
Ведь солнце уже за чертой.
И нам вместе с мамой — все выше,
Наверх — по тропинке крутой.

* * *

Самолет похоронен в болоте.
В сорок первом, в июле подбили враги.
И молоденький летчик сидит в самолете,
И положены руки на рычаги.

Потемневшее тело осталось нетленным.
Как новехонький — в кобуре пистолет.
Пулеметная лента сбегает к коленям.
А с тех пор уже бездна минула лет.

Там на кочках — талая журавина,
Обгорелая ель — будто черный крест.
Ровно в полночь гудеть начинает мшарина,
И гудение слышно верст за десять окрест.

Объясняет учитель: болотные газы выходят,
Из глубин вырываются на простор.
А мне верится — летчик машину заводит,
И ревет, надрываясь, мотор.



К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭДУАРДА БАГРИЦКОГО

Светлана Коваленко

КАК РОДИЛАСЬ ПЕСНЯ

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас...

Кто не знает этих крылатых строк из поэмы Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки!» «Песней» назвал их поэт, имея в виду не жанровое определение, а то высокое состояние духа, которое они выражали.

За словами этой «песни» — героико-романтическая эпоха, молодость поколения, к которому принадлежали Багрицкий и Тихонов, Фадеев и Светлов...

О том, как родилась «песня», Багрицкий рассказывал: «Смерть пионерки» я писал два месяца. Все время обрабатывал, обрабатывал и замечал, что все как будто бы чего-то не хватает. И однажды, помню, читаю — и вдруг мысль: не хватает в этом стихотворении моего личного отношения к этой пионерке. Тогда я ввел туда песню. И, когда написал и стал читать снова, ясно стало, что вот этого-то и не хватало».

Разумеется, Багрицкий говорил о «личном отношении» не в привычно понимаемом, бытовом смысле. Личным отношением проникнуто любое художественное, а тем более поэтическое произведение. Речь шла о другом: об усилении личностного, лирического начала в поэме. Разговор «о времени и о себе», начатый Маяковским, продолжили разные поэты с самыми различными индивидуальностями. «О времени и о себе» значило — через себя о времени.

В архиве Эдуарда Багрицкого сохранились рукописи поэмы «Смерть пионерки», позволяющие проследить и понять, как велась работа, как развивалась художественная мысль поэта; взыскательный к себе автор трижды переписывал это произведение. Мы видим, как из свидетеля, традиционного повествователя поэт становится участником событий, одним из героев поэмы. Появляется строфа, не вошедшая в окончательный текст поэмы, но весьма важная на пути поиска:

Не моя ли молодость
Начала игру,

Не моя ли форменка
Плещет по ветру.
И не я ль вожатый
В переключке труб.

Образ поэта — вожатого пионерского отряда хорошо вписывался в общий контекст поэмы, открывая тему пионерии, о которой, как справедливо замечал Багрицкий, до того «никогда не писали в большой литературе». Теперь он восполнил этот пробел, создав героико-романтический образ пионерки (в жизни — одноклассницы его сына Всеволода). Мелкособственнический мир «предместья», где жила Валя, изо всех сил цепляющийся за нее, вынужден отступить перед «зеленым и синим» миром — умирающей девочке в ее последнем видении сквозь уже подступающую черноту салютуют

Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

Казалось, поэт выполнил поставленную перед собой задачу. Можно было считать работу законченной. Но тема по-прежнему тревожила и «не отпускала». Не только личный опыт участника революции и гражданской войны, но и сама логика художественной мысли вела к новым художественным открытиям. Поэма о пионерке оказывалась шире темы пионерии, а самому поэту было «тесно» в образе вожатого. Взволнованные размышления о связи времен и поколений требовали больших масштабов, память уносилась в прошлое, соединяя его с живой современностью. «Не погибла молодость, молодость жива!» — восклицает поэт, пристально вглядываясь в лица ребят, друзей Валентины и сына Всеволода, тех, кому через десять лет (поэма «Смерть пионерки» писалась в 1931 году) выпало доказать свою верность Красному знамени в битвах Великой Отечественной войны.

...Илья Эренбург вспоминал, как в только что освобожденном от фашистов Курске молодой советский военачальник Иван Данилович Черняховский, высокий, порывистый, «веселый тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любимцев... смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать: «Нас водила молодость в сабельный поход...»

Эмоциональный центр поэмы «Смерть пионерки», «песня» обрела самостоятельную жизнь, ушла «в мир, открытый настежь бешенству ветров...».

Через увлечение свободолюбивой, революционно-романтической поэзией Эдуарда Багрицкого проходит каждое новое поколение. Его вдохновенной «песне» суждена долгая жизнь.



Алексей Кафанов

* * *

Когда о революции я думаю,
Когда хочу ее представить лик —
Я вижу ошестинившийся дулами
Вдоль мостовой гремющий грузовик.

Матросы в нем, солдаты и рабочие,
Стоят в обнимку на ветру крутом.
Они построят новый мир, а прочие
Останутся отныне за бортом.

Промозглая погода петроградская.
Глухая ночь. Безлюден тротуар.
Лишь высвечена эта темень адская
Лучами двух автомобильных фар.

Еще не время главному сражению,
Не вышел срок под пулями упасть,
Когда они по высшему решению
Брать будут государственную власть.

По классовому чувству справедливости,
По ярости, накопленной в груди,
Угадывая в жесткой прозорливости,
Какие испытанья впереди!

На много лет — страда вооруженная.
И обнаженно-острый меч ЧК
Поднимет над Россией напряженная
Железного Дзержинского рука.

* * *

Огромен мир — вода, земля и воздух,
Мы бытием застигнуты врасплох.
Куда-то ввысь взлетит наш первый возглас,
Куда-то вглубь уйдет последний вдох.

Как черновик, исчерканный крест-накрест,
Исчерпан день. Ну что его беречь?
Но вдруг судьбы размеренный анапест
Вторгается в обыденную речь.

И прошлое проступит из забвенья,
Сквозь времени колеблющийся дым,
Даруя ясность позднего прозренья,
Чтоб все расставить по местам своим.

Ты помнишь, как в солдатском затрапезе
Четыре года отходил сполна?
Жизнь на крови, на пепле, на железе
Замешена была. Была война.

По сверстникам, по самой сердцевине
Родившихся в двадцатых, стрелевых,
Такой удар прошелся! Сколько ныне
Осталось их — на пересчет — в живых?

Еще знакомый привкус самокрутки
Порой возникнет на губах, горча...
Такие в поколениях промежутки —
Лесоповал, под корень, от плеча!..

Да разве мы б чуть-чуть не потеснились,
Когда б они вернуться к нам смогли —
Взахлеб дышали, всласть воды б напились?
На всех, поди, хватило бы земли.

* * *

Разве я старею? Просто старше
Становлюсь. Седеет голова.
По дороге топаю: ать-два!..

Чуть подамся влево или вправо —
В общем-то я двигаюсь вперед.
И, наверно, рассуждая здраво,
До сих пор мне все-таки везет.

Ну побольше, может быть, удачи,
Ну не отступаться б на ходу.
Вот и все уложится, тем паче
Ничего особого не жду.

Не лишен ни зрения, ни слуха,
И не сбились каблучки сапог.
Есть и хлеба черного краюха,
И картошки белый котелок.

Были б дети живы и здоровы,
Дело бы не выпало из рук —
Жизни изначальные основы,
Что не сразу осознал, не вдруг.

Вновь увижу яблони в апреле,
Вновь услышу клыканье скворца...
И, пожалуй, нет превыше цели —
Путь пройти достойно до конца.

Евгений Рейн

СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ

От бульвара Тверского
до бульвара Цветного
повторяю все это
снова, снова и снова.
Время — сорок четвертый,
я учусь в первом классе,
едет конник червонный
по аллеям и штрассе.
Нарисовано это
на Кузнецком мосту,
чтоб увидеть все это,
я хожу за версту.
Помню азростаты
и оркестры эстрады
в парке, где выставляли
«тигры» и «фердинанды».
Тех салютов московских
никогда не забудем —

Жуков и Рокоссовский,
Черняховский, Ватутин.
Помню тех офицеров
с новыми орденами,
в гимнастерочках серых
проходивших меж нами.
Время цвета атаки,
не защитного цвета —
наши красные флаги
и Победа, Победа!

Ирина Волобуева

ПОБЕДА

...А я все вспоминаю ту
Холма крутого высоту,
Оправленную в яркость лета,
Как по зеленой гуще трав
Ты, первым на нее взбежав,
Воскликнул радостно: «Победа!»

А к той Победе, что рейхстаг
Повергнув,
вскинула наш флаг,
Ты не вбежал, ты шел к ней годы,
Уже не мальчик, а боец,
Войной измотанный вконец,
Месил грязищу непогоды.

День занимался или мерк,
Ты плыл к ней по стремнинам рек,
Болотами — по склизкой гати,
То в ночь, с опасностью вдвоем,
По снегу, взрытому огнем,
Ты полз к ней в белом маскхалате.

Ее в пути, из года в год,—
Важнейшую из всех высот —
Ты брал, все тяготы изведав.
Она заискрилась, трубя.
...Как больно мне, что без тебя
Кричали воины: «Победа!»

Взмыл, майским солнцем озарен,
Вихрь торжествующих знамен,
И радость с горестью смешалась.
И без тебя, придя само,
Твое последнее письмо
В моем ответе не нуждалось...

Но в мыслях все-таки потом
Писала я тебе о том,
Как стала жить на белом свете
Сшедшей в будни — с высоты

Победа наша, та, что ты
Своею смертью обессмертил.

Писала, как во всех годах
Она росла, брала размах —
Приверженица чуд-открытий.
В незримых письмах, как могла,
Душой я летопись вела
Многоступенчатых событий.

И осеклась...

Нет, счет годам
Не кончен! Вьется птичий гам,
Глубь неба солнцем разогрета;
Но, близко видя тень беды,
Я не хочу, чтоб знал бы ты,
В какой опасности Победа.

Спи, друг, ей жизнь свою отдав,
В твоих глазах пусть зелень трав,
Тот холм и лета переливы.
Покуда, солнечно пыля,
Светясь, вращается Земля,
Кто брал Победу, будут живы!

Спи, убаюкан ветерком,
Метелью, ливнями, цветком,
Листвой, повернутою к свету.
Твое — останется твоим.
А мы,

мы насмерть все стоим.
Чтоб нашу уберечь Победу!

Александр Бобров

ПАРАД НА НЕВЕ

Спокойно с державным теченьем борясь,
Вошли, громыхнули цепями.
Ноябрьская дымка сгустилась, явясь
Военными кораблями.

Быть может, для Балтики хмурой как раз,
Для царства туманов холодных
И крейсеров серо-сталистый окрас,
И черно-сталистый — подлодок.

Они не прославлены в давних боях,
Но дышат готовностью к бою.
Стоят на параде, на ярких буях,
Равняясь по Марсову полю,

Где слава — борцам, а не богу войны,
Где ответ Огня на кирасах.
Они, громовые, — хотят тишины.
И серые — праздничных красок.

Анатолий Парнара

ЦИОЛКОВСКИЙ И ГАГАРИН

В тот год, когда учитель умирал,
Смоленский мальчик, юный несмышлениш,
Свои шаги начальные всего лишь
По родине росистой совершал.
В тот год, когда учитель умирал.

Никто еще не ведал на Земле,
Что этот мальчик силой дерзновенной
Откроет для землян простор Вселенной
И даст виток в бессмертном корабле,
Никто еще не ведал на Земле.

Но все предвидел мудрый тот старик,
Как в космосе предвидел перегрузки,
Что будет летчик...
Непременно русский...
А потому что разумом велик,
Он все предвидел, мудрый тот старик.

Пока его пророчество сбылось,
Свершилось в мире столько катаклизмов...
Но выстояли мы, лишенья визнавав,
И время — четверть века — пронеслось.
Но все ж его пророчество сбылось.

Анатолий Тучин

МИЛЛИАРД

Сквозь тундру вычерчен дугой
огнями Новый Уренгой.
Плакаты всюду как приказ:
«Тюменский газ!»
«Тюменский газ!»
Бурлят Надым и Салехард,
и всюду слышно:
«Миллиард!»

Казалось,
на века продрог
тот край
без крова и дорог,
встречавший только
скрипы нарт,
и вдруг:
«Тюменский миллиард!»

Еще и первый санный след
пургой в сугробы не одет,
как строим буровых
на старт
второй выходит миллиард.

Иван Киуру

ЖАТВА

Комбайны — корабли земли
Метут колосья, словно пену...
Чуть-чуть качнулись — и пошли! —
Пошли на волн высоких стену.

Плывут, плывут за небосклон,
За горизонты окунулись,
А вскоре — глянь! — со всех
сторон
Опять армады их вернулись.

Велик и труден их поход
И с каждым разом вновь первичен.
Над ними самый небосвод
Замедлен стал, широк, эпичен...

Земля тяжелая гудит,
И хлеб в машины льется споро,
А ветер утренний сердит;
Уж в степь зима ворвется скоро!

Тогда
Степные корабли,
Новейших будней каравеллы,
Уйдут спокойно — шляхом белым —
Туда, откуда и пришли.
Проходим долго будет сниться
Скольжение их за край земли.

* * *

Как медлителен в поле апрель!
Но — с грачиной толпой — нарастает
Шум из рощ... Влажный бархат блистает
Борозды — в окна трех деревень.

Травы первые кинулись в рост
У канав, под березы корнями.
От грачей теплый цвет переняли
Строки ласково-черных борозд,

Виснет теплая влажная мгла,
Лес, деревни и поле связуя:
В странно-вечном как будто лесу я
Все бреду от села до села...

Не скрипит, мягко прядая, мост
Меж полей в лозняковой низине.
Тускло светятся звезды трясины —
Кочки, в близком соседстве борозд.

Летом чибис звенеть и кружить
Здесь любил, мой старинный приятель!

Уж не знаю, гнездо где он прятал,
Только дружбу умел он ценить;

На дорожке встречал! — не в кустах,
Где свирель соловьиная бродит...
Постоянство и верность
В природе
Неприметного племени птах.

Кланялся лихо он
И танцевал
До собраньица лоз и березок,
Где рассвет был пронзительно-розов
И где в полдни косец пировал.

...Как медлителен в поле апрель!
Но летит из Египта мой чибис —
Страж дурмана болотистых зыбей
И мостков — между трех деревень.

Вечно радостен весен приход!
Перелет отступлений не знает...
Терпеливо равнина лесная —
Необъятная! — чибиса ждет...

До родного домчит ли болота?
Строить хрупкую прочность гнезда?
Птицы выше условий полета.
Как художник — условий труда.

МУЗЫКА

Прекрасна и грустна легенда листопада,
Нежна, как золото, багряна и ярка.
Не слышит никого. Ей ничего не надо.
В ней вопль дерева и всхлип смычка.

Нет, никогда того не высверкнуть мне
словом! —
Негромок, скромн, беден мой талант,
Простейшим не учен я музыки основам,
Но в снах своих — я лучший музыкант!

О гений цвета и божественного звука!
Тебе благодаря ведь я не прах земной...
Дика сия сомнамбулическая штука,
Но и другим того желаю под луной.

Оркестры мне слышны, которых не бывало:
Они — ни Запад, ни Восток, их быть и не
могло

Под солнцем! Ибо сам не ведаю начала
Той музыки, что сердце мне зажгло...

Кто и откуда музыку нам посылает?
Зачем? В какой она слагается стране?
Но отблеск звездный на лице моем пылает,
Когда неслыханные гимны снятся мне.

Олег Зверев

НА ВЕКА ВЕКОВ

Как ни чернит ее хула,
Как старый мир ее ни судит —
Россия есть, как и была,
И на века веков пребудет.

Да и не столь уж и страшны
Заморские наветы эти,
Коль есть надежные сыны —
Российской чистой крови дети.

Недаром предки полегли
В своей земле и закордонной,
Чтоб недруги нас не смогли
Увидеть с головой поклонной.

А если колокол литой
Забьет набатом в дали мгlistой,
Отцов и дедов прах святой
Ударит в сердце —
Встань и выстой!

И встанут, горды и сильны,
Опять за целый мир в ответе,
Страны надежные сыны —
Российской чистой крови дети.

По свету вновь пройдет хвала,
Никто зарок наш не осудит:
Россия есть, как и была,
И на века веков пребудет!

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

Всю жизнь приметы берегу —
В них детства выраженье,
Я помню стадо на лугу
В замедленном движеньи.

И вижу тракт издалека,
Телегу в клубах пыли.
И плавно плыли облака,
Их тени плавно плыли.

Река купала косы ив,
Прохладно было ивам.
Недальний отражал залив
Церквушку над обрывом.

Вдали покос шел в жаркой мгле —
Там косами махали.
Перекликалась жизнь в селе
Одними петухами.

Тогда не строили палат,
Но жили — были средства...
Враз оборвался этот лад
Войной, отнявшей детство.

...Я был там через много лет.
Бродил, как на чужбине.
Но не нашел я детства след —
Жилья нет и в помине.

А может, не было села?
Ну что мне за отрада,
Что память четко сберегла
Луг, избы, ивы, стадо?

Тамара Жирмунская

С ПОЛУСЛОВА

Поймите меня с полуслова,
в несвязном нащупайте связь.
Неужто рассказывать снова,
когда я и где родилась.
Он общий, наш рай коммунальный;
и лестница с розой витков,
и общий звонок inferнальный,
и прыщики личных звонков.
Какая школярская наглость,
какой очевидный конфуз —
рифмуя стихи сикось-накось,
ломиться в святилище муз.
А музы-то, женщины сами,
заводят тебя, засмеют:
«Далеко ль с такими стишками?»
Но кончила литинститут.
На шпильках, в малиновом платье,
взлетаю без лифта туда,
где стены в дешевом накате,
в мелу и пыли провода.
Бог с ними! Условно постукав,
из двери — в заветную дверь,
и воздух арбатских проулков
сгущается, как суховей.
...Гул классов и аудиторий
сменяет вселенская тишь.
А этот... тот самый... который...
Над ранней могилой стоишь.
Так что же: все махом, все прахом?
В премудрость ученых страниц
вникаю с надеждой и страхом,
и мне объясняют они,
что наши мечты и химеры
идут не на лом, не на слом,

а входят в состав ноосферы¹,
под сенью которой живем.
Мы многое делали плохо,
но верит Вернадский В. И.:
грядет золотая эпоха
свершений, добра и любви.
Рожденной на склоне тридцатых,
мне, может, удастся, как знать,
свой самый последний десяток
на гребне веков разменять.

* * *

Когда умирают отцы,
меняются матери наши.
Вдовицы (как редки вдовцы)
и ходят и смотрят иначе.
Неважно, вся грудь в орденах
за выигранные сраженья
иль скромный отличия знак —
латунный «Отличник движенья», —
он значился как генерал
на тайном семейном совете,
от жизненных бурь заслонял
и даже, и даже от смерти...
Дорога идет под уклон,
и мать все прозрачней, все меньше.
Мужской опрокинут кордон,
и смерть дотянулась до женщин...
Лишь в снах безоружных своих
мы видим родимые тени.
Как много хотели от них,
как мало от них мы хотели!
Чтоб в стирку таскали белье,
пекли пироги и печенье.
Они ж выполняли свое
высокое предназначенье:
детей оведали теплом,
цепляли своими корнями.
Сломались — и рухнул заслон
меж смертью и глупыми нами.

Игорь Кобзев

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Цветенье астр и хризантем
Не в силах радость приневолить:
Вся эта пышность — лишь затем,
Чтоб грусть ненастья обезболить.

Вот-вот на раны сыпать соль
Начнут заносы снеговые.

¹Ноосфера — царство человеческого разума.

И лишь на миг смягчает боль
Живых цветов анестезия.

РЕВНОСТЬ

Где все звонкие слова,
Наших первых встреч напевность?
Спорить, выяснять права
Нас толкает злая ревность.

Нежность взглядов, свежесть чувств,
Золотой порыв к веселью
Вянут, как весенний куст,
Оплетенный повителью.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

Мы встретились — как обрученные,
Как свет обретшие слепцы,
Как на разлуку обреченные
Нашедшиеся близнецы.

Для счастья были бы все признаки...
Но сзади — две чужих судьбы
Стояли строгие, как призраки,
Как пограничные столбы...

ПОСВИСТ ПОЕЗДА

Почему же с таким постоянством
Завлекает меня, словно диво,
Отраженный зеркальным пространством
Гул усталого локомотива?

Почему в своем беге далеком,
Пробуждая тоску и тревогу,
Посвист поезда с явным упреком
Меня вечно торопит в дорогу?..

Наталья Сидорина

ДОЧКА

Плакала ночью дочка:
— Отпусти ты меня
погулять в лесок.
Что ей сказать?
Там старое лохматое дерево
держит в лапах звезду.
А дочка стоит на своем,
как стоит на своем трава.
— Отпусти ты меня
на часок.

Что ей сказать?
Там в облачные скалы
ветры звезду упрятали.
Стало совсем темно.
А дочка стоит на своем,
как стоит на своем трава.
Что ей сказать?
Там зверь с головою собаки
разинул пасть
и съел звезду.
Стало темно,
как в чулане.
А дочка стоит на своем,
как стоит на своем трава.

Я распахнула дверь
и говорю:
— Иди.
— Подожди,— говорит,—
когда вырасту...

Я тихо прикрыла дверь.
Но чудится мне,
что дверь открыта...
И нету сильнее страха
в сердце:
а что, если
завтра вырастет!

* * *

В ту зиму тонкий лед
на речке всех пугал,
«Уж скоро он сойдет»,—
однажды дед сказал.

До марта снег летел
на воротник и шапку,
как будто кто вертел
на небе коловратку.

Так проходила жизнь,
слегка меня касаясь.
На маленький карниз
ко мне снега слетались.

Нежданно на реке
скатилось солнце в прорубь.
Воркует на руке
ручей, как будто голубь.

И, может быть, тогда
я совершила путь,
который никогда
не вправе зачеркнуть.

Геннадий Русаков

* * *

Спасибо вам — за жизнь, не за науку:
я никого не брал в учителя
и сам кладу в подставленную руку
лишь то, что брал, с другими не деля.

Спасибо вам, что вы меня пустили
и дали мне прийти на этот свет.
Я в нем гостил, а рядом вы гостили.
Но вы в нем есть, меня же будто нет.

А все равно я тоже рядом с вами —
делю ваш хлеб и в лица вам гляжу,
держу ваш свод у вас над головами
и никуда еще не ухожу.

* * *

Зову — меня не слышит
оглохшая душа.
Сидит и косо пишет
куском карандаша:

«Вчера мела пороша
последний раз в году.
Я это тело брошу
и по миру пойду».

Ну вот еще, обуза!
Кому ты здесь нужна —
дичок, глухая муза,
ревнивая жена?

Уйдешь — найду такую,
что пляшет и поет,
не плачет, не тоскует,
хмельное зелье пьет.

С такой не заскучаешь —
довольна пустякам.
...Что ж ты не отвечаешь,
лишь гладишь по щекам?

* * *

Легко мне ходилось, любилось,
хотелось, гляделось, ждалось...
Легко — и спасибо за милость.
А время мне трудно далось.

Я трогал столетию руки,
но горб на него не ломал.

Я жесткое тело разлуки
в горячечном сне обнимал.

Любимая, дай мне напиться
из узкой ладони-ковша!
И воздухом — влажной тряпичей —
утрется седая душа.

Утрется, пойдет — оглянется,
полой поестрит у жилья.
Такая еще молодая,
такая уже не моя...

* * *

Опять вовнутрь повернуты зрачки
и больно мне
и больше не глядится.
На ледяные хилые сучки
бессмертный дрозд по воздуху садится.

Все это здесь: эвакупункт, вокзал
и районо — пособия на сирот...
Но я уже про это рассказал.
Закроем слой — он был напрасно вырыт.

Конечно, суть не в частности: они
лишь матерьял, без них намного проще —
без названий, без имен родни.
Пускай лежат в земле родные мощи.

Суть — в этой крепости низкого пласта,
в чередованьях страт, в осенней воле,
пришедшей в наши скудные места,
чтоб отчеркнуть крылом бугор и поле.

Суть в том, что пафос нужно заземлять,
чтоб волосы восторгом шевелило
при повторенье слов «отец» и «мать»;
чтоб за окном так безутешно лило

во все шесть окон, чтоб шатался дом
от жалкой пиротехники карьера.
Чтоб в воздухе, бесстыдно молодым,
дымилась влага и ночная сера.

* * *

Собираются в стаи грачи,
день-деньской на бугре хороводят:
на дорогу пекут калачи
и последние дружбы заводят.

Вон зевластый сидит на кусте,
горлопанит и слушает эхо.
Посмеяться б такой простоте,
только что-то совсем не до смеха.

Черен мой канцелярский сюртук,
и лоснится суконная нитка.
Встану рано, открою на стук —
все готово. Попытка — не попытка...

Вы, что были чужие, — мои!
Вы, что будете, — голос из мрака!
До приюта в другом бытии,
до веселого птичьего знака!

Ну, а ты, как проснешься, не плачь,
лишь зерно раскидай возле дома.
Прилетит к тебе масляный грач
и с прищуром посмотрит знакомо.

Надежда Кондакова

* * *

Ах, если б снова ничего не смыслить
В разделах филологии пустой
И словом «свет» не просто корень числитель,
А некий воздух, движимый звездой.

И в потемневшем камне малахите
Искать не позабытые следы
Былых геологических событий,
А дух листвы и вспененной воды.

Гляжу туда, откуда нет возврата,
Не в строгий ботанический прищур —
Мне виден мир, живой и многократно
Усиленный и резкий чересчур.

Он верит мне, как верили невесте, —
Сомнения смешны его уму!
Над ним во сне склоняются созвездья,
И рыбы повинуются ему.

И я к нему протягиваю руки,
Движением ресниц снимая сон...
Чтоб вновь пройти сквозь родовые муки,
Вернуть словам утраченный огонь!

* * *

Принеси мне грозу и мучительный зной,
Расколи надо мной небеса вполювину,
Все равно восхищенье дорогой земной
Я оставила сыну.

Эту крестную речь, это круглое «о»,
Это мягкое «г» праукраинских пашен, —
Колдовство, говоришь? Ну пускай
колдовство! —
С ним и ворог не страшен.

Он напрасно плывет, как растрепанный крест,
И напрасно кружит над родною равниной,
Все равно эту русскую речь, этот жест
Я оставила сыну.

Лягу в рыжую глину, уйду, как вода,
Перейду навсегда в исчисления света,
Но душа моя будет спокойна, когда
Я почувствую это,—

Потому что в тот миг все рябины земли,
Все плакучие ивы, все рощи рябые
Обо мне затоскуют, заплачут ручьи,
Потемнеют Урала глаза голубые.

Я жила на земле, и дышала землей,
И к земле прислоняла усталую спину.
Путь в репьях, в молочаях, в пыльце золотой,
Ковш Медведицы с черной, тревожной водой
Я оставила сыну..

Валентина Мариничева

* * *

Где увидит окно мороз,
ему не надо стараться!
Талантливо, без конца,
узором станет забавляться.
Я дыханьем стираю их,
а ему и горя мало:
возникают на окнах моих
лица цветов небывалых.

* * *

Задержалось Лето у околицы
На последней погадать ромашке...
Почему-то грустный Клен стоял
И не рад был золотой рубашке.

* * *

Цветут по-зимнему деревья,
На крышах белые чепцы.
И воздух свеж, как будто рядом
Едят мальчишки огурцы.

* * *

Время... Время...
Кто видел его лицо?
Оно голубое, наверно,
На пальце Вселенной — кольцо...

Рувим Моран

* * *

Из-под снега зеленая травка —
Промелькнувшего лета убор;
Видно, плоть ее так тугоплавка,
Что не хочет сгореть до сих пор.

Под бутылочной, зеленоватой,
Полированной линзой льда
Шевелится река и куда-то
Утекает беззвучно вода.

Так под пеплом седин, не стихая,
Бьется жилка на впалом виске,
Словно мысль потайная, глухая
Все не хочет сдаваться тоске.

Иван Олейников

* * *

На Камчатку из Владивостока
Нас ведет Полярная звезда,
И глядит Вселенная стооко,
Как в ночи беснуется вода.
Расходилась непогода к ночи,
Волны закружились, словно дым,
Будто море нас проверить хочет —
Прочно ли на мостике стоим.
С клотиком звезда не расстается,
Вздрагивает палуба слегка.
Словно из бездонного колодца
Появился проблеск маяка.
Всем огням на свете цену зная,
Я не сомневаюсь в том ничуть:
Не маяк, любовь твоя земная
Светит мне, указывая путь.

Мария Аввакумова

* * *

Черный снег.
Ожерелье деревни
до слезы обжигает глаза.

Все черно:
небеса, и деревья,
и дороги далекой коса.

Ночь.
Картина пустой преисподней,
где, в поступках своих не вольна,

в голубой
рубашонке исподней
сумасшедшая ходит луна.

Счастья нет.
Но в любом направленьи
от людских башмаков борозда.

Черный снег.
Ожерелье селенья
до слезы обжигает глаза.

* * *

Срок настал. Вот и я начинаю
проникаться значением слов:
что такое Ползу и Летаяю,
что такое Озноб и Любовь.

Как недолго неведенья лето
паутинкой висело. Увы,
для того мы на круглой планете,
чтобы век налетать на углы.

Николай Никишин

ШАРАПОВА ОХОТА

В заревой кровавой позолоте
Бился вечер, как глухарь-подранок.
Я сошел в Шараповой Охоте —
Есть такой в России полустанок.

Странное название... И громом
Надломилась красная рябина...
С электрички в месте незнакомом
Я сошел без видимой причины.

То ли блажь пристала отчего-то...
То ли вдруг нашла тоска глухая...
Прочитал: Шарапова Охота.
Да, была действительно
такая!

Молодцы — от пьяного угара
Или убежавшие со съезжих —
Под шарап охотились у яра
На брэнчавших золотом проезжих.

Возникла страшная ватага
С кистенями, ружьями, ножами.

А потом в колдобинах оврага
Находили
связанных вожжами...

Может, все на самом деле проще —
Не разбой, не тайна, не шарада:
В глухаринной, заповедной роще
Некогда охотился Шарапов!

Я как вижу: под еловой кроной,
Над колючей шапкой краснотала
Острой, жгучей сталью вороненой
Черное перо затрепетало!..

Падает оно в мои ладони —
Смутный отблеск древнего болота! —
И на склоне, от зари зеленом,
Я пишу:
Шарапова Охота...

Анна Гедымин

ЛИТВА

Посвист ветра, отзвук леса,
Привкус хвои и печали,
Спят песчаники белесо,
Словно сахар в стылом чае...

Для души, пожалуй, будет
Разорительнее кражи,
Если вдруг она забудет
Прибалтийские пейзажи.

Станет мучиться, как птица,
Что не в небе и не в клетке...
Очень странно — не родиться
На земле, где жили предки.

Ярослав Ратушный

СЕСТРА

А ветер дул в открытое лицо
и разорвал стеной летящий снег,
и скользкое замерзшее крыльцо
зашевелилось, словно человек.

А я стоял без шапки на снегу,
и дом светился в четырех шагах,
но шла сестра сквозь горечь и тугу,
и снег блестел в засыпанных глазах.

Но шла сестра сквозь вьюгу, сквозь меня,
и был настоян холод на любви,

и ледяная мерзлая родня
не растворялась в замершей крови.

Но шла сестра по снегу в теплый дом
и спотыкалась на чужом крыльце.
И горбились под ветром мать с отцом,
дыханье ощущая на лице.

И мне хотелось подбежать к отцу
и матери — застывшим и седым.
Но шла сестра по скользкому крыльцу
и становилась снегом неживым.

Лиля Нанпельбаум

* * *

Не отнимай последнюю зарю!
Не прерывай ручьем текущий лепет!
В последний раз
 поет впервые лебедь,
И я в конце
 стихами говорю.
Мы в смерть не верим
 с лебедем вдвоем.
И в час, когда
 теряем все на свете,
Последнюю надежду
 на бессмертье
Бессмертному
 искусству
 отдаем.

Валерий Хатюшин

ДОЛГ

Жили предки мои на калужской земле,
был до старости дед кузнецом на селе.

Всякий знал в Концеполье того кузнеца,
в Концеполье, где полю не видно конца.

...А земля под Калугой тверда и суха,
мужику дорогй борона и соха.

От истертых подков лошаденка плоха...
И мой дед молодой раздувает меха.

Он в огне докрасна раскаляет металл,
как учил его дед, как отец наставлял.

И гудит наковальня, и молот поет!
На селе кузнецам и доньне почет.

Дед, он сам прокалился кузнечным огнем...
Но фамильное дело заглохло на нем.

Поспешила война сыновей загубить...
Мне осталось одно: никогда не забыть,

что он верно пронес по прямой борозде
пепел предков своих на седой бороде.

КОРНИ

Деревья собираются в дорогу.
Они бы в тайном сговоре могли
в ночном тумане скрыться понемногу,
но корни их стремятся в глубь земли.

Какую непонятную тревогу
они забыть хотели бы в пути?
О, как деревья тянутся в дорогу!
Скрипя стволами, селятся пойти.

Их день и ночь безудержные ветры
зовут в свою раздольную страну,
они туда, склоняясь, тянут ветви,
но корни их уходят в глубину.

Им снится край светлее и просторней,
и шум листвы не умолкает в нем...
Но с каждым днем уходят глубже корни,
держась за землю крепче с каждым днем.

Анатолий Третьяков

* * *

Деревня стихла для ночлега,
И все задумчиво молчит,
И гулко старая телега
По тряской гребле простучит.

Густой туман ложится низко,
Темнеет сумрачно река.
Нам до района, в общем, близко,
Час с небольшим до городка.

На этой дряхлой колеснице
По этим гатям и мостам.
А завтра поезд до столицы,
И через день явлюсь я там.

Гляжу в поля: ночное небо,
Звезда, что теплится едва...
Здесь все в себе, как будто небыль
И жизнь иная, и Москва.

И мне бы что там, за полсвета,
И что я только там забыл,
Я б хоть сейчас с предсельсовета
Коня назад поворотил.

Но председатель сельсовета,
Попутчик мой, махнет кнутом,
Он, как никто, он знает это:
Зачем мы едем с ним по свету,
Зачем на свете мы живем.

И вот клубится там, за мною,
Печаль и пыль родных полей,
И остается за спиною
Судьба с судьбой, звезда с
звездой
Печальной юности моей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возниц в потемках перебранка,
Храпенье чуткого коня,
И от ночного полустанка
Везут убитого меня.

Ну вот меня и нет в помине,
Под сердцем холод от штыка,
И голова на мешковине,
Неловко согнута рука.

И мне теперь, пока по свету
Везут сквозь ночь, сквозь темноту,
Терпеть и слушать ругань эту,
Дороги тряской маету.

Небес бездонное зиянье,
Над головой звезды качанье,
Храпенье чуткого коня...
Еще далёко до Отчизны,
И, может быть, не хватит жизни
Ничьей, чтоб довезти меня.

Юрий Каменецкий

ХРУПКОЕ БЕССМЕРТИЕ МОЕ

— Дед, когда ты воевал,
разве не было меня?!
Из разговора с внуком

Хочется у времени в потемках
Побродить, ища потомков след...
А он вот он.

И веду потомка
Я, без памяти влюбленный дед.
Я пытаюсь говорить с ним круто,
Только разве проведешь мальчика? —

Сообщающиеся сосуды
У потомков с предками сердца.
Таю от тепла его ладошки,
Душу плавит синий свет очей.
Не спускаю глаз с него сторожких,
Берегу, как сказочный Кощей.
Лист дрожит на тополиной ветке,
Гул толпы, шуршание машин.
Я — в двадцатом.

В двадцать первом веке
Будет жить вот этот гражданин.
Мы шагаем в уличном потоке,
И бурлит людское бытие.
За ручонку я веду потомка,
Хрупкое бессмертие мое.

Борис Маслов

* * *

Под самое утро утихла гроза.
С намокшею шерстью на брюхе
у братской могилы пасется коза
одной сумасшедшей старухи.

К березе привязанная бечевой,
не может она подобраться к цветам.
Цветы доросли до «ПЕТРОВ, рядовой»,
им не дорасти до «ПЕТРОВ, капитан».

Они зацветают. На то и весна.
Им не дорасти, ведь разрыв двухметровый.
И душит веревка с темна до темна
козу сумасшедшей старухи Петровой.

Татьяна Сырыщева

* * *

Дубья, дубья,
золотые клубья!
Поговорка

Ах, дубки, дубки, дубки,
головы кудрявые,
мчитесь наперегонки
дружную оравую.
Добежали до пруда,
дальше некуда: вода.

Вы дубки мои, дубки,
горя вы не знаете,

рыжих листьев завитки
позже всех роняете.
Говорят: ваш древний род
был зеленым круглый год.

Ветром гнутые дубки,
снегом отягченные...
Золоченые клубки,
желуди точеные.
Жду весны, когда парча
будет сброшена с плеча.

* * *

В лесу я ловлю соловьиное пенье дрозда,
рядом рокочат, на стыках стучат поезда.
Но в рокот железа вплетается музыкой дрозд,
как будто бы в воздухе строит узорчатый мост.

Плывут мне навстречу шары золотые купав,
цыплятами иволги в мягкий подлесок упав.
Нога ощущает пружины — сырые бугры.
Когда еще землю подсушит дыханье жары!..

Растущий без усталы светлый березовый лес
уходит вершинами в синюю бездну небес.
И все здесь такое, как было, как будет
всегда...

Но, тишь беспокоя, уносятся вдаль поезда.

Олеся Николаева

ДЕРЕВЬЯ

В лес войди как бы случайно,
слушай — у деревьев тайна
есть своя:
издалека
достигает по цепочке
голос ивы-одиночки
ельника и сосняка.

Жаль, что в звуках каждой драмы
различаем лишь себя мы,
узнаем свои черты
и твердим, что дни — лукавы:
иссыхают, словно травы,
оппадают, как цветы.

Но деревья — не об этом
всем озоном, светом, цветом,
зовом, звоном на ветру.

жизнью — над собой не властной,
и любовью беспристрастной,
и росой поутру...

...Может быть, и я когда-то,
небом и землей богата,
встречу наступленье дня
со слезами примиренья,
чувствуя, как смысл творенья
прорастает сквозь меня!

Александр Городницкий

* * *

Веселой зеленью одета,
земля осталась за кормой.
Уходим мы в разгаре лета,
чтобы назад прийти зимой.
Напоминая о метели,
летят листки календарей,
как будто можно в самом деле
сбежать от осени своей.
С июльской суши кануть в воду,
как в сон глубокий, и проспать
преображение природы
и золотой ее распад.
Нырнуть с разбега в зиму разом,
как в холод утренней волны,
и отвернуться: больно глазу
от нестерпимой белизны.
Метет поземка у причала,
поверхность снежная чиста,
и можно все начать сначала,
сначала — с белого листа.

Леонид Завальнюк

* * *

Зашумит подо мною трава,
Пролетит письмо в вышине.
Гладко сложены в нем слова,
Значит, это письмо не ко мне.
Гладко сложены,
Крепкий слог.
Пролетай, письмо, стороной.
В ком судьба кричит, тот бы так не смог.
Слог у крика есть, но тот слог иной.
Над тоской моей, не смежая крыл,
Пролетай, письмо, не триви беду.
Кто тебя писал, знать, не очень спешил.
А я стар. Я вестей только спешных жду.

* * *

У охотника сон на спине.
Он его отряхнул, как солону.
И дорога от доброго к злону
Заструилась в живой глубине.
И жар-птица, что пела ему
В мире сна о любви и покое,
Ныне — просто с крылами жаркое...
Выстрел!

Выстрел!!

Да что же такое:
Птицы нет
И все небо в дыму.
И из дыма, из серого мрака,
Что заря разминает в горсти,
Кто-то смотрит с тоской, как собака:
Мол, за что же ты?..
Хватит... Прости!..

* * *

Нет страха.
Вот лицом к тебе стою.
Спиной к тебе стою —
И нет на сердце страха.
От взгляда твоего
Дымит на мне рубаха,
Но ты не можешь посягнуть
На жизнь, на боль мою.

Чтоб нас сроднить,
Нужны тысячелетия.
Не сплавить наши судьбы
Ни в каком огне.
Но смертной памятью души
Мы замкнуты на третьем.
И я в тебе его храню,
Как ты хранишь во мне.

Марк Кабаков

* * *

Так недвижна луна,
Словно к небу гвоздями прибита;
И, покоя полна,
Бухта теплою влагой налита.

И когда бы не свет
Маяка на угрюмой вершине,
Я б подумал, что нет
Никаких ураганов в помине,

Что никто не идет
В этот час по ревущим широтам,
Кто-то вахту несет,
В койку узкую валится кто-то.

О, блаженная ночь!
Ты обманна,
Как все в этом мире,
Даже небо — точь-в-точь
Круг мишени в неведомом тире..

Майя Луговская

БЛОК

От нависшей над миром войны
Отделяло одно поколение.
Это были предсмертные сны,
Это было слепое прозреньё.

Погрузившись в вишневый обман,
Он блокаду увидел воочию —
Обмороженный Невский, ночь,
Затемненья свинцовый туман.

И с той самой минуты хмельной
Он в бессонницу впал, как безбожник.
Голодающий и шальной,
Умер вечности белый заложник.

* * *

Воды Пянджа мутны и тревожны.
Азиатские шары вокруг.
Мне понять ничего не возможно,
Все сужается совести круг.

Пламенеют, как прежде, закаты,
И все те же с Памира ветра.
Золотые созрели гранаты.
Почему не уснуть до утра?..

Проплывают виденья ночные.
Вдоль шоссе дорожки сады.
Эти звезды такие ручные.
Наберу их в подол, как плоды.

В аметистовом хрупком рассвете
Разве можно о прошлом тужить?
Хорошо, что жила я на свете,
Хорошо, что могу еще жить.

Геннадий Иванов

* * *

Коршун на стоге сидит горделиво, как кот,
Смотрит: спугну, потревожу его или нет?
Светлая осень по всем перелескам идет,
Полям владеет осенний задумчивый свет.

В древней красе — и холмы, и деревни, и лес.
Светлое небо и светлый покой над страной.
Что же тужить и каких еще надо чудес?
Что же тужить? Вон и коршун почти как
ручной...

* * *

Снег вышел в полшестого и пошел.
Куда пойдет, он сам еще не знал —
Он взглядом зданья серые обвел,
Поток машин... И как-то заскучал.

Сейчас бы в поле! С неба, как с холма,
Идти легко в долину и в деревню.
Там где-то настоящая зима —
Просторнее, и чище, и напевней.

Но далеко отсюда до полей.
Идет он по обочине дороги.
И где идет — там улица светлей.
Хотя в грязи, в бензине его ноги.

Вадим Сабинин

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ТРАМВАИ

Трамваи детства моего,
Я их узнал по первой ноте.
Они звонят, как торжество,
Они поют на повороте.

Тогда они меня везли —
И сердце радостью сжимало —
К моим мечтам, на край земли.
А нынче ходят до вокзала.

* * *

Не жди от тех, кому помог,
Ответных чувств, признаний.
Скажи: «Я выполнил свой долг»,—
И все на место встанет.

Зато тебе поможет тот,
Кого ты не заметил.
Таков добра круговорот,
И оттого мир светел.

Борис Примеров

* * *

Подуй ветер длинный с Дона
Во все стороны и дни
И лицо ополосни
Зеленью студеных кленов,
Августом запорошенных,
До озноба уплотненных,—
Листья на сердце плесни!

Чтобы тени заскрипели,
Как ступени у крыльца,
А у самого лица
Предосенние недели,
Как из лука стрелы — к цели,
Чуть вибрируя, летели
От начала до конца.

Чтобы орды кочевые,
Вековые бурьяны
Пахли медом целины,
Поцелуями навывлет
Стороны моей ковыльей,
Нерастраченною силой
Разнотравья и луны.

Разнотравью — честь и слава!
Без печали и тоски
Его росы глубоко!
Погружаю ныне в травы,
В выдох солнечной державы —
В изумрудные отавы —
Сразу две своих руки!

Взором падаю на ветер,
На пушистый свет луны.
Дни во все концы видны —
Дни видны и так и этак,
Сквозь завесу темных веток,
Переполненные светом
Материнской стороны.

Дни пируют нараспашку,
Вид приветствуя на пруд,
Где вокруг тебя снуют
В золотых степных тельняшках
Осы, мошки и букашки
И, как будто из рюмашки,
Из ромашки воду пьют.

На здоровье пейте, звери,
Из зеленого ковша,—
Ох водица хороша! —
Плещущая через ересь
Всех, кто плачет, разуверясь
В том, что есть на свете вереск,
Ветра плоть — моя душа!

Лариса Васильева

* * *

В глазах моих отразились очи.
На черном окне вспыхнул белый экран...
Что ж я тебя вспоминаю к ночи,
пятнадцатилетний капитан?

Ты — голубая мечта о счастье?
Ты — неразбитый сосуд мечты?
Может быть, нам повезло отчасти,
что разминулся со мною ты?

Вместе не шли сквозь весну и вьюгу,
светом надежд не смиряли тьмы,
радостных слов не сказав друг другу,
горестных слов не сказали мы.

Что вспоминаю?
Свои желанья,
снегом давно занесенный след,
тьма, не пришедшую на свиданье,
и без вопроса в глулю ответ.

ЗАРНИЦЫ

Звук шагов по ночи гулок.
Речь бессвязная чиста.
К нам Лебяжий переулочек
выплывал из-под моста.
Изогнув вопросом шею,
хрупким крылышкам окна
помахал и злую фею
отогнал — ушла она.
Ночь текла.
Большая птица
охраняла непокой
всех, кому легко не спится,
и — то там, то тут зарница
попыхала над Москвой,
означая зарожденье
новых жизней.
Сладок миг.
Снова соприкосновенье
сна и яви.
Тихий вскрик.

Бессловесный рваный шепот.
Трепет рук.
Волнение глаз.
Ах, какой там жизни опыт!
Снова, снова в первый раз...
Оборвался дикий лепет.
Утро.
Небо.
Цвет стыда.
Уплывает белый лебедь.
Неужели навсегда?

Сергей Поделков

ПОВИЛИКА

Между окон —
трюмо,
в нем свечение жаркого лика,
мягкий шаг,
длинный взгляд,
краткий вздох и замедленный жест.
Прижилась и цветет,
как на стебле ржаном
повилика,
остро скошены груди,
во впадине золотце — крест.

Неужели и вправду
господь эту душу обузил,
глупо мысли лишил,
дал жестоко ярчайшую плоть,
дал ей солнце волос,
чтоб в зазывный
их скручивать узел,
лисью,
хищную прелесть ей дал...
Что ты сделал, господь?

А губам...
Дал губам
приворотную слабость и лютость,
с них сбегают улыбки,
в истоме намеков слова;
и охватно желанье,
чтоб нас обступала безлюдность,
и темнело б в глазах,
и кружилась
моя голова.

Как же так?..
Разве чувств животворность
сдается в аренду?
Что со мной?
Подойдет...

Лишь объятья,
и ты — как не ты.
И вселенная рушится,
и поцелуев крещендо,
и распята душа
на державном кресте красоты.

Этот вкрадчивый голос,
как шелест
весенней березы,
заманиха — и только,
цветущая
глубь чарусы...
И гранаты в ушах,
и улыбки —
на полном серьезе,
и огромные
томные очи
больной бирюзы.

Взгляд всевидящ —
куда б ни пошел я,
куда б ни поехал,
вслед —
по снегу,
в туман или ведро —
я слышу всегда:
«Милый, где ты?..»
И я возвращаюсь
крутящимся эхом,
пить глаза,
в ласку рук зарываться,
как в мех,
в холода.

И когда, отражаясь,
зрачки
жжет блаженное тело,
розовее зари!
Да простят
мне мое забытьё!
Как под солнцем такыр,
в жестких трещинах
грудь до предела,
постигаю ошибку
и вновь совершаю ее.

Замечаю:
что
существованье
порою артельно,
удивительно —
хочешь не хочешь,
крепись и владей...
И горит моя жизнь
как свеча
в беспредельной молельне,
сердцевина горит,

оплывая
не воском,
а кровью моей.

Подноготная власть
женской силы,—
от пылкого вздоха
умирать,
воскресать незаметно,
бессчетно на дно.
Очень странно,
неужто
становимся вязом-рассохой
на едином стволе,
на одном
глубочайшем корню?

А она —
над снегами подснежник!
И вот постепенно
из-под кисти снующей
уже проступают уста...
Нежный,
ласковый всполох,
томленье,
и вдруг перемена,—
переходит
в блистанье искусства
сия нагота.

Соучастие двух.
Я молчу,
прячу радость и лихо.
И я слушаю
долгий и вечный,
земной и грудной,
завлекающий, стонущий
голос ночной соловьи:
это ты,
это ты,
это ты,
ненаглядный ты мой...

Лорина Дымова

ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР

— Милый мой, чего ты хочешь,
что за мысль тебя гнетет?
— Понимаешь, дело к ночи,
дело к старости идет...

— Ты б хотел расправить плечи?
Снова юным ты бы стал?
— Нет, об этом даже речи
быть не может...
Я устал.

— Ты хотел бы жить иначе?
Все другое — ночи, дни?
Так попробуй! Ты бы начал...
— Что ты, боже сохрани!

— Скоро Путь зажжется Млечный,
выйдет на небо луна.
Вот бы жить на свете вечно!
— Что ты, жизнь и так длинна.

— Так о чем грустить, дружочек?
Размышлять тогда о чем?
— Просто день крадется к ночи,
Просто бездна за плечом...

Юнна Мориц

АСТРЫ

Нынче слякотно и зябко.
Свет зажжешь — еще темней.
И дрожит воронья лапка
На ветру осенних дней.
Я любовь припоминаю
Через три десятка лет...
Я теперь не променяю
На нее осенний свет.
А тогда бы все на свете
Отдала бы не скупясь,
Чтобы вилкой в винегрете
Ковыряться с ней сейчас.
Но не вышел, слава богу,
Этот сложный трафарет!
Проще, проще мне намного
Плавать в дыме сигарет
И, притворства паутину
Отстраняя от лица,
Одиночества картину
Довести до образца.
Никакую паутину
Исступленно не плести —
Одиночества картину
До шедевра довести!

ПАРУЙР СЕВАК

Крестьянской рукой подперев подбородок,
он смотрит в сознанья бездонную глубь.
И круче опалубки парусных лодок —
Широкие крылья коричневых губ.

Я знала его молодым и влюбленным
В бесстыжих красавиц, в застенчивых дев.

Он знал, что умрет на просторе зеленом,
Разлившись, разбившись, но не затвердев.

Копеечный, куцый окурок дуката
Украсил его знаменитый портрет.
Теперь его гибель — священная дата,
И я полагаю, на тысячи лет.

* * *

Когда поэзия вторична,
в ней все привычно, все прилично,
мотивчик льется, всем знакомый,
конец с концом свода отлично!

И даже бульбы ржавой мути
не затмевают мелкой сути,
когда поэзия вторична
и множится, как мякиш ртути.

И много счастлив обыватель —
в нем пробуждается писатель:
когда поэзия вторична,
он как бы сам — ее создатель!

Он восклицает непорочно:
— Я написал бы так же точно!
Ведь эти мысли, эти чувства
сидят во мне давно и прочно!
Мое! Мое! Мой опыт личный!
Язык, настолько мне привычный!

... И эта правда роковая —
палач Поэзии первичной!

ЗА СТЕНОЙ

Он сказал:
— Я люблю другую.
Не ласкайся, не спи со мной.
Она петлю сплела тугую,
Она будет моей женой.
И уеду я с ней отсюда,
Чтоб не видеть, каким путем
Ты идешь, дорогая Люда,
Утром в ясли с моим дитем.
Как невеста моя велела,
Отрублю я себя от вас —
Чтоб душа моя не болела,
Не искала обратный лаз.

— И не майся,— она шептала,—
Поднимайся, винца налей,
Очень я от тебя устала,
Не жалея меня, не жалея.

Никакой не могу я власти
Над тобою иметь, дружок,
Ваши фокусы, ваши страсти —
Мимолетные, как снежок,
И от них мне большая скука
И великая пустота.
Интереснее мне разлука,
Чем мяукать из-под кота.

Он сказал:
— За твое здоровье!
Будь богатой и не болей! —
И ребеночку в изголовье
Постелил пятьдесят рублей.

А Людмила, как зверь, зевнула —
Перегрызла незриму нить
И на тысячу лет вздремнула,
Перед тем как подъезды мыть.

* * *

Свое имея мнение о предмете,
не надо мнить, что ты — верховный суд.
Уж те, кого ты видишь в мрачном свете,
ответственность за это не несут.
Иди гуляй, трудись, пока способен,
благодари судьбу, что жив-здоров,
не будь завистлив, мелочен и злобен,
людей не любишь — полюби коров.
Ты глянь, как все кругом переменялось —
и к лучшему! В иные времена
твое бы мнение высоко ценилось,
а ныне полкопейки — вся цена:
товар несвеж, не клонет покупатель
на этот хлам, на жалкое рваньё,
которым потрясаешь ты, приятель,
смеша народ, страшая воронье.
Такое поведение — несолидно!
И хоть по стенке лезь на потолок —
здесь дурачков поблизости не видно,
у наших граждан варит котелок!

* * *

Я помню его серебристым подростком —
На подметках сверкают коньки.
Теперь на лице его, желтом и жестком,
Злые блестят огоньки.

Нижняя челюсть — волчья.
Горло цыплячье — над воротом синим.
Улыбаясь, зубами скрежет молча,
Чтобы казаться грубым и сильным.

Но там, где подвздошная ямка
Высокой кислотностью выжжена,
Мне видна самолюбия мертвая пьянка
И затравленной нежности бедная хижина.

И я говорю ему что-то сердечное —
Хотя этот корм не в коня,
А сеять разумное, доброе, вечное
Он может не хуже меня.

Виктор Потиевский

* * *

Снега осветили окрестность,
Исчезла тягучая мгла.
И свет,
Поднимаясь отвесно,
Очистил природу от зла.

Подернуты инеем избы,
Повернуты окна ко мне —
Как будто
Не сумрак был изгнан,
А дьявол,
Что жил на холме.

И лес
В эту чистую стылость,
В пространство звенящее врос.
И сердце мое растворилось
В свеченье снегов и берез.

И, может быть, истина в этом...
Ночные тенета круша,
Однажды очистится светом,
Наполнится светом
Душа.

Геннадий Ступин

* * *

Величественный беспорядок
Небес октябрьских сырых,
Где аспидное с белым рядом
И синева и свет меж них.

Немыслимые нагроможденья
И снежных туч, и облаков,
Бесчисленные превращенья
Объемов, света и цветов...

Не в силах даже на мгновенье
Ни обозреть, ни уловить,

Я весь, ничтожный,— только зренье
И не умею говорить.

И разум мой тут не годится.
Лишь, неприкаянно вольна,
Душа, как в зеркало глядится,
Подавленно восхищена.

И так мучительно ей сладок
И вятен этот горний стих —
Нечеловеческий порядок
Небес октябрьских сырых.

Сергей Бычков

СОЛНЦЕВОРОТ

Когда синичий пересвист
Пронзает сонный день навывлет,
Когда душа уже не спит,
Но сон ее вот-вот осилит,
Когда еще в сугробах лес,
Но солнцем он уже разбужен
И ввинчивает в синь небес
Ветвей зеленых полукружья,
Когда безбрежен оком,
А солнце замерло в зените,
И прошивают день за днем
Снега пылающие нити,
И каплет с крыш, и каждый час
Мгновения на вечность ниже,
Сближая незаметно нас,—
Освобождение все ближе!
Освобождение от пут,
Освобождение от тягот,
Которые когда-нибудь
Крылами за спиною станут!

Елена Андреева

* * *

Когда перед обидчиком своим
Заплачешь, слез сдержать не в силах
больше,—

Унижен ты и гневом одержим
И мыслишь —
этих слез не сыщешь горше.

Но слезы есть, что этих пострашней,—
Когда один рыдаешь, как в пустыне,
И слез поток —
поток беды твоей
В подушке мятой равнодушно стынет,

Когда один на целом свете ты,
И нет ни сил, ни близких, ни защиты,
Когда дороги все и все мосты —
Те, что к тебе ведут,
навек забыты...

И лучше сотни раз друзей прощать,
Быть незлопамятным и терпеливым,
Чем горечь слез бессилья испытать
В дне одиноком и неотвратимом...

Натан Злотников

СТАРЫЙ РЫНОК

В Афоне Новом помнишь старый рынок?
Кружилась пыль, надсадно лаял пес,
В глазах стояли слезы от соринки —
Перед людьми не стыдно было слез.

Висели облака, как на иконе
Наивного старинного письма,
Играла радиола на балконе,
Вдали над морем собиралась тьма.

Звенел движок прогулочной моторки,
Вдруг замолкал, срывался на басы.
Ты яблоки брала из малой горки,
Переносила тихо на весы.

Ударил гром, шатнулись теплоходы,
Земли коснулась изабеллы гроздь.
Ты выбирала яблоки, как годы,
Что будем вместе, только вышло — врозь.

Останься там, где с яблоками чаша
Тяжелой гири поднимает груз,
Где наша глупость, нежность, верность
наша...
Куда страшусь вернуться, хоть не трус.

Светлана Максимова

ЗАРЕВАЯ ПЕСЕНКА

Эта девочка в хоре —
Заряница-заря.
Эта ясность во взоре —
Краткий свет сентября.

Никого не спасая,
Отболит, отпоет.
Заряница босая
По росе поплывет.

Дом ли мой недалечко?..
Заряница-заря,
Как с мизинца колечко,
В свет обронит меня.

Все подружки спиною
Повернутся ко мне.
Свет стоит над волною,
А колечко на дне.

Заревые ступени
Не восходят со дна.
Только детское пенье
Отражает луна.

Отражает, картавя,
На ущербе темна..
А сосна золотая
Зеленым-зелена!..

Светлана Гершанова

ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО

Искали стеклышки —
Игра
Военных детских лет..
И было синее стекло
От лампы «синий свет»,

И улица была мрачна
В бутылочном стекле,
В салатном —
Вечная весна
Стояла на дворе...

Найти бы алое стекло!
Волшебное стекло!
Но так серьезно —
Никогда мне в жизни не везло...

Хозяин алого стекла,
Как сказочный эмир,
И мне небрежно разрешал
Взглянуть на алый мир.

И не забуду я, пока
Дышу, пока живу,—
И алый воздух,
И щенка,
И алую траву.

И длилось счастье — без конца,
Был цвет у счастья ал,
Его ни с кровью,
Ни с войной
Мой разум не вязал,

Осталось алое стекло,
Волшебное стекло..
Но как нас время далеко
От детства унесло!

В спокойных комнатах — уют,
Посуда за стеклом,
И чашки синие не бьют,
И рюмки желтые не бьют,
И вазы красные не бьют
За праздничным столом.

Лишь память, прошлое храня,
Вершит свой правый суд —
Здесь только сверстники меня,
И то не все, поймут.

Анна Строгина

КОНЬ

Солдаты бросили коня:
Вся до крови спина потерта,
Коснулась бережно меня
Его задумчивая морда.

Не позабыть, пока живу,
Как вместе шли мы, как жевали
Я — черствый хлеб, а он — траву
И пили воду на привале.

Он — впереди, я — позади.
А фронт накатывался следом..
Мужайся, помощи не жди.
Грядущий день нам был неведом.

Здесь — санитарный на пути:
Дорога как-то уцелела.
Минуты. Надо мне уйти,
А он — глядел, и я редела.

Многоголосая беда,
Кричали криком паровозы,
И не забыть мне никогда
Смешавшиеся наши слезы.



К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

Владимир Соколов

«И ВОЙСКО ПЕСЕН ПОВЕДУ...»

Велимир Хлебников — один из крупнейших поэтов дореволюционной и послереволюционной России, один из своеобразнейших зачинателей советской поэзии. Интерес к его творчеству не ослабевает с годами.

Поэма «Ночь перед Советами», сыгравшая в его поэзии роль, подобную явлению «Двенадцати» в творчестве Александра Блока, давно уже стала хрестоматийной.

Строки Хлебникова, написанные в 1917 году: «Да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там», — известны широчайшим образом.

Маяковский, опубликовавший в своем журнале поэму Хлебникова «Ладомир», проникнутую революционным духом, оптимистически устремленную в будущее, считал эту вещь «изумительнейшей книгой».

Я, как и многие, открыл для себя Хлебникова через Маяковского, считавшего его своим учителем в работе над словом, «Колумбом новых поэтических материков».

Когда я познакомился с творчеством Хлебникова всерьез, я был изумлен несовпадению ходившего когда-то мнения о поэте как о творце чуть ли «не от мира сего» с тем богатством жизненных, прямо-таки ис-

торических впечатлений, которое открылось мне на страницах его книг.

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок.

(1914)

Я открыл поэзию жизнелюбивую, красочную, высокую, в которой исторические мотивы сплетались с фольклорными и повседневными, выражались языком необычным, где древние слова с неожиданной естественностью сочетались со словами современными, где архаизм уживался с неологизмом, а сам строй речи делал понятными и, казалось бы, устаревшие, забытые и словно бы на глазах родившиеся новые слова.

Конечно, хоть я и читал Хлебникова, намеренно отбросив мнение о его «непонятности», многое воспринималось не с первого прочтения (но всё ли и сразу мы понимали у Пушкина, думая, что все и сразу поняли?).

Хлебников стремился обогатить поэтический язык, творить язык, но подчас, видимо, представлял себе своего читателя таким же «будетлянином», «слово-творцем», каким был сам. Часть его произведений, не основная, выглядит опытом, экспериментом. Но и в этих опытах новое словообразование Хлебников никогда не отрывал от его корневого смысла. В этом его резкое отличие от словесных фокусников, самый след которых в литературе испарился.



Следует учесть, что истинные знатоки поэзии (а число их в нашей стране поистине стало огромным) сами в душе поэты, и хлебниковские поиски в языке ничуть не утратили для них интереса. Ряд произведений Хлебникова для поэтов и читателей — распахнутые двери в серьезную творческую лабораторию одного из виднейших русских поэтов XX века, где стих как бы творится у всех на виду со всеми своими вариантами, версиями и т. п.

Велимир Хлебников — поэт, отразивший свое время в его устремленности к лучшему будущему, отразивший самобытно, по-своему.

Поэзия его сильна и своей антиобывательской, антибуржуазной направленностью. Хлебников сказал о «приобретателях»:

Их жизнь жестока, как выстрел.
Счет денег их мысли убыстрил.
Чтоб слушать напев торгашей,
Приделана пара ушей.

Он всем сердцем принял Октябрьскую революцию. После 1917 года начинается самый расцвет его дарования.

Поэма «Война в мышеловке» (1915—1916) уже содержала в себе проклятие империалистической войны, приближаясь по антивоенному пафосу к поэме «Война и мир» Маяковского.

После революции он пишет поэмы «Ночь в окопе», «Настоящее», «Ладомир», «Уструг Разина», «Ночь перед Советами»...

Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти
У вымирающего белого.

Это шествуют творяне,
Заменявши Д на Т,
Ладомира соборяне
С трудомиром на шесте.

Хлебников воспевает освобождение народов Азии («Навруз Труда»), мечтает о городах будущего («Город будущего»), о создании единого «мирового языка» на земном шаре. Порывы его и стремления, пусть порой и утопические, очень близки и понятны нам и сегодня. Стих его становится прозрачнее, в нем появляется множество конкретных примет новой жизни, чему способствовали и его работа в бакинском РОСТА, и обилие впечатлений от труднейших и разнообразнейших скитаний.

Велимир Хлебников — поэт большой и притягательной самобытности. Н. Асеев, Н. Тихонов, Н. Заболоцкий, С. Марков, Л. Мартынов и другие поэты в разной степени испытали на себе его влияние. Поэтические достижения Хлебникова, его приемы учитывались и поэтами последующих поколений. Вклад его в советскую литературу неоспорим и весом.

Интерес к поэзии Хлебникова постоянен. На мой взгляд, за последние годы он углубился и вырос.

Велимир Хлебников 1885—1922

Выбирая стихотворения Хлебникова для этой публикации, я остановился на вещах последней поры его творчества. Темы различны, но их объединяет в первую очередь то, что все они так или иначе говорят о поэте и поэзии, прямо или косвенно отвечая на вопросы о том, что такое в понимании Хлебникова судьба, что такое поэтический труд и вдохновение, что такое поэтическая мысль и поэтическое слово.

В 1922 году в посмертном слове Хлебникову Маяковский говорил, что «поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения». В год столетия поэта мы замечаем другое: поэтическая слава Хлебникова становится много больше настоящего знания и понимания его поэтического слова. Глубину открытий, совершенных Хлебниковым, который перестраивал «отношение мысли к слову» (как читаем в одном из публикуемых здесь стихотворений), мы до сих пор еще осознаем недостаточно.

Недавно Александр Межиров напомнил характерное замечание Николая Глазкова: «Хлебников в мыслях точен». Замечание точное, но, кажется, не совсем. Потому что тут, очевидно, подразумевается, что в словах Хлебников неточен. А это, по распространенному мнению, очень большой изъян. Но что такое точность? Определенность, однозначность, законченность, то есть в конце концов — сведение к точке? Однако это не единственный путь слова. Ведь кроме точки есть линия, есть плоскость, есть объем, и поэтическое слово может быть и линейным, и плоскостным, и объемным (как кто-то давно и хорошо сказал: «кубатура Маяковского»). Есть и бесконечные их пространственно-смысловые взаимопереходы и взаимопревращения, когда слово становится подвижным, текучим и обратимым. «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к слову», — говорил Хлебников. И это относится не только к словотворчеству в узком смысле, но ко всей его поэтике, которую вообще можно было бы назвать «поэтикой превращений» — образных, словесных, звуковых, ритмических, — поэтикой метаморфоз.

Ей, безусловно, лучше всего отвечала система свободного стиха, разработанного Хлебниковым и преобладающего в его позднем творчестве. Это второе, что объединяет стихотворения в предлагаемой подборке: все они написаны свободным стихом. Причем для сравнения вещи 1921—1922 годов предваряет одно стихотворение, относящееся к самому раннему, дословотворческому периоду Хлебникова (1906—1907 гг.). Сопоставляя начало поэтической работы с ее завершением, мы наглядно видим, что если в раннем стихотворении слово вполне точно, то в позд-

них оно может быть и публицистически прямолинейным, и ораторски объемным, и фантастически многомерным, и лирически изменчивым и неуловимым, и т. д. Потому что слово здесь не средство для передачи мысли, а непосредственная ее действительность. Поэтическая мысль естественно, разнообразно и свободно живет в стиховом слове, находя в нем «место и простор вдохновению».

Все четыре стихотворения, включенные в подборку, печатаются по рукописям. Первое, второе и третье никогда не публиковались.

Четвертое стихотворение появилось в посмертном сборнике Хлебникова «Стихи» (М., 1923) и с тех пор нигде, даже в пятитомном Собрании произведений, не перепечатывалось. Видимо, оно казалось настолько непонятым, настолько фантастическим и даже прямо «безумным», что места ему в изданиях не находилось. Случай этот особенно интересен тем, что стихотворение как раз имеет сугубо литературный смысл. Оно представляет собой не что иное, как пародию,— разумеется, совершенно своеобразную и совершенно хлебниковскую,— но именно пародию с характерным для нее доведением определенного поэтического приема до абсурда. Объектом пародирования является знаменитая в свое время книжка А. Гастева «Пачка ордеров» (Рига, 1921), где некое научно-фантастическое действие дано в форме сжатых технических инструкций. Например:

Миллиону С.
Тридцати городам.
Двадцати государствам.
Агитканонада.
Трудо-атаки-экстра.

Или:

Выключить солнце на полчаса.
Написать на ночном небе 20 километров слов.
Разложить сознание на 30 параллелей.
Заставить прочесть 20 километров в 5 минут.
Включить солнце.

Здесь слово как бы выходит в прямое действие и реальную предметность. Недаром на этой книге литературная деятельность А. Гастева прекратилась, и он целиком отдался научной организации труда. Смысл же хлебниковской пародии заключается в том, чтобы вернуть слово в сферу поэтической мысли и воображения.

Р. Дуганов

1

На ветке
сидели птица гнева
и птица любви.
И опустилась на ветку
птица спокойствия.

И с клеткою
поднялась птица гнева.
А за ней поднялась птица
любви.

1906—1907

2

Я велик. Лишь я поставлю «да»-единицу
В рассудке моем,—
Будет великого Рима пожар.
Ветер завоюет в священных латинских
дворцах.

Строчку Гомера прочтут полководцы
На крыше дворца, видя пожар,
Улыбаясь утонченно.
«Нет»— единицу поставлю —
Будет гореть Византия.
Знакомые боги
Приветливо заржут
Из конюшни числа
И подымут вещи лица.
Кони-друзья! Простите, что часто
О наковальню ушей
Именем вашим стучу.
Точно дым,
Проклятья народов
На жестокость судьбы
Потекут с уравнений.
Сами они виноваты,
Что неuka рока
Не взяли в науку,
Его обуздать.

1921

3

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам,
На стеклах рока.
Так серы и скучны обои из мертвых растений
Человеческой жизни; пылью своей
Быть живописцем себя
На стеклах рока, большею рока.
Вдруг увидеть открытую дверцу
В другой мир, где пение птиц и синий
сквозняк,

Где мило все, даже смерть
В зубах стрекозы.
О, улетевшая прочь пыль
И навсегда полинявшие крылья!
Окон прозрачное «нет».

За ними шелест и пляска
Бабочек любви стучится.
Пляшет любовь бабочек высоко в ветре.
Я уже стер свое синее зарево и точек узоры
Вдоль края крыла. Синее зарево.
Скучны и жестоки
Мои крылья, пыльца снята. Навсегда.
Бьюсь устало в окно человека.
Ветка цветущих чисел
Бьется через окно
Чужого жилища.

1921

4

- 1) Песнь
С отношением мысли к слову
= 2^{13}
Ворвалась в ущелье,
Заставив взлететь шляпу лесов,
полями широкою.
- 2) Народу «два в двадцать седьмой»
Вкопать растение рук
В плечо отсутствия рук.
Где заступ?

- 3) Бросить на рынок образец 30^3 ;
Образец: тело коня, грудь человека.
Повысить качество,
Удлинив количество.
Вести стада.
- 4) Земной шар — главный склад
Моих мыслей.
Приписать к книге А.
- 5) Горло и
Голосовую связку соловья
Дать слонам сотых полей.
- 6) Девушкам 36-го раздела
Носить на плече
Соловья-растение,
Вросшего лапками
В тело.
- 7) Пятая столица второго материка,
Удлинить зрение в 2^{11} .
Прицел: два прямых.

Январь 1922 г.

Публикация Р. Дуганова



Лев Озеров

* * *

И переходит осень в белый стих.
Сперва природе не ясна задача,
И роща перемены ждет и, плача,
Не может сосчитать стволов своих.
Остановился счет, но в некий миг
Нежданно — снег, бело на белом свете,
И жизнь жива, и радуются дети,
И переходит осень в белый стих.
И я не знаю, где мои года
Ушедшие, и сколько их осталось,
И где там зрелость переходит в
старость,

И где там наступают холода.
Я этого покуда не постиг,
Я в эпицентре жизни, я в работе,
И в поиске, и в песне, и в заботе,
И переходит осень в белый стих.

* * *

Названья древнерусских городов —
Белозеро, Дубок, Олонец, Броды —
Открытое произношение слов,
Еще не отделенных от породы.

И каждое как кладка той стены,
Что опояшет город над рекою —

Владимир, Псков, Путивль,— из старины
Доносится звучание такое.

В постройке слов — постройка тех домов,
Что дружно возводили горожане,
И нам название старых городов
Как песня о полку и как сказанье.

Как музыка дружин, идущих в бой,
Оберегающих надежно крепость.
В той музыке, разумной и простой,
Соединились лирика и эпос.

* * *

Я не предок, я потомок,
Голос отроческий ломок,
Переходная пора!
Снова мальчик, снова школьник,
Страсти пленник и невольник,
Данник кисти и пера.
Я наполнился годами,
Но уменьем и трудами
У начала я стою.
Весь мой опыт мне не нужен,
Служит он врагу как ужин,
Завтрака не отдаю.
Жизнь, сказали, на излете.
На излете?— Я в работе,
Я хочу свое сказать.
Что удастся напоследок?
Я потомок, а не предок,
Начинаю жизнь опять.

* * *

Люблю я сумеречный час.
Его раздумчивость воспета
В стихах не одного поэта.
Он держит полночь про запас.
В вечерний час пришло мне это:
Огонь небес давно б угас
И не блистали б краски лета,
Когда бы не сокрытый в нас
Невидимый источник света.

* * *

Коненков объясняет дереву,
Что это значит — дерево,
Где оно терем,
Где оно дверь,
Где оно кольца времени.

Мастер взглянется в природу
И ничего не исправит в ней,
Немного добавит,
Как в молоко добавляют меду,
Прочтет смутный текст
И сделает его ясней.

Как все просто,
Как все складно!
Были сучки, а теперь палыцы руки.
Природа глядит: ей отраднo —
Были пеньки,
А теперь старички-лесовички.

* * *

Легка мне тяжелая ноша земная,
А впрочем, не знаю, какая иная
Отпущена ноша, не ведал иного,
Чем наше такое стозвонное слово.
Ты вымолвишь тихо — аукнется громом
Над всею вселенной, над маленьким домом,
Где вырос мальчишка, от бабкиной сказки
Он в космос открытый шагнул без опаски.

* * *

Серости на белом свете нет,
Серость — это ваше нерадение,
Невнимание, усталость лет,
Ваше настроение осеннее.

Где для вас невнятное пятно,
Для меня цветут долины маково.
Все едино, но не все одно,
Все едино, но неодинаково.

Людмила Букина

СРЕДИ ДНЕЙ

Среди вспышек людей я живу,
Среди света.
Среди темных провалов листвы,
Среди дней.
Каждый день пролетает
И требует, просит ответа:
«Ты запомнишь меня?
Я — единственный в жизни твоей!
Завтра будет — иной.
Переменится небо ночное,
Переменится ветер,
И тучи иначе пойдут...
Я тебя продолжаю,
Сегодня ты создана мною.
Мы с тобою — две стрелки:
Часов и полетных минут.
Время движется,
Тени вгоняя друг в друга.
Ты — сосуд, переполненный
Сонной и солнечной мглой.
Ты в объятьях июня,
Зеленого, пылкого луга,
Где секунды травы —
Звездной пыли мерцающих слов.
Правды! Правды хочу я,
Твой день, пролетающий мимо!
Столько воздуха, листьев
И гроз я тебе преподнес!
Ты жива и желанна,
Овеяна мной и любима.
Сколько крови моей
Полыхает в смятении роз!
Не теряй же меня.
И на палец надень безымянный
Обручальное солнце,
Улыбку венчальной луны —
И в печальное время,
И в день ненадежный, туманный
Я сиянием тайным
Взойду из твоей глубины».

ВОСТОЧНАЯ КАРТИНА

Стихотворенье, как больной ребенок,
Всю ночь кричало, не давало спать.
Шагает слон. За ним идет слоненок —
И в теплый мир вступает благодать.

И кропотливо-синей мышью море
Дорогу роет в черной глубине,
И журавли в развернутом просторе
Летят к еще невидимой Луне.

А на слоне, увенчанном цветами,
Лежит ковер, как на хребте земном,
И наверху, с поджатыми ногами,
Индусы восседают вчетвером.

Самозабвенно дудочка играет,
Звенят литавры, барабан звучит...
Младенец вновь спокойно засыпает.
Стихотворенье шествует в ночи.

Стихи и дети — две стихии эти
На лучшее надеются во сне,
Пока идет слоненок по планете
И музыка летает в тишине.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Этой ночью — я точно знаю —
Ты впервые предал меня.
Так смеялась луна, сияя,
Голубой глубиной маня...
Так мучительно звезды гасли
В мертвой, мирной голубизне,
Чтоб не видеть и чтоб не выдать
Первобытную тайну мне.
Слишком тяжек покров покоя.
Слишком ровно горит свеча.
Слишком темной течет рекою
Тишина с моего плеча.

* * *

Ничего не случилось.
Ничего никогда не случится.
Просто жизнь убывает,
Со скоростью света струится.
Просто жизнь убывает
Себя постепенно и плавно —
Ежезвездно и ежеминутно
И тайно, и явно.
Жерновами тяжелыми
В пыль мои годы растерты.
Но работают пчелы,
Опять наполняются соты.
Механизм возрождения
Действует мудро и грубо:
Сквозь потери и ложь
Улыбаются детские губы.
Без конца повторяет природа
Единственный опыт,
И в копилке неведомой
Тайные знания копит.
Мира дикого, древнего
Ящеры, роци, пещеры
Отзываются в снах,
Переходят законы и меры.
В клетке времени сидя,
Мы смотрим сквозь гибкие прутья,

Выбираем пути —
Выпадают одни перепутья.
Что же может случиться еще,
Кроме смерти, любви и рожденья?
Кроме жизни — дающей,
Берущей вот эти мгновенья.

ПАРАД ПЛАНЕТ

Оттолкнувшись от мира,
Оттолкнув его раны и руки,
Звуки, твердые меры
И кожей обшитую жизнь —
В необжитые сферы
Головой скорлупу пробиваю
И в параде планет
Пребываю
Звездой, запрокинутой вниз.

Слава
Вальсом наружу
Танцует по млечному полю —
Этот строй и симметрия
Волосы спутали ей,
Подожгли ее платья,
Насыпали под ноги соли
И в бумажные бусы
Вкатили гирлянды камней.

Это будет двухтысячный —
Год растяжения формы.
Сердце сцепится с сердцем
В восьмерку песочных часов.
Превращения времени
Столь же точны и упорны,
Как движенья младенца,
Идущего к жизни на зов.

Это будет парад —
Развернутся созвездий знамена.
Как поджарые кони,
Планеты паролем пройдут.
И догонят друг друга
Колеса улитки бездомной,
И поэта творящего
В звездную пыль
Разотрут!



Василий Степанов

ТУЛЬСКИЙ БАЯН

В грязи буксовали машины.
Стихал огневой ураган...
В полесском селенье нашли мы
Потрепанный тульский баян.

Его из немецкой траншеи
Достал мой товарищ-сапер,
И нежно полою шинели
Он корпус баяна протер.

И, тронутый теплым участием,
Баян на коленях бойца
Запел и заплакал от счастья,
И дрогнули наши сердца.

Он пел в разоренном Полесье,
Под небом, от горя седым,
Свободные русские песни,
В плену не забытые им.

Он пел на заре переливно
О кленах,
 о Туле родной...
Он с нами дошел до Берлина
И с нами вернулся домой.

Юрий Никоничев

* * *

Он шел, не слыша мир живой:
Тяжелый визг автомобилей,
И ливня ропот голубой,
И рев летящей эскадрильи.

Как будто бы беззвучный фильм,
Сверкала жизнь и изменялась,—
Глухонемая перед ним
Сирень прохладная качалась.

Он слух и слово потерял,
Волной взрывною оглушенный,
Когда в окопе умирал
В земле железной погребенный.

Война молчанием вошла
И немотой косноязычной —

Но душу не сожгла дотла...
Идет он с выправкой отличной.

В который раз победный день
Салютом светит в небе мая.
В его руках горит сирень
Прохладная, глухонемая...

Владимир Костко

РЯБИНА

В красный праздник, дав памяти волю,
Из друзей не забыв никого,
Вспомнил он санинструктора Олю,
Что спасла в сорок третьем его.
И пошел за деревню в ложбинку,
Надоевшим протезом скрипя,
Вырыл с метр высотой рябинку,
Посадил под окном у себя.
И, к порядку имея привычку,
(Зря ль солдатскую кашу едал?),
Между веток повесил табличку,
Слово «Оля» на ней написал.
Кто-то в этом увидел причуду,
Кто-то даже душевный изъян,
Но в тяжелую жизни минуту
Здесь находит приют ветеран.
Вспоминает о том, как тащила
В медсанбат его Оля сквозь ад,
Как собой от разрыва прикрыла,
Чтоб не умер, чтоб выжил солдат.
И растет — ей у дома раздолье,—
Пряча в листьях зеленые сны,
Та рябинка по имени Оля,
Незабвенная память войны.

* * *

Старый сад, как старый человек,
Жаждет родниковой тишины.
В час, когда слетает с неба снег,
Снятся саду мартовские сны.

Он устал. Он в спячке, как медведь,
До ветвей заметены стволы.
Может быть, листвою уж не звенеть
И ничьи не украшать столы?..

Годы мчат. Неумолим их бег.
Сколько лет отпущено для нас?
Старый сад, как старый человек,
Грезит о весне в последний раз.

Виктор Меньшиков

* * *

Я не могу смотреть спокойно
Вслед уходящим поездам.
Сожмется сердце вдруг невольно,
И жалость просится к глазам.

Потери в жизни неизбежны,
Но, уверяя себя в том,
Мы беззащитны, как и прежде,
Когда разлука входит в дом.

Александр Лаврин

* * *

Что за край! Какая тут свобода!
Влажен мох, и подорожник сух.
Безымянным голосом природа
Жизнь мою рассказывает вслух.

Что за чудо — постоять у края
Молодых, нескошенных хлебов,
Опаленным сердцем различая
Лишь один из тыщи голосов.

В этой жизни все неразделимо —
Плач гусарки, и мерцанье рос,
И степной полярный запах дыма
Там, где нынче бродит сенокос.

Там, где поле слилось с небесами,
Где берез растрепаны венцы,
Ловит лес озябшими губами
Низких туч набухшие сосцы.

Так и я, обугленный от жажды,
Жизнь иную чую за версту,
Потянусь, как дерево, однажды
И губами в небо прорасту.



Галина Доколина

* * *

Говорят:
в деревьях бродят соки
в этом необычном сентябре,
что расцвел шиповник
и высоко
облака сияют на заре.
Говорят:
леса шумят, как в мае,
и гнездовья снова выют дрозды,
и грачи едва приподымают
крылья от горячей борозды.
Щедрый день нечаянной отрадой
уведет, заманит за собой.
Мне сегодня ничего не надо,
кроме узкой тропки полевой.
Только бы смотреть на эту землю,
слышать шум стихающих полей,
видеть, как на солнцепеке дремлет
старая лосиха.
А над ней —
птицы, облака и бесконечность,
древний исцеляющий покой...
Лист березы — маленький и вечный —
теплым сердцем бьется под рукой.

Леонид Терехин

* * *

Свешивалось облако как скатерть.
По откосу к нам сбежал лесок.
Тоненькие ветви расплескали,
как вино, зеленых листьев сок.

На бугре скульптура бронзовела —
древко стиснул намертво солдат.
И заря на древке розовела,
вспыхивая в рощах и садах.

Мы притихли.
Годы закружили...
И тогда, чтоб только не молчать,
я вскричал: «Иди, солдат, с живыми —
День Победы с нами отмечать!..»

Не забыть такого никогда мне:
ожила скульптура на виду,
постамент закачались камни
и солдат нам выдохнул: «Иду».

Бронзовая статуя шагнула
к нам по низкорослым зеленам —
и отозвалась военным гулом
от солдатской поступи земля.

Загудело облако тараном,
гром ударил залпом батарей,
обнажилась молния, как рана,
и свинец зацокал по траве.

Потемнела небосвода каска.
Лик солдата я узнал во мгле.
Вспомнил: на шоссе Волоколамском
он со мной, мальцом, делил свой хлеб.
Возле моего родного дома
на мгновенье сбавил шаг солдат,
как отец, обжег плечо ладонью —
и ушел с полком своим в закат.

...Я очнулся, притянув глазами
поднебесье к своему лицу.
Майский гром устало в каплях замер,
притаившись в молодом лесу.

Уходили годы постепенно
надо мной куда-то в высоту.
И стоял солдат на постаменте,
древко сжав, — как память на посту!

Чудо это было или не чудо?!
День сиял в разводах голубых.
Неужели павшие повсюду
слышат мир и голоса живых?!

Дальним эхом путь войны измерив,
этот гром ударил неспроста:
вызывать солдата из бессмертья —
все равно что вызывать с поста.

Олег Хабаров

* * *

Красный конь по полю мчится,
Закусил он удила,
Пыль холодная клубится
Из-под черного крыла.

То ли сон, то ли виденье,
То ли мой неясный бред,
То ли сердца откровенье,
То ли сказки давней след...

Только конь по полю мчится,
Близок, близок край земли,
Солнце красное садится,
Звезды светят впереди.

Татьяна Смертина

ПЕРВЕНЕЦ

И самой еще
Мне не верится —
Пеленаю я
Сына-первенца.
То я печь топлю,
То дрова колю,
То к нему бегу —
На него смотрю.

А в тазу, внизу,
Звезды пенные,
Облака мои
Сокровенные!
Рядом — суп кипит,
Самовар гудит,
Ну-ка, пол с утра
Да еще не мыт!

За окном моим
Не туманы вьют —
То свивальнички
На ветру поют.

Я туда-сюда,
Нынче дела сколь...
И опять к нему —
Ой, проснулся, что ль?

Я и — мамушка,
Я и — нянюшка.
Успевай,
Крутись-ка,
сударушка,
Что ж, учусь-кручусь!
Баба — мельница.
Только юбочки
Мои пенятся.

Только пол гудит,
Только пар валит,
Хорошо-то мне
Молодушкой быть.
За окном темно
Все до доньшка,
У меня в избе
В руках — солнышко!
Мыть его, купать
Стану в баньке той,
На него плескать
Золотой водой.
Родниковой той,
Самой чистою,
Да с травой чередой,
Да с душицею!

Ты не плачь, мой сын,
Под дождем крутым,
Не учись, мой сын,
Слезкам девичьим.
Окупну, смахну
Мыло едкое
Да шутя стегну
Банной веткою.

«Это надо так,
Чтобы ты привык,
Эдак парится
В бане всяк мужик!»
Ну а он ревет —
Вроде сердится!
Вот и вымыла
Сына-первенца.

Разопрел, утих...
Все впервые ведь!
На меня глядит —
А куда ж глядеть!
Унесу его,
Словно горлица,
Во свою избу
Да во горницу.

Покормлю его
Молоком густым,
Не казенным, чай,
А живым, своим.
В нем и сладь и боль,
В нем и русский дух,
Будет все с тобой
До конца, мой друг...

Сын меня поймет,
Хоть и крошечка,
Он во мне живет
Еще немножечко!
Припадет-прильнет —
Ведь кровиночка.
От меня пойдет
Его тропиночка...

Уж как я над ним
Буду ночь не спать,
То об нем мечтать,
То его качать.
Ты расти, мой сын,
Будь силен, плечист
И душой всегда —
Родниково-чист.

Ты расти, мой сын,
Чтоб в отца вся статья!
Береги, мой сын,
Ты Россию-мать.

Галина Белова

* * *

На ладошки пухлые,
Жизнью не натруженные,
Мягкий белый пух лег,
Как фата у суженой.
Песню скорбной матерью
Завела метелица,
И дорожка скатертью
От порога стелется.
Ноги в черных валенках
Бредят шагом первым...
Я не плачу, маленький,
Это — нервы:
Как-то встретит мир тебя,
Мой родной,—
Холодом дохнет, губя,
Одарит весной?!
Жизни путь, он каменный,
Боль несет,
А за юбкой маминой
Ты спасен.

Но пошел, как времечко,
Семеня,
Мой росток от семечка —
От меня.

ПЕСНЯ

Две ипостаси: жизнь и смерть.
И баба Настя между ними.
Губами черными своими
Она меня просила спеть.
И я, ладони вжав в металл
Казенной койки коридорной,
Шепчу беспомощно-покорно
Про степь, где путник замерзал.
Она кивает головой,
И сквозь бездонные глазницы
Ко мне душа ее стремится.
И прорастает голос мой...
Испуганный, звенящий всхлип
Вознесся к матовым плафонам
И был подхвачен ниже тоном
Старушечьим последним стоном
Да перезвоном юных лип.
И как прощальные дары
Судьбы, скупой на подаянья,
У изголовья изваяньем,
Оцепенев, стоят в молчанье
Две востроносеньких сестры.
Как ангелы, слетев с высот
Обычных будничных несчастий,
Они вдруг постигают счастье
Быть частью мира, боли частью
Без выдуманных лжекрасот.

Полифония бытия:
Смех за оконным переплетом,
Халат больничный, запах пота,
Оборванная резко нота
И, жить оставшаяся, я.

Борис Романов

* * *

Художник яблони портрет
рисует ведь, о боже!
Двух лиц похожих в мире нет,
и двух деревьев тоже!

Любой изгиб ветвей — порыв
к негаснущему свету,
и потому всегда красив,
в нем только муки нету.

А трудно яблоня росла,
мешали непогода,
и ход планет, и силы зла,
и страсти садовода.

А на рисунке взлет ствола,
узлы ветвей, скрещенья
чужая мука обожгла
слепого вдохновенья.

* * *

Что в землю ушло без остатка,
но в памяти честной живет,
как поросль у края распадка
недружную чащей встает.

Встречаю с надеждой, с тревогой
грядущих времен ветровал:
кривую березку не трогай,
не ты ее в поле сажал!

Ее наша память растила,
живая земля подняла,
под ней — дорогая могила,
хранящая праотца мгла.



Сергей Мнацаканян

СТЕПНЫЕ СТИХИ

Полынные пространства Казахстана,
где наподобье войлочной кошмы
свивается с материей тумана
растрепанная шерсть волнистой тьмы...

Еще закрыты зимние кошары,
но только чабаны уже не спят,
а жены их укутывают в шали
новорожденных розовых ягнят.

Колчучие языческие степи,
здесь в слове «огнь» обозначался «бог»,
пока неразмыкаемые цепи
на правоверных не надел пророк.

Но здесь — восток, и все дороги света
сплетались здесь, тянулись и рвались,
да, было так, но минуло и это,
как время славных некогда столиц...

И только вновь горчит полынь Востока,
и жизнь идет, и мы стоим на том,
а время беспощадно и жестоко
нам указывает в сумраке перстом —

в космические степи, где понуро
верблюды на горбах влачат рассвет
и воют над бетоном Байконура
турбины огнедышащих ракет...

Смешался дым с зарею небосвода —
ревут миллионы лошадиных сил,
и снова спутник от земли уходит,
врываясь в равновесие светил...

Он ломится в распахнутые выси,
антенной, как уздечкою, звеня,
ревушее дитя мольбы и мысли,
железа и целинного зерна...

* * *

Золотошвей Торжка!
В пальцах старинных играя,
через костры и века
тянется нить золотая...

Пояс, насквозь кружевной,
праздничный плеск аксельбанта —

* * *

Я стесняюсь наряженных женщин,
как диких дивных птиц,
не могу среди мимо прошедших
отличить блудниц от цариц.

От нарядов, мундиров и званий
я всегда в удивленной тоске,
я могу, извиняюсь, как в бане,
лишь с нагой быть на равной ноге.

Пусть от форм и от формы шалею,
постарею — не стану мудрей,
но все чаще красавиц жалею,
как прекрасных и редких зверей..

* * *

Редеют тучи, синеву даря,
Минуту солнца упустить досадно.
О, этот лунный климат сентября! —
Одной щеке тепло, другой прохладно.

На пляже общество. Но от и до
Отпущен срок его любому члену.
Здесь не укореняется никто:
Вот убыл тот, а та взошла на смену.

Где прочность? Где стабильность?
Все течет.

Дни общества — они наперечет,
Мы сходимся, любезно тараторя,
Временщики у вечных гор и моря.

Дни отпуска прощально хороши,
Но пляжники расставлены все реже,
И наконец у моря ни души,
Лишь ветер подметает побережье.

Ян Гольцман

* * *

Возле города Дмитрова
Молодая дымит трава.

Молодые гремят грома
Там, где плещется Яхрома.

Зелень первая так свежа
На пороге весны, судьбы,

Что в березниках не спеша
Прорастают сморчки-грибы.

Деревенская тишина.
Кружит эхо, когда кричим.
Ни один еще не женат.
И для зависти нет причин.

Жить пытаемся напрямик,
Наяву и наверняка.
И дороже грядущих книг
Непридуманная строка:

«Возле города Дмитрова
Молодая дымит трава».

* * *

Неслышно подошел покров.
Печальней стало и родней.
Березовая паль — на дне,
Осиновая паль — на дне.
Видней рябиновая кровь.

Неросло рябины. Дрозд
Не знает, чем себя кормить.
Зато листва — густой кармин,
Все дерево — большая гроздь!

Вода озерная чиста.
Слетел в глубины лист резной.
Куда он денется весной?
На дне — ни одного листа.

Последние летят с ветвей,
Подрагивая на ветру.
А как же будет поутру?
Еще пустынной. И светлей...

Николай Котенко

ДОРОГА

Мы все намеренья благие
Лелеем чуть не с детских лет
И носим вроде эполет
Посулы миру.

А какие
Кипят вселенские стихии
В груди возвышенной!
Всех бед
Простынет самый малый след
Пред этим натиском...

ОСЕННЯЯ ТРЕЗВОСТЬ

Сгоревший под солнцем — коричнев и рыж,—
Наводит орешник на грустные мысли:
Еще в молодых себя вроде бы числишь,
Посмотришься в зеркало — дух затаишь.
Когда не успело лицо отцвести?
Не только в морщинах — в глазах уже
осень...

Прошел второпях половину пути,
Назад оглянулся — а где же колосья,
А где же деревья, возвращенные мной,
А где же хотя бы следы на дороге?..
По жизни летелось легко, а в итоге:
Тяжелый мешок пустоты за спиной...

Коричневый ветер течет по кустам.
Как мало зеленых живительных красок,
Как много сгоревших, упавших к ногам
Ореховых листьев — утраченных сказок!

Простимся, весны молодое вино!..
Осенняя трезвость, спасибо за правду,
За то, что хоть поздно, а все же дано
Мне трезво и честно осмыслить утрату.

Владимир Дагуров

* * *

Шаг всего от несчастья до счастья —
как от ненависти до любви...
Разошлись мы с тобой в одночасье,
затерялись между людьми.

А в Москве — миллионов восемь...
Да и встретимся мы в толпе —
не имею я шансов вовсе
приглянуться опять тебе.

Говоришь, меня ненавидишь,
но — тоскуя, прощая, маня —
ты во сне еженощно видишь
ненавидимого меня.

Снова любишь меня, как прежде,
поздней ненависти вопреки.
Снова Веры, Любви, Надежды
зажигаются маяки.

Сон — полночное наваждение —
словно ангелы входят в уют,
жизнь ведут без вина и денег,
не скандалят, посуду не бьют.

Не молчат во злобё по неделям,
не заводят истерик, не лгут,
неделимого мира не делят,
разделенную страсть берегут.

Ниспадает во сне оболочка,
суть выходит, ничто не тая...
Только не улыбается дочка —
неусыпная совесть моя!

Владимир Демидов

ЗАТЕРКА

Когда я высевки толлок,
Толченные не раз,
В глазах кружился потолок
И свет вечерний гас.
У нас той осенью
Муки
Не стало к октябрю.
И говорила мать:
«Толки!
Хоть затерку сварю».
И я,
Пока хватало сил,
Согнувшись калачом,
Труху сухую молотил
Железным толкачом.
Она грубее отрубей
И тверже, чем камыш,
И в ступе,
Как ее ни бей,
В муку не превратишь.
В кастрюле пенилась вода,
Туманная на цвет,—
Моя военная еда,
Мой ужин и обед.
Вилась пыльца за толкачом
Как тоненькая нить...
С тех пор я знаю
Что почем
И не могу забыть.

СТЕПЬ

Степь мне в детстве
За няню была
И на стежках полынных дарила
То залетных стрижей,
То орла,
То полевок,
Свистящих уныло.

Подорожник стелила у ног,
На ладонь опускала букашек
И сплетала тяжелый венок
Из травы,
Васильков и ромашек.
Как синела в ней
После дождя
Ежевика с небесным отливом,
Я, в оврагах ее находя,
Становилась нежданно счастливым.
Это степь,
Мое сердце пленя,
В грозные военные годы
Широте научила меня
И наполнила чувством свободы.

Владимир Евпатов

* * *

Стремителен полет метеорита.
Я не успел желанье загадать.
Но трезвым светом жизнь моя пробита,
И желудь сердца начал прорастать.

И построжали взрослости законы,
Подталкивая прямо в колею,
Которую пробили миллионы,
А я считал — единственно мою.

Мне жизнь свои объятия раскрыла,
Как женщина. И не ее вина,
Что тяжела мне собственная сила,
Что мне моя уверенность страшна.

Галина Кильчевская

КРУГОВОРОТ

Когда травой проснешься,
ощущенья
придут на смену
мыслям и словам.
Земля и солнце
станут высшим смыслом
существованья твоего отныне,
и корни будет омывать тебе
холодная подземная вода.
Потом ты птицей явишься на свет.
И телом легким
ощутишь трехмерность мира.

Не ведая того,
что ты летаешь,
познаешь высоту,
чье имя — небо.
Затем ты станешь камнем и водой,
что разбивает грудь
об этот камень.
И век пройдет,
и все ты будешь биться
сам о себя,
себя не узнавая,
в воде стремительной
и неподвижном камне.
Всё было всем.

* * *

Тихое таинство
В небе вершится —
Лунный рождается свет.
Тихо восходят домов вереницы
На небо.
Меркнувший след
Там, высоко над землей,
Исчезает,
И среди облачных гнезд
Редкие лампы
Тихо мерцают,
Неотличимы от звезд.

Александр Целищев

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

Сизый селезень в озере воду крылом расплеснет,
Серебристым дождем брызнет стайка рыбешек.
И комар возопит из прозрачных тенет,
Паучок упадет,
как зеленый горошек.

Меж таинственных, кряжистых ив да осин
Ключевой ручеек моет ноги смороде.
Тянет спиртом от сваленных бурей лесин:
Пляшут весело мошки
в хмельном хороводе.

Всюду жизни!
Но умеем ли мы наблюдать?
Как жестоки порой
наши вольные руки.
Где вы, души,
готовые петь и рыдать
Над невзрачным цветком в век могучей науки?

А если не ее — кого же
Он видит в бездне голубой,
И где же вечность взять он может
На разговор с самим собой?

КАРАКУМ

Море было и ушло —
И оставило пустыню.
И песками замело
Чью-то крепость и святыню,
Чью-то хижину в саду,
Чьи-то финики и фиги,
Чью-то лень, любовь к труду,
Жизни сладостные миги...
Но песчаный переплет
Этих пустошей могучих,
Этой книги трав колючих,
Обещает — и не врет! —
На странице потаенной,
Что поэт вечнозеленый
Все вернет нам, все вернет!

Владимир Леонович

* * *

Тот живописец образцовый
имел единственную блажь —
он краскам предпочел свинцовый
подслеповатый карандаш,

болея мыслью отвлеченной —
привлечь цвета на белый грунт.
Что это было? Шалость? Бунт,
для колориста обреченный?

А как цветы? А небо? Море?
На это все сошла зима.
Вот поле, кустик на угоре,
простора серая кайма.

И лес вдали иль деревенька
в снегу? Оконце-уголек?
Вблизи светлей, вдали темненько,
и через поле путь далек.

Идешь-идешь... Из-за поката,
глядишь, изба в конце концов:
оконце, правда, красновато,
и только карандаш свинцов.

Новелла Матвеева

* * *

Не факел от светильника зажгли,
Не к жару жар вплотную поднесли:
То, месяца небесного двойник,
Подводный месяц прячется в тростник.

Не вспыхнул алмазотый тайник,
Не сплетницы колеблется язык:
То отраженья месяца вдали
Качается — касается земли.

Не факельщики в темный входят зал,
Не сто жемчужин с ними кто снизал, —
То луч луны к течению приник
И зыблется, и сыплется в арык...

Стальных пластин он принимает вид.
Но нет! — не он бряцает и звучит;
Ведь даже и тогда, когда вокруг
Темно, — динь-динь! — мне слышен
внятный звук!

Ничьим устам светильник не задуть.
Но и впотьмах река свершает путь
И так же тихо пестует свои
Кувшинками цветущие струи...

И уж не всходит месяц из-за туч,
Но и во тьме стремнины ход могуч:
Река бредет с повязкой на глазах,
Но, как сова, провидит и впотьмах.

И на рассвете двери всех дверей
Откроют тихо выход в море ей,
И солнце дня (всегда как в первый раз!)
Повязку снимет с просиявших глаз.

ПРЕРИИ

Мечталось мне, что в прерию художник
Приплыл когда-то из далеких стран:
Для дивной суши далее невозможных
Пересекал он влаги океан.

Он видел мир в его прекрасном целом.
Меня же, с широтой его в связи,
Брал страх, что не заметит между делом
Он стебелька, растущего вблизи.

Пришел когда-то в прерию ботаник.
Его простор не интересовал.
Но — к зелени от зелени посланник —
Малейший листик он зарисовал.

А мне — опять же было жаль смертельно,
Что он забыть вселенную готов!
Что человек берет цветок отдельно
От мира — прародителя цветов!

Но голос некий, тусклый и расхожий,
Напоминал мне в продолжение дня,
Что прерий больше нет. Былинок — тоже.
И снял вопрос, так мучивший меня.

«Вот,— говорил мне голос в завершение,—
Тебе и утешение, глядишь...»
Но я опять не знала утешенья.

На человека, брат, не угодишь!

СОНЕТ ПРОЗАИЧЕСКИЙ

Ребенок лет восьми бряцает на кефаре,
Которую Орфей использовал в аду,
На глюковских органов лучших паре,
И не в какую-то пастушью там дуду.

Дудит в пустых сенцах на сельском холоду —
Нет-с! — правь равнение на скрипку Страдивари!
Но я, пока в реклам горячечном угаре
Журналы чествуют его судьбу-звезду,

Не любопытствую, кто он таков; готовый
Сальери маленький иль вправду Моцарт новый?
Педагогичен лавр иль нет над молодцом?

Иные что-то все мне лезут в мысль моменты:
Где... крошка раздобыл все эти инструменты?
И сколько выручки у матери с отцом?

Владимир Пальчиков (Элистинский)

МЕТАФОРА

Стихов слаганье лучшей из обуз
я нахожу, но труд — не соловьиный.
Роенья слов... метафоры — лавиной...
Не повредиться б в разуме, боюсь.

Ни в чем дурацком вроде не повинный,
я как-то думал, глядя на арбуз,
что он — Земли ребенок. Карапуз.
И хвост его — остаток пуповины!..

Парнишка тут... Проталкивал в воротах
велосипед... Так я ему рундук
наговорил!.. В таких вот оборотах:

«Не на колесах, спицами слепящих,
приехал ты — на серых, на шипящих
на паре в кольца скрученных гадюк...»

Игорь Ляпин

* * *

Оглянись на берег свой
С лодочки отчальной.
Ветер ходит круговой,
Как беда над головой.
Кто я в сущности такой,
Что такой отчаянный?

На земле своих отцов,
Выражаясь образно,
Вышел я не из гребцов,
Но зато из храбрецов.
И стоять к волне лицом —
Ничего, не боязно.

Вертит лодочку река,
Опрокинуть тужится.
Да беда не велика —
Днищем лодочка крепка,
Весла целы, и пока
Голова не кружится.

Ну, а если бури злой
Натиска не выдержу,
Я, конечно, не такой,
Чтоб поникнуть головой.
В этой схватке роковой
Я всю душу выражу.

Значит, так тому и быть,
Что ж тут не осмелиться?
Не хочу с оглядкой жить...
Сколько мне бедовым слыть,
Сколько мне под бурей плыть,
На судьбу надеяться?

Марат Акчурун

* * *

Итак, все начинается сначала.
Июль срединный в будничной красе.
Не будет ни вокзала, ни причала.
Передо мной — открытое шоссе.

Звезды далекой слабое свечение
И в полдень пробивает небеса.

Но по шоссе в четвертом измеренье
До той звезды каких-то полчаса.

— Я не сверну! — шепчу себе упрямо.
И, световых не замечая лет,
По кривизне пространства только прямо
Спешу к звезде, которой уже нет...

НА БАЗАРЕ

Восточная сказка

Злобный сердился палач:
Что за убогая палка!
Пекарь был тоже горяч:
Что за нелепая скалка!

Купчик ключами бренчал:
Что-то легка, как скорлупка!
Хмурый аптекарь ворчал:
Что за дырявая трубка!

Тут подошел Рудаки.
Все на слепца посмотрели.
Он прошептал: «Чудаки...» —
И заиграл на свирели.

* * *

Я говорю, что ты моя судьба.
Что наш удел — единство и борьба.
Но не дано — чего напрасно ждать! —
Мне победить. А только побеждать.
Ведь если я победу одержу,
Что — «победу» я или «побежу»?
Беда, бежать — несладостны слова.
Ты плачешь... Значит, ты опять права.
Ты снова беззащитна и нежна.
И мне моя победа не нужна.

Анатолий Брагин

* * *

Не радуйся, когда найдешь,
Не огорчайся — потеряешь, —
Твердит пословица.
И все ж
Ее напрасно повторяешь.

Находке радуешься ты
И сожалеешь о потере.

А поговорка — лишь мечты
О совершенстве.

В самом деле?
Что за находкою стоит?
И что потеря? Не впервые
Теряем мы,
А жизнь кипит,
И мы в ней варимся, живые.

Татьяна Веселова

ГАРМОНИЯ

Роднили бездну — с вышиной,
Роднили с крайностью — бескрайность,
Роднили звуки — с тишиной,
С закономерностью — случайность.

Соединяли с ночью — день,
Отождествляли свет — и тень,
Мечту — и быль, пожар — и льдину.

Мирили с небесами — твердь,
С душою — плоть, с рождением — смерть.
И получили... Середину.

Анатолий Преловский

ИРОНИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

ТОЖЕ МАСТЕР

Он высится над грудюю поэм
как мастер углубленья мелких тем.

ДАР ПАРОДИСТА

Дар пародиста — славный,
но не главный:
напоминает ловкая строка
блеск переперевода с языка —
с талантливого на забавный.

БЕДНОЕ ОТКРЫТИЕ

Глядишь, а за душой иного гения
не поиск истин в бездне бытия,
а только жажда самовыражения
в больших полотнах — маленького «я».

ТОЖЕ ДИСКУССИЯ

С поленом спор завел топор,
он был подкован крепко:
трах! бах! — и выиграл тот спор.
И отдохнул на щепках.

ПОЧТИ ЛИТЕРАТУРНАЯ ОПЕКА

Две тысячи сто два язя
и тысяча акул
учили плавать карася,
пока не утонул.

ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

Когда в душе не станет жара,
то, зудом творчества томим,
поэт рванется в мемуары —
как в бой с собой же... с молодым.

ТОЖЕ ПРИГОВОР

Как ни ловчи и что там ни пиши,
как от суда себя ни береги,
а пустота твоей, поэт, души
сквозит из пустоты твоей строки.

ДАМСКАЯ ПОЭЗИЯ

Отобразить народ и время тщится
в своих стихах,
но ах! —
в себя, как в зеркала, глядится...
И пишет все, что видит в зеркалах.

МОЛОДОМУ СТИХОТВОРЦУ

Прежде чем работать по призванью,
жизнь отдать святому ремеслу,
научись-ка противостоянью
личным бедам: пошлости и злу.

ТИШАЙШИЙ

Этот выбрал не быть, а казаться —
не страдал, не корпел по ночам:
как на грядку, в поэзию зайцем
прошмыгнул — и грызет свой кочан.

ПАЧЕ ГОРДОСТИ

Загордился лирик так,
что все требует, чудак,
похвалы — за каждый стих,
а ведь это скучно, как
«Будь здоров!» — на каждый чих.

СРАВНЕНИЕ, КОТОРОЕ ТОЖЕ ХРОМАЕТ

Алмаз огранили,
но плохо хранили —
пошел по рукам бриллиант,
и это похоже
на вялый, расхожий,
а смолоду бойкий талант.

ЗНАМЕНИТОСТЬ

Успех и довольство на сытых щеках,
но это раздутое имя
у собственной славы живет в денщиках,
питаюсь ее чаевыми.

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Лучший университет —
смена радостей и бед.
Неудача иль успех —
жить и не наскучит...
Умный учится у всех,
а дурак всех учит.

ТОЖЕ НАСТАВНИК

Жил высоко и нелюдимо,
но думал, что необходимо
раз в год спускаться к молодым,
чтоб их стихи развеять в дым.

СОВЕТ СТИХОТВОРЦУ

Спеши, спеши, мой друг,
все, что создал, издать,
а то помрешь — и вдруг
тебя начнут читать?

РАЗНОВИДНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ

Он сдавал макулатуру,
покупал макулатуру,
прочитав макулатуру,
вновь сдавал в макулатуру,—
в суете книгообмена
жизнь прошла почти мгновенно:
вся ушла в литературу.

ОДНОДНЕВКА

До дыр залистанный роман бульварный
бахвалился, что самый популярный,
что самый толстый, острый и читаемый...
Не знал того, что самый забываемый.

ЕЩЕ О СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ

Сиюминутный классик
плывет через года,
как золотой карасик
в трехтомной глыбе льда.

ЕЩЕ О ТОПОРЕ

Он плотнику слуга, товарищ леснику —
зачем же обзывать «интеллигентами»
тех, кто привык свою строку
отделять иными инструментами?

ВИД ЭВОЛЮЦИИ

Критик вышел на круги
и при всем честном народе
начал гнуться в три дуги
перед тем, кто нынче в моде,
а иных из молодых
норовил под вздох, под дых,
но зато сплошное «ах!» —
если автор поэтарх.

ПОЧТИ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПТИЦА

Кулик в достатке пребывал
и в славе за свою работу:
не жал, не сеял — воспевал
любовь к наследному болоту.

ПОЭТ-ИНКРУСТАТОР

Как он клеил к слову слово,
как в строфу вшивал строку,
как изящно из пустого
он в порожнее тоску
лил-переливал! — другому
никому так, никогда...
Да! умел работать, да! —
неживым по неживому.

ЕЩЕ О ГЕНИЯХ

Есть у нас такие гении,
что, строку в тепле храня,
не выпускают в сочинения
жизнь людей и злобу дня.
Пребывая в неизвестности,
множат малоплодный труд
и в историю словесности
непрочитанно сойдут.

ЕЩЕ ОДИН СОВЕТ

Не в семье, не в личном огороде
и совсем не в собственной строке,
полюби-ка ты себя
в народе
с мастерком в натруженной руке —
может быть, тогда твоя строка
станет повесомее слегка...



В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1985»
УЧАСТВУЮТ:

Аввакумова М.— стр. 200
Акчурин М.— 233
Алексеев О.— 189
Андреева Е.— 211
Аннинский Л.— 47
Антошкин Е.— 176
Асадов Э.— 25
Астафьев А.— 21
Ахмадулина Б.— 107
Ахматова А.— 7

Баева А.— 106
Баранов В.— 97
Бахтин М.— 113
Бедный Д.— 4
Бек Т.— 31
Белинский Я.— 25
Белова Г.— 224
Белова Л.— 130
Берггольц О.— 11
Берендгоф Н.— 134
Бобров А.— 194
Бобылев Б.— 28
Болдырев Ю.— 41
Борисов М.— 50
Бородулин Р.— 136
Брагин А.— 234
Букина Л.— 219
Бычков С.— 211
Бялосинская Н.— 97

Валиков Г.— 153
Ваншенкин К.— 15
Василенко В.— 89
Васильева Л.— 207
Ведякин В.— 170
Вершинский А.— 137
Веселова Т.— 234
Винокуров Е.— 59
Винонен Р.— 34, 164
Вознесенский А.— 178
Волобуева И.— 193
Воронов Ю.— 124
Воронько П.— 69
Воропаева Л.— 136

Ганин А.— 116
Гедымин А.— 201
Герасимова О.— 91
Гершанова С.— 212
Гиленко В.— 165
Глушкова Т.— 187

Голицын Ю.— 231
Голубев Б.— 50
Гольцман Я.— 227
Гончаров В.— 19
Гордейчев В.— 135
Гордиенко Ю.— 124
Городницкий А.— 204
Гоц Г.— 128
Грибачев Н.— 49
Гудзенко С.— 148
Гусев А.— 165
Гусев В.— 30

Дагуров А.— 229
Дементьев Андрей — 139
Дементьев Вадим — 44
Демидов В.— 229
Денисов Ю.— 128
Джамбул Джабаев — 4
Дмитриев О.— 82, 140
Доколина Г.— 222
Долматовский Е.— 12
Дуганов Р.— 215
Дудин М.— 66
Дымова Л.— 208

Евпатов В.— 230
Елисеев Е.— 55
Еремеев Г.— 162

Жигулин А.— 138
Жирмунская Т.— 196
Жуков В.— 70

Забельшинский В.— 160
Завальнюк Л.— 204
Зверев О.— 196
Злотников Н.— 211
Золотцев С.— 26

Иванов Г.— 206
Исаев Е.— 109
Исаковский М.— 10

Кабаков М.— 205
Казанцев В.— 177
Калугин В.— 87
Каменецкий Ю.— 203
Каныкин А.— 169
Касмынин Г.— 22
Карпеко В.— 23
Карпов П.— 115

Кафанов А.— 192
Качаева Л.— 40
Кильчевская Г.— 230
Киуру И.— 195
Князев Б.— 101
Кобзев И.— 197
Коваленко С.— 191
Ковалев Д.— 150
Коваль-Волков А.— 184
Ковальджи К.— 226
Коган А.— 35
Кожин В.— 112
Козловский Я.— 161
Кондакова Н.— 199
Копылова Л.— 134
Корин Г.— 98
Корчагин В.— 69
Костко В.— 221
Котенко Н.— 227
Котюков Л.— 187
Кочетков О.— 176
Кошель П.— 70, 127
Краснов Н.— 79
Крыжановский С.— 181
Крюкова Е.— 129
Кузнецов Валентин — 104
Кузнецов Юрий — 126
Кузнецова С.— 169
Кузовлева Т.— 103
Куклин В.— 22
Куликов Б.— 181
Куняев Борис — 75
Куняев Сергей — 115
Куняев Станислав — 144
Куприянов В.— 180

Лавлинский Л.— 104
Лаврин А.— 222
Лазарев В.— 133, 181
Лакербай Ю.— 91
Лапшин В.— 90
Левин Г.— 157
Леонович В.— 232
Лесневский С.— 80
Лисянский М.— 105
Лобанов В.— 92
Луговская М.— 205
Лукашенко В.— 101
Львов М.— 118
Любимов Н.— 112
Ляпин И.— 233

Макаров В.— 93
Максимова С.— 211
Мариничева В.— 200
Марков А.— 145
Мартынов Л.— 151
Мартынов Н.— 132
Маслов Б.— 203

Матвеев В.— 157
Матвеева Н.— 232
Матеу Х.— 160
Межиров А.— 123
Мезенко Ю.— 132
Мельников Ю.— 24
Меньшиков В.— 222
Михайлов Ал.— 29
Мнацаканян С.— 225
Молодяков В.— 14
Молчанов И.— 150
Моран Р.— 200
Мориц Ю.— 209
Морозов Г.— 22

Напельбаум Л.— 202
Наровчатов С.— 8
Нерпина Г.— 228
Нефедов П.— 96
Никишин Н.— 201
Николаев А.— 18
Николаева О.— 204
Николаевская Е.— 143
Николокин И.— 189
Никоньчев Ю.— 221
Новосельнова Н.— 26

Озеров Л.— 218
Окуджава Б.— 161
Олзоева Л.— 134
Олейников И.— 200
Осинин В.— 52

Пагирев Г.— 68
Пальчиков (Элистинский) В.— 233
Панкратов Ю.— 167
Панченко Николай — 121
Панченко Пимен — 70
Парпара А.— 194
Пастернак Б.— 146
Пастернак Ел.— 146
Поделков С.— 207
Поздняев К.— 38
Поликарпов С.— 165
Поперечный А.— 175
Портнов В.— 163
Потиевский В.— 210
Преловский А.— 234
Приблудный И.— 116
Примеров Б.— 171, 206
Приходько В.— 129
Прокофьев А.— 9
Пьяных М.— 42

Рабичев Л.— 51
Разумовский Ю.— 165
Ратушный Я.— 201
Рахманин Б.— 159
Реброта Т.— 139

Рейн Е.— 193
Решетников Л.— 73
Родионов О.— 167
Романов Б.— 225
Романов Р.— 126
Ростовцева И.— 46
Рудяков Г.— 53
Русаков Г.— 198
Рыбаков Б.— 85
Рябухин Б.— 130
Рядченко И.— 74

Сабинин В.— 206
Савельев В.— 167
Самойлов Д.— 120
Самченко Е.— 93
Светлов М.— 10
Семакин В.— 102
Сергеев В.— 181
Сидорина Н.— 197
Сикорский В.— 158
Симонов К.— 7, 36
Слуцкий Б.— 58
Смертина Т.— 223
Смирнов Л.— 182
Смирнов С.— 54
Соколов В.— 56, 213
Соложенкина С.— 163
Сорокин В.— 131
Степанов В.— 221
Строгина А.— 212
Ступин Г.— 210
Сурков А.— 5
Суслова А.— 100
Сухов Ф.— 71
Сушкова Л.— 180
Сырыщева Т.— 203

Тарловский М.— 4
Тамарина Р.— 77
Твардовский А.— 8, 32
Терехин Л.— 222
Терещенко Д.— 168
Тихонов Н.— 8
Третьяков А.— 202
Трофименко В.— 137
Трубицын В.— 165

Тряпкин Н.— 141
Тучин А.— 194
Тюрин А.— 228

Узлов В.— 99
Ульяшов П.— 45
Урусов В.— 21

Фаликов И.— 231
Федоров Владимир — 51
Федоров Василий — 152
Фейнберг И.— 153
Фильштейн М.— 164
Фирсов В.— 185
Флёров Н.— 164
Флоров Г.— 156

Хабаров О.— 223
Хатюшин В.— 202
Хелемский Я.— 184
Хлебников В.— 215

Цвелев В.— 95
Целищев А.— 230

Чалмаев В.— 39
Чернов Ю.— 97
Чехонадский Ю.— 91
Числов М.— 61

Шаламов В.— 152
Шевелева Е.— 53
Шестинский О.— 94
Шефнер В.— 64
Шехтер М.— 151
Шикина Л.— 174
Шитиков А.— 228
Шкляревский И.— 86, 136
Шленский В.— 101

Щипахина Л.— 22

Юдахин А.— 158
Юшин Е.— 141

Ярославцева С.— 148
Яшин А.— 9

Д 34 ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 1985. Москва: Сборник.— М.:
Советский писатель, 1986.— 240 с.

По традиции в очередной выпуск ежегодника «День поэзии» входят новые произведения московских поэтов разных поколений, критические статьи, архивные публикации. Сборник посвящен 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Д $\frac{4702010200-330}{083(02)-86}$ 174—85

ББК 84.Р7

Составители:

**СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВИЧ ЛЕСНЕВСКИЙ,
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА МАЛЬМИ**

ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 1985

М., «Советский писатель», 1986, 240 стр.
План выпуска 1985 г. № 174

Редактор

В. С. ФОГЕЛЬСОН

Художественный редактор

Н. С. ЛАВРЕНТЬЕВ

Технические редакторы

Г. В. КЛИМУШКИНА и Н. Н. ТАЛКО

Корректоры

С. Б. БЛАУШТЕЙН и Л. Н. МОРОЗОВА

ИБ № 4625

Сдано в набор 22.05.85. Подписано к печати 24.09.85. А10451. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 28,32. Тираж 100 000 экз. Заказ № 522. Цена 2 р. 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 143200, Можайск, ул. Мира, 93

Катюша

Расцветали яблочки и груши,
Поилки туманы над водой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила - несла заводила
Про фейного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты, неси, песенка девичья,
Мне лети на дальнем соловьем в след,
И бойцу на дальнем парашюте
Ой Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблочки и груши,
Поилки туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

М. Исаковский

